НАДИ ХОУП

НЕГРУНТОВАННЫЙ ХОЛСТ



СОДЕРЖИТ НЕЦЕНЗУРНУЮ БРАНЬ

Он украл у неё всё, кроме взгляда.
Она сорвёт с него маску, даже если под ней окажется тот, кого она ненавидит больше всех.

18+

18+

Нади Хоуп

Негрунтованный холст

«Автор»
2026

Хоуп Н.

Негрунтованный холст / Н. Хоуп — «Автор», 2026

Её фотографии украли. Её правду высмеяли при всех. Её жизнь превратили в игру.Майя Беннет полтора года ловила чужие паузы в вагонах чикагской надземки. Однажды она увидела свою серию на стене самой влиятельной галереи города под чужим именем и впервые в жизни не промолчала.Адам Камерон, новенький на курсе живописи, хладнокровно растоптал её слова на глазах у всех. Майя поклялась его ненавидеть.А ночью ей написал аноним.Он знает о ней то, чего не должен знать никто. Он обещает доказательства. Взамен ей нужно лишь выполнять его задания. Он поджидает её в тёмных переулках в белой маске, и рядом с ним страх и желание сливаются в одно.Майя хочет справедливости. Но чем глубже она в игре, тем страшнее вопрос: кто под маской? И что будет, когда она это узнает?Без грунта краска не держится. Без любви — человек.

© Хоуп Н., 2026
© Автор, 2026

Содержание

От автора	5
Глава 1. Майя	6
Глава 2. Адам	12
Глава 3. Майя	18
Глава 4. Адам	25
Глава 5. Майя	30
Глава 6. Адам	38
Глава 7. Майя	44
Глава 8. Адам	51
Глава 9. Майя	57
Глава 10. Адам	66
Глава 11. Майя	77
Глава 12. Адам	92
Глава 13. Майя	108
Глава 14. Адам	123
Глава 15. Майя	138
Глава 16. Адам	150
Глава 17. Майя	161
Глава 18. Адам	173
Глава 19. Майя	184
Глава 20. Майя	195
Конец ознакомительного фрагмента.	203

Нади Хоуп
Негрунтованный холст

От автора

Все персонажи, события и диалоги в этой книге вымышлены. Любые совпадения с реальными людьми, живыми или умершими, случайны.

Реальные места, включая Чикаго, School of the Art Institute of Chicago и другие учреждения, используются исключительно как художественный фон. Описанные в книге люди, программы, фонды, выставки и события, связанные с этими местами, придуманы автором и не отражают реальную деятельность или политику каких-либо организаций.

Книга является художественным произведением в жанре дарк-романа. Поступки героев не являются примером для подражания, а описанные отношения — образцом здоровых отношений в реальной жизни. Сталкинг, преследование, давление и насилие в реальности — это преступления, и если вы с ними столкнулись, не оставайтесь с этим в одиночку.

Предупреждение о содержании

Книга содержит:

*****откровенные сцены сексуального характера;

*сталкинг, преследование и одержимость;

*властную динамику на грани согласия;

*сцены жёсткого насилия;

*эмоциональное отвержение со стороны родителей;

*ненормативную лексику.

Все персонажи, вовлечённые в сцены сексуального характера, совершеннолетние.

Книга предназначена исключительно для читателей старше 18 лет.

Глава 1. Майя

Чужое имя под моим кадром

Есть такой момент между вдохом и выдохом, когда человек перестаёт притворяться.

Его нельзя выпросить, нельзя поставить, нельзя сказать «расслабьтесь, пожалуйста». Нужно просто ждать. Держать камеру у груди, а не у лица, чтобы тебя не замечали, и ждать, пока женщина в красном пальто на станции «Кларк/Лейк» перестанет держать спину и на секунду станет усталой. Пока парень с гитарным кейсом в вагоне в 23:40 закроет глаза и станет похож на мальчика, которого никто не забрал из школы. Пока старик с газетой вспомнит что-то и улыбнётся, не зная, что улыбается.

Щёлк.

Я ловила этот момент полтора года. Сорок две плёнки, четыре сотни часов в вагонах надземки, отмороженные пальцы, один украденный рюкзак и один настоящий, без шуток, разговор с бездомным по имени Терренс, который сказал мне, что я «смотрю, как человек, которому никто не смотрел в ответ». Из всего этого я собрала двенадцать кадров.

Я назвала их «Тишина между вдохами».

И сейчас они висели на белой стене галереи фонда Хейла в Вест-Лупе, в идеальных чёрных рамах, под идеальным светом, с идеальной табличкой под каждым.

Селеста Уитмор. Из серии «Паузы». 2026.

* * *

В наушниках играл трек Mazzy Star – «Fade Into You». Я включила его ещё в автобусе, потому что знала: если в голове будет тихо, я развернусь и уйду. Голос Хоуп Сандовал всегда звучал так, будто она поёт из соседней комнаты и ей всё равно, слушаешь ты или нет. Мне нужно было именно это: чтобы кому-то было всё равно, а мне – нет.

Я сняла один наушник и сразу пожалела.

Галерея гудела. Не громко, нет, у богатых людей не бывает громко. Звенели бокалы, кто-то тихо смеялся, кто-то говорил «совершенно потрясающая чувствительность к свету», и где-то под всем этим струнный квартет играл что-то, что я бы назвала «Вивальди для тех, кто не любит Вивальди». Пахло духами, которые стоят как моя аренда, и мокрыми пальто: снаружи Чикаго решил, что ноябрь – это время, когда дождь идёт горизонтально.

Я стояла перед кадром номер семь.

Женщина в красном пальто. На оригинале её пальто было скорее бордовым, кирпичным, цвета, который бывает только у старой краски и ноябрьских листьев. Здесь кто-то поднял насыщенность, и пальто стало просто красным. Красивым. Чужим. Кадр подрезали слева, убрали поручень, который я специально оставила, потому что поручень был о том, что ей не за что держаться, кроме себя.

Мне стало так плохо, что я на секунду перестала слышать квартет.

– Невероятно, правда? – сказала женщина рядом со мной. Седая короткая стрижка, серьги-капли, бокал белого. – Такое ощущение, что она залезла людям под кожу. Сколько ей, двадцать два? В её возрасте я умела только курить и разочаровывать отца.

Я посмотрела на неё. Я хотела что-то сказать. Что-то вежливое. Я всегда говорю что-то вежливое – это то, чему меня научили лучше всего: быть удобной, не мешать, не занимать места больше, чем тебе выделили.

– Это мой кадр, – сказала я.

Она моргнула.

– Простите?

– Это мой кадр, – повторила я, и голос у меня был странный, как будто его пропустили через трубу. – «Кларк/Лейк». Шестнадцатое февраля. Около семи вечера. Там должен быть поручень. Она держалась за него, а здесь его отрезали.

Женщина улыбнулась так, как улыбаются детям, которые говорят, что у них дома живёт дракон.

– Ох, дорогая. Вам, наверное, стоит выпить воды.

Она ушла. Я осталась. В правом ухе, где был наушник, трек шёл по второму кругу, медленный и тягучий, как сироп, а в левом кто-то произнёс: «...и, конечно, огромная благодарность Виктору, без которого...»

Я обернулась.

* * *

Виктор Хейл был из тех мужчин, которых, кажется, изготавливают на заводе: высокий, серебряные виски, тёмный костюм, улыбка с правильным количеством зубов. Его фамилия была выбита на половине зданий в Чикаго, на которые я никогда не заходила. Его фонд давал стипендии. Его галерея делала имена. Его рукопожатие, говорили у нас на курсе, стоило больше, чем диплом.

Весной я отправила «Тишину между вдохами» на его стипендию. Двенадцать кадров, эссе на две страницы, рекомендательное письмо от профессора Огдена, который сказал мне: «Беннет, если ты это не выиграешь, я съем свой штатив». Я не выиграла. Мне пришло письмо из трёх строчек, в котором меня поблагодарили за «интерес к программе». Огден штатив не съел. Он просто перестал об этом вспоминать, и я тоже сделала вид, что перестала.

А в сентябре в институте появилась афиша.

Селеста Уитмор. «Паузы». Персональная выставка. Галерея фонда Хейла.

На афише был кадр номер три. Парень с гитарным кейсом.

Я тогда стояла в холле на Колумбус-драйв, пока вокруг меня текли первокурсники с тубусами, и смотрела на этого парня. Я помнила, как он пах: мокрая куртка и дешёвый энергетик. Я помнила, что он вышел на «Дэймен» и забыл на сиденье медиатор. Медиатор до сих пор лежал у меня в коробке из-под чая. Жёлтый, с трещиной.

Я пошла к декану. Декан сказал, что «вопросы авторства – это очень серьёзное обвинение» и что «у мисс Уитмор безупречная репутация». Я показала исходники. Он сказал, что «файлы можно скопировать в любом направлении», и, не дослушав, закрыл папку с моим делом, аккуратно, как закрывают крышку над тем, что уже похоронили. И тогда я пошла к бесплатному юристу для студентов. Тот сказал, что против фонда Хейла у меня «интересная позиция, но очень дорогая», и пододвинул ко мне визитку чужой фирмы, где первая консультация стоила как мои три месяца аренды.

У меня были исходники, плёнки, медиатор в коробке из-под чая и ни одного человека, который бы мне поверил.

Как в детстве, подумала я тогда. Ничего нового.

* * *

Хейл говорил что-то про «новое поколение» и «смелость смотреть». Рядом с ним стояла Селеста.

Я видела её в коридорах сто раз и каждый раз думала одно и то же: она выглядит как реклама чего-то, что ты не можешь себе позволить. Светлые волосы, уложенные так, будто их вообще не укладывали. Платье цвета сливок. Тонкая цепочка на шее. Она улыбалась так, словно комплименты – это погода, и было бы странно на погоду реагировать.

Хейл положил ей руку на плечо – по-отечески, тепло, как кладут руку на того, кем гордятся.

На меня так никто никогда не смотрел.

Это была глупая мысль, детская и не к месту. Но она пролезла через все слои, которые я на неё накладывала, и встала в горле.

– ...поэтому я с огромным удовольствием, – сказал Хейл, – представляю вам Селесту, чей взгляд...

– Это не её взгляд.

Я не собиралась говорить это вслух. Честно. Я пришла, чтобы посмотреть. Убедиться. Может быть, тихо расплакаться в туалете и уехать на последнем автобусе. Но слова вышли сами, и, что хуже всего, – громко.

Квартет сбился на полтакта. Кто-то обернулся. Потом ещё кто-то.

Я стояла посреди зала в мокрых кедах, в чёрном свитере с катышками, с камерой на шее и наушником, который болтался у ключицы, и на меня смотрели сорок человек, которые пили шампанское по двести долларов за бутылку.

Селеста подняла брови. Красиво. Не испуганно – с вежливым интересом, как будто я была неожиданной частью перформанса.

– Простите? – сказала она.

Уходи, – сказала маленькая девочка внутри меня, та, которая сидела на лестнице, пока родители ругались за закрытой дверью, и ждала, что кто-нибудь выйдет и спросит, почему она не спит. *Уходи, ты всё портишь. Ты всегда всё портишь.*

Я сжала камеру так, что ремешок впился в шею.

– Эта серия называется «Тишина между вдохами», – сказала я. Голос дрожал, но не ломался. – Я снимала её полтора года на синей и коричневой ветках. Кадр номер семь – «Кларк/Лейк», шестнадцатое февраля. Кадр номер три – «Дэймен», парень забыл медиатор. Он жёлтый. Он у меня. Я отправила эти кадры на стипендию фонда Хейла в марте. А теперь они висят здесь, и под ними твоё имя.

Тишина в галерее была такой плотной, что я слышала, как где-то гудит вентиляция.

Хейл не перестал улыбаться. Это было страшнее всего. Он просто чуть наклонил голову, как наклоняют голову, глядя на собаку, которая гавкнула не вовремя.

– Мисс...?

– Беннет. Майя Беннет.

– Мисс Беннет. – Он произнёс мою фамилию так, будто пробовал её на вкус и не нашёл в ней ничего интересного. – Я понимаю, как болезненно бывает не пройти конкурс. Поверьте, все в этом зале через это проходили. Но...

– Я не про конкурс. Я про то, что это мои фотографии.

Кто-то хмыкнул. Кто-то достал телефон. Я видела, как загорается красная точка записи, и мне захотелось исчезнуть с такой силой, что заныло в солнечном сплетении.

И тут кто-то рассмеялся.

Не громко. Коротко, сухо, как ломают ветку.

* * *

Он стоял у колонны, чуть позади Хейла, с бокалом, из которого не пил. Я его не знала. Я бы запомнила.

Высокий. Тёмные волосы, которые явно не слушались ни расчёски, ни хозяина. Чёрная рубашка, рукава закатаны до локтя, и на предплечьях – тонкие синие разводы, как будто он мыл руки после краски и не домыл. Лицо – сплошные углы: скулы, челюсть, линия носа, которая когда-то, кажется, была сломана. И глаза. Серые. Не тёплые серые, как у пасмурного утра, а серые, как сталь моста над рекой в январе, когда к нему примерзают пальцы.

Если бы я снимала его, я бы ждала долго. Очень долго. Таким людям не бывает «между вдохами». Они не выдыхают.

– Извините, – сказал он, и в его голосе не было ни капли извинения. – Просто это очень трогательно.

Он отлепился от колонны и пошёл ко мне. Неторопливо, как идут по своему залу. Люди перед ним расступались, и он, кажется, этого даже не замечал.

– Синяя и коричневая ветки, – сказал он. – Полтора года. Медиатор. Жёлтый, с трещиной, в коробке из-под чая, да? – Он остановился передо мной и посмотрел сверху вниз. От него пахло скипидаром, дождём и чем-то тёплым, древесным. – Ты знаешь, сколько людей ездит на синей ветке, Беннет? Около ста тысяч в день. Ты правда думаешь, что ты единственная, кто догадался сфотографировать уставшего человека в поезде?

– Я не...

– Посмотри на свет. – Он не повысил голос. Он вообще говорил тихо, и от этого его слышал весь зал. – Седьмой кадр. Свет поставлен на лицо, тень уведена влево, контраст держит пальто. Это не случайность, а решение. Это решение принимает человек, который знает, что делает. – Он чуть наклонился. – А у тебя руки трясутся так, что ты не удержишь выдержку в одну тридцатую.

Я посмотрела на свои руки. Они действительно тряслись.

– Свет там такой, потому что в шесть пятьдесят на «Кларк/Лейк» солнце садится в окно на западной стороне платформы, – сказала я. – Я ждала его три недели. Каждый день. Я это не *решала*. Я это *ждала*.

Что-то мелькнуло у него в лице. На долю секунды. Как будто я сказала слово на языке, который он когда-то знал и забыл.

Потом это исчезло.

– Красивая история, – сказал он. – Правда. Тебе стоит её записать. Может, продашь как сценарий.

Кто-то засмеялся. Потом ещё кто-то. Смех катился по залу, лёгкий, бокальный, и Селеста тоже улыбнулась – едва-едва, уголком рта, как улыбаются, когда за тебя сделали грязную работу и сделали её хорошо.

Мне хотелось ударить его. Мне хотелось заплакать. Мне хотелось, чтобы пол под паркетом открылся и меня проглотил. Я не сделала ничего из этого. Я стояла и смотрела ему в глаза, потому что если я опущу взгляд, то это будет навсегда. Это я знала точно, как знают, что огонь горячий.

– Кто ты вообще такой? – спросила я.

– Адам Камерон, – сказал он. – Первый курс, живопись.

– Первый курс, – повторила я. – И ты уже разбираешься, кто что *решал*?

– Я разбираюсь в том, когда человек не справляется со своей жизнью и ищет, на кого это повесить.

Это было так точно, что у меня закружилась голова. Как будто он заглянул в коробку из-под чая, где лежал медиатор, и в соседнюю, где лежало всё остальное.

– Тебя здесь никто не ждал, Беннет, – сказал он тихо, уже только мне. – Привыкай.

* * *

Охранник появился так быстро, будто стоял за шторой и ждал реплики. Пожилой, с усталым лицом, он взял меня под локоть мягко, почти извиняясь.

– Мисс, давайте подышим воздухом.

Я не сопротивлялась. Я шла к выходу через зал, где все уже вернулись к шампанскому и делали вид, что меня не было. Квартет снова играл. Хейл снова говорил. Селеста снова улыбалась погоде. Только у колонны напротив стоял светловолосый парень в белой рубашке и смотрел мне вслед дольше, чем остальные.

У двери я обернулась. Не знаю зачем.

Адам Камерон стоял у моего кадра номер семь. Он не смотрел на Хейла. Не смотрел на Селесту. Он смотрел на женщину в красном пальто, которое на самом деле было бордовым, и лицо у него было странное – напряжённое, тёмное, как будто он слушал что-то очень далёкое.

Потом он поднял глаза. Прямо на меня. Через весь зал.

И только тогда до меня дошло.

Жёлтый, с трещиной, в коробке из-под чая.

Про трещину и коробку я в зале не говорила. Я вообще никому о них не говорила. Я написала об этом всего один раз – в эссе на две страницы, которое в марте отправила на стипендию фонда Хейла.

Дверь закрылась у меня за спиной, и ноябрьский дождь ударил в лицо горизонтально, как пощёчина.

* * *

Домой я добиралась два часа. Автобус сломался на Эшленд, я пошла пешком, потом передумала и села на розовую ветку. В вагоне было трое: я, спящий мужчина в куртке строителя и девочка лет двадцати с синими волосами, которая плакала в телефон и говорила: «Нет, мам. Нет. Ты не слушаешь. Ты никогда не слушаешь».

Я подняла камеру. Привычка. Потом опустила.

Не сегодня. Сегодня я не имела права забирать у кого-то его паузу.

Я живу в Пилсене, над прачечной, в квартире, которую риелтор назвал «студией с характером». Характер – это когда батарея включается с таким звуком, будто внутри кого-то убивают, а пол в ванной наклонён на три градуса к двери. Зато здесь всегда тепло, пахнет стиральным порошком, и внизу миссис Окафор, хозяйка прачечной, по пятницам оставляет мне под дверью пакет с жареными плантанами, потому что «девочка, ты прозрачная, тебя ветром сдует».

Я сняла мокрые кеды. Повесила камеру на крючок. Не включила свет.

Села на пол, прямо у двери, как в детстве на лестнице.

Телефон показывал четыре пропущенных: два от Огдена, один от Нии с курса и один от неизвестного номера. От мамы ничего. От папы ничего. Я не знаю, почему я каждый раз это проверяю. Наверное, по той же причине, по которой ждёшь солнце в окне на западной стороне платформы: потому что однажды оно может прийти.

В приложении уже было видео. Кто-то из гостей выложил его с подписью «драма на открытии Уитмор лол ». Сорок секунд. Я – маленькая, мокрая, с трясущимися руками. Он – спиной к камере, тёмный силуэт, голос, который режет. *Тебе стоит её записать. Может, продашь как сценарий.* Смех.

Две тысячи просмотров. Через пять минут – три.

Я выключила экран и прижала затылок к двери.

Он был прав в одном. Меня никто не ждал. Ни в этой галерее, ни в этом институте, ни в доме в Эванстоне, где на холодильнике висят магнитики из всех стран, куда родители ездили без меня. Меня никто не ждал никогда, и я, кажется, всю жизнь фотографировала чужие паузы, потому что в своих мне было слишком тихо.

Но он ошибся в другом.

Я не ищу, на кого это повесить. Я знаю, на кого.

Я встала, включила проигрыватель, поставила первую попавшуюся пластинку – Портисхед, «Dummy», игла зашипела, как дождь по крыше, – и пошла ставить чайник. Руки всё ещё дрожали. Ладно. Пусть дрожат. Выдержку в одну тридцатую я сегодня держать не собиралась.

Телефон коротко завибрировал на полу у двери.

Я подумала: Ния. Или Огден. Или – на секунду, глупо, по-детски – мама.

Я подняла его.

Сообщение в инстаграме. Аккаунт без аватара, без подписчиков, без единого поста. Пустая сетка, белая, как фотобумага, которую опустили в проявитель, а на ней так ничего и не появилось.

file_0347

Я знала этот номер. Он стоял в письме из трёх строчек, в котором фонд Хейла поблагодарил меня за «интерес к программе». Номер моей заявки.

Одна строчка.

file_0347: *У тебя дрожали руки. Хочешь доказательства?*

Я смотрела на экран, пока чайник за спиной не закричал.

Потом ещё одна строчка.

file_0347: *Я знаю, где она их взяла.*

Глава 2. Адам

Человек, который меня не узнал

Ультрамарин нельзя купить. То есть можно, конечно: в любом магазине для художников лежит тюбик с этим словом, двенадцать долларов, синтетика, ровный, послушный, мёртвый цвет. Настоящий ультрамарин делают из лазурита. Камень дробят, растирают, вымешивают с воском и смолой, неделю вымывают из него серость, пока не останется только синий. Тот самый, которым в Средние века писали плащ Богоматери, потому что он стоил дороже золота.

Я растираю его сам. Каждое воскресенье, в два часа ночи, курантом по стеклянной плите, пока не начинают гореть плечи.

Мама говорит, что это похоже на наказание. Я говорю, что это похоже на контроль. Мама говорит, что это одно и то же, и я вешаю трубку.

Под ногтями у меня теперь всегда синее. Даже в костюме. Даже на вечере у Виктора Хейла, где каждый второй гость стоит больше, чем дом, в котором я вырос.

* * *

Я заметил её раньше, чем она открыла рот.

Это не романтика. Это профессиональное. Когда пишешь, учишься видеть то, что выбивается из композиции, – пятно не того цвета, линию не в ту сторону. Галерея Хейла в тот вечер была выстроена идеально: белые стены, тёплый свет под углом в сорок пять, люди в тёмном и кремовом, бокалы как блики. Всё сходилось.

Кроме неё.

Мокрые кеды. Чёрный свитер на размер больше, с катышками на локтях. Волосы – каштановые, тяжёлые от дождя, заправлены за одно ухо, из второго торчит наушник. Камера на шее, старая, плёночная, с потёртым ремнём. Она стояла перед седьмым кадром и держала камеру у груди, обеими руками, как держат что-то живое.

Она не смотрела на фотографию. Она смотрела *внутрь* неё. Так смотрят в окно дома, где когда-то жили.

Я знал этот кадр. Я знал его лучше, чем Селеста Уитмор, которая под ним подписалась.

Потому что в мае я его уже видел – в папке номер 0347.

* * *

Работу в архиве фонда я получил в апреле. Двадцать часов в неделю, сканирование, каталогизация, «помощь в обработке заявок на стипендиальную программу». Пятнадцать долларов в час и подвал на Вест-Рэндольф, где пахнет пылью и бумагой. Я врал на собеседовании так гладко, что сам себе почти поверил: молодой художник, восхищаюсь деятельностью фонда, мечтаю учиться у лучших.

Женщина из отдела кадров спросила, почему именно фонд Хейла.

Я сказал, что вырос на его меценатских проектах.

Это даже не было ложью. Просто не в том смысле, который она услышала.

Заявки приходили сотнями. Я сканировал портфолио, вбивал имена в таблицу, раскладывал эссе по папкам. Большинство было одинаковым. «С детства я мечтал». «Искусство для меня – это». «Я хочу изменить мир». Через неделю я перестал их читать. Через две начал читать снова, потому что от тишины в подвале хотелось выть.

Папка 0347 пришла в среду. Майя Беннет, восемнадцать лет, фотография. Двенадцать кадров. Эссе на две страницы.

Эссе начиналось не с «с детства я мечтала». Оно начиналось со слов про то, что у неё в коробке из-под чая лежит чужой медиатор, жёлтый, с трещиной, и она до сих пор не может решить, украла она его или спасла.

Я прочитал эссе три раза. Потом ещё раз, уже дома, по фотографии, которую сделал на телефон, хотя этого было делать нельзя.

Там не было ни одного красивого слова. Там было про то, как она три недели ждала солнце на западной стороне платформы. Про то, что люди в вагонах похожи на картины, которые никто не повесил. Про то, что она фотографирует чужие паузы, потому что в собственном доме ей их никто не давал.

Последнюю строчку я помню до сих пор. Я не хочу её помнить. Это было бы проще.

Я хочу, чтобы кто-нибудь однажды посмотрел на меня так же внимательно, как я смотрю на них.

Через неделю папку 0347 у меня забрали. Сказали: «В отдельное рассмотрение». Я не спросил, к кому. Я знал, кто в этом фонде решает, что рассматривать отдельно.

В сентябре я увидел афишу.

* * *

– ...поэтому я с огромным удовольствием, – сказал Хейл, – представляю вам Селесту, чей взгляд...

– Это не её взгляд.

Голос у неё был тихий. Не для такого зала. Он должен был утонуть в квартете и звоне бокалов, но вместо этого прошёл сквозь всё, как трещина проходит по стеклу – тонко, и сразу во всю длину.

Я смотрел на Хейла. Я всегда смотрю на Хейла, когда мы в одном помещении. Это привычка, которую я в себе ненавижу, – как облизывать языком больной зуб.

Он не вздрогнул. Только слегка повернул голову, и на долю секунды в его лице появилось то, что я видел у него лишь однажды, давно, на фотографии из газеты, которую мама прятала в ящике с документами.

Раздражение. Холодное. Как у человека, который заметил пятно на рукаве.

А потом она заговорила про медиатор, и у меня в груди что-то сдвинулось.

Не жалость. Я не умею жалеть, мне некогда. Что-то хуже. Злость – на то, что она стоит там одна, мокрая, с дрожащими руками, и говорит правду людям, которым правда не нужна. Злость на то, что я знаю, что она права. Злость на то, что это знание не стоит в этом зале ровно ничего.

Я знал, что сейчас будет. Её выведут. Видео разойдётся. Хейл улыбнётся, Селеста улыбнётся, и все забудут к десерту. Девочка с плёночной камерой вернётся туда, откуда пришла, и будет сидеть там с коробкой из-под чая до конца жизни.

А я буду стоять у колонны. Пятнадцать долларов в час. Ещё один молодой художник, который восхищается деятельностью фонда.

Хейл не узнает меня. Хейл даже не посмотрит в мою сторону. Он не смотрел двадцать один год, с чего бы начать сегодня.

Если только я не дам ему повод.

Я рассмеялся.

* * *

Не помню, что я говорил. Помню отдельные куски, как вырезки, приклеенные криво. Сто тысяч человек на синей ветке. Свет на седьмом кадре. Её руки, которые не удержат выдержку в одну тридцатую.

Я говорил тихо и точно. Я всегда так говорю, когда хочу, чтобы было больно. Громко кричат те, кто не уверен, что попадёт.

Я попадал.

Я видел, как каждое слово входит в неё, как гвоздь в мягкое дерево. Как у неё бледнеют губы. Как пальцы сжимаются на ремне камеры. Как она хочет опустить глаза и не опускает.

Она не опустила.

Ни разу. За всё время, пока я её резал, она смотрела мне в лицо так, будто это я стою посреди зала мокрый и смешной. Будто она видит что-то, чего не видят остальные сорок человек.

А потом она сказала: «Я это не решала. Я это ждала».

И меня как будто ударили в солнечное сплетение.

Потому что я знаю, что такое ждать. Я ждал двадцать один год. Я ждал у почтового ящика, когда мама проверяла, пришёл ли чек, который приходил раз в год, без подписи, без единого слова. Я ждал на лестнице в бесплатной клинике, пока мама объясняла кому-то, что страховки нет. Я ждал, когда вырасту, когда смогу, когда приеду в этот город и встану в одном зале с ним.

Я не решал этого. Я это ждал.

Она сказала это за меня. Не зная. Просто сказала – и посмотрела так, будто ей не стыдно.

Я, кажется, на секунду забыл, что говорю. Потом вспомнил.

– Красивая история, – сказал я. – Тебе стоит её записать.

Я сказал, что её здесь никто не ждал.

Я сказал это потому, что это была правда. И потому, что мне нужно было, чтобы она ушла, прежде чем я сделаю что-нибудь, о чём пожалею.

Охранник увёл её. Она шла через зал, маленькая, прямая, и люди отодвигались от неё, как от лужи на полу. У двери она обернулась.

Я в этот момент смотрел на кадр номер семь. На женщину в пальто, которое раньше было цвета ноябрьских листьев. Я вдруг понял, что поручень отрезали не просто так. На оригинале женщине было за что держаться. Здесь – нет. Кто-то, кто резал этот кадр, понял, что поручень – это главное, и убрал его, чтобы было красивее.

Я поднял глаза.

Она смотрела на меня через весь зал. И по тому, как у неё изменилось лицо, я понял, что она поняла.

Коробка из-под чая.

Твою мать.

* * *

– Это было... – Селеста возникла у моего плеча, как запах дорогих духов, – неожиданно. Спасибо.

Вблизи она была ещё красивее. Красота у неё была отполированная, как у мебели в лобби. Ни одной царапины. Ни одной паузы.

– Не за что, – сказал я.

За её плечом стоял Джулиан Прайс. Я знал его по фотографиям в архиве: крестник Хейла, скульптор с третьего курса, член студенческой комиссии стипендиальной программы. Светлые волосы, ленивая улыбка, дорогая рубашка, а на манжетах белая гипсовая пыль, как будто он только что вышел из мастерской и не счёл нужным это скрывать. Он не смотрел ни на меня, ни на Селесту. Он смотрел на дверь, за которой исчезла Беннет. Слишком долго для человека, которому всё равно.

– Мы ведь не знакомы? – Селеста наклонила голову, как Хейл. Научилась у него, наверное. – Ты с курса Андерсена?

– С живописи.

– А. – Это «а» было похоже на то, как ставят галочку. – Ну, живопись, значит. Приходи как-нибудь в пятницу к Джулиану в лофт на Ривер-Норт. Мы собираемся там каждую неделю: вино, музыка, разговоры до утра. – Она коснулась моего предплечья, прямо там, где синие разводы. – У нас... тесный круг.

Я знал, что такое её «тесный круг». Сыновья и дочери людей, чьи фамилии выбиты на зданиях. Те, кто ездит в Аспен на каникулы и говорит о деньгах так, будто это погода.

Я улыбнулся. Я хорошо улыбаюсь, когда нужно. Мама говорит, что это самое страшное, что во мне есть.

– Приду.

– Мистер...?

Я обернулся.

Хейл стоял в двух шагах. С бокалом. С улыбкой, которая лежала на лице ровно, как лак поверх старой картины: блестит, а под ним не разглядеть, что написано на самом деле. Вблизи у него были мелкие морщины в углах глаз и слишком гладкий подбородок, как будто его брили дважды за вечер. Глаза – серые. Холодные. Как сталь моста над рекой в январе.

Я каждое утро вижу эти глаза в зеркале.

– Камерон, – сказал я. – Адам Камерон.

Хейл протянул руку.

Двадцать один год я представлял себе этот момент. Я представлял, как сломаю ему нос. Как скажу что-то, после чего он будет стоять и не дышать. Как плюну ему на ботинки. Как просто посмотрю – и он *узнает*. Как изменится лицо. Как он побледнеет.

Он пожал мне руку. Крепко, сухо, коротко. Как жмут руку официанту, который удачно подал пальто.

– Камерон, – повторил он. Чуть задумался. Секунда. Две. У меня в ушах шумело так, что я почти не слышал зала. – Знакомая фамилия.

– Распространённая, – сказал я.

– Пожалуй. – Он улыбнулся. – Хорошая реакция, мистер Камерон. Точная. Людям нужно напоминать, где проходит граница между искусством и истерикой. Не многие в вашем возрасте это понимают.

– Спасибо, сэр.

Сэр. Я сказал ему «сэр».

– Заходите ко мне в понедельник. – Он кивнул куда-то в сторону, и рядом сразу появилась ассистентка с планшетом. – Аннабель запишет. Я слышал, вы работаете у нас в архиве? Нам нужны люди, которые понимают, что такое... лояльность.

Он похлопал меня по плечу. Два раза. Легко. И ушёл к следующему гостю, который уже держал наготове улыбку.

Он не узнал меня.

Конечно, не узнал. Чтобы узнать, надо хоть раз увидеть.

* * *

На улице лил дождь – горизонтально, как всегда в этом проклятом городе. Я не стал вызывать такси. Я шёл пешком от Вест-Лупа до Украинской деревни – района на западе, где я снимал квартиру, – сорок минут, через мост над рекой, мимо закрытых магазинов, мимо надземки, которая гремела над головой так, что вибрировали зубы.

Я снял пиджак ещё на мосту. Рубашка промокла насквозь. Мне было всё равно.

Я поднял руку и посмотрел на ладонь, которую он пожал.

Ничего. Обычная ладонь. Синее под ногтями. Мозоль от кисти на среднем пальце.

Я думал, будет что-то. Ожог. Дрожь. Хоть что-нибудь.

Ничего.

Я сжал кулак и ударил в бетонную опору надземки. Один раз. Хорошо так, по-настоящему. Костяшки вспыхнули белым, потом красным. Боль прошла по руке до локтя, ясная, чистая, честная. Наконец-то хоть что-то в этом вечере было честным.

Женщина под зонтом на другой стороне улицы отпрянула и ускорила шаг.

Правильно, подумал я. Беги.

* * *

Квартира у меня – одна комната над закрытой пекарней, с окном на кирпичную стену. Сорок квадратных метров, из них тридцать занимает мастерская: мольберты, подрамники, рулоны холста, банки с растворителем, стеклянная плита для растирания пигментов. Кровать стоит в углу, как что-то, что тут временно. Пахнет скипидаром, льняным маслом и холодом – батарея здесь работает по настроению, а настроения у неё не бывает.

Я включил одну лампу. Сбросил мокрую рубашку на пол.

Телефон завибрировал. Мама.

Я смотрел на экран, пока он не перестал звонить. Потом он зазвонил снова, и я взял.

– Ты его видел? – спросила она вместо «привет».

Голос у неё был усталый. Она только пришла со смены – я слышал, как она скидывает обувь, как щёлкает чайник. Тридцать лет в ночную смену в больнице в Милуоки, а она всё ещё ставит чайник так, будто это первое, что нужно сделать в жизни.

– Видел, – сказал я.

– И?

Я подошёл к окну. Кирпичная стена напротив блестела от дождя.

– И ничего, мам.

Она молчала долго. Я слышал, как она дышит.

– Адам. Приезжай домой.

– Нет.

– Это не стоит того. Он не стоит.

– Я знаю, – сказал я. – Я позвоню завтра.

Я повесил трубку прежде, чем она успела сказать то, что всегда говорит в конце. Я не могу это слышать. Не сейчас.

* * *

Я не собирался рисовать.

Я сел на пол, у стены, в мокрых брюках, с разбитыми костяшками, и собирался просто сидеть. Подумать про понедельник. Про Хейла и его ассистентку Аннабель, про «лояльность», про то, что дверь, которую я пинал два года, наконец открылась сама.

Вместо этого я думал про то, как она не опустила глаза.

Про свитер с катышками. Про то, как она держала камеру – обеими руками, у груди, будто это был не аппарат, а сердце, которое ей временно разрешили подержать. Про то, что она сказала: «Я это ждала», и мне захотелось одновременно ударить её и встать на колени.

Я поставил на проигрыватель первое, что попалось, – Arctic Monkeys, «Do I Wanna Know?». Басовая линия вошла в комнату медленно, тяжело, как тот, кто знает, что его ждут.

Я встал. Взял уголь. Прикрепил к мольберту чистый лист.

Сначала я хотел нарисовать Хейла. Я делал это раньше, сотни раз: его лицо, перечёркнутое, сожжённое, разрезанное на полосы. Это было что-то вроде ритуала. Терапии для бедных.

Рука нарисовала другое.

Скулу. Линию подбородка. Мокрую прядь, заправленную за ухо. Губы, которые побледнели, но не дрогнули. Глаза, которые смотрят прямо на тебя – не снизу, хотя она была ниже на голову. *Насквозь*.

Я нарисовал её раз. Скомкал. Нарисовал второй. Скомкал. На третьем я перестал комкать.

Трек кончился и начался снова. Я не стал его переключать.

Я рисовал до четырёх утра. Лицо. Руки на ремне камеры. Затылок в профиль, когда она шла к двери. Плечо под свитером. Ключица, у которой болтался наушник. Тот момент, когда она обернулась, и я понял, что она поняла.

К рассвету на полу лежало одиннадцать листов. На всех была она.

Я смотрел на них и чувствовал что-то, чему у меня не было названия. Не нежность – нет. Что-то голодное. Как когда видишь цвет, которого нет ни в одной палитре, и понимаешь, что не уснёшь, пока его не намешаешь.

Я хочу, чтобы кто-нибудь однажды посмотрел на меня так же внимательно, как я смотрю на них.

Ну вот, Беннет. Посмотрел.

Тебе это не понравится.

* * *

Я пошёл в душ. Вода была едва тёплая, костяшки щипало. Когда я вышел, в окне уже светлело, серым, тяжёлым, чикагским.

Я выключил лампу.

Телефон на мольберте был на беззвучном. Экран загорелся сам, коротко, в темноте – уведомление, которое я не стал читать.

Я лёг на кровать, не раздеваясь, и последнее, что я видел перед тем, как провалиться, – одиннадцать белых листов на полу и одиннадцать её лиц, которые смотрели на меня из полумрака.

Ни одно из них не опускало глаза.

Глава 3. Майя

Первое задание

Я не ответила.

Всю ночь телефон лежал экраном вниз на кухонном столе, рядом с остывшим чаем, а я лежала на кровати и смотрела в потолок, на трещину в штукатурке, похожую на реку Чикаго на карте. *Хочешь доказательства? Я знаю, где она их взяла.*

Две строчки. Пустой аккаунт. Белая сетка. И номер моей заявки вместо имени.

Так выглядит ловушка, сказал внутри меня голос, очень похожий на мамин. Спокойный, ровный, всегда разумный. *Ты устроила сцену, тебя сняли на видео, и теперь кто-то хочет посмеяться ещё раз. Ты ответишь, а завтра твоя переписка будет в каждом телефоне на курсе. Ты ведь не настолько глупая, Майя?*

Я не настолько глупая.

В шесть утра я перевернула телефон. Новых сообщений не было. Аноним не торопил, не уговаривал, не писал «эй?» и «ты тут?». Он просто ждал. Как ждут люди, которые знают, что ты всё равно придёшь.

От этого было хуже всего.

* * *

Утром видео набрало двадцать шесть тысяч просмотров.

Я узнала об этом не из телефона: я его не открывала, – а от Нии. Она поймала меня у входа в корпус на Уобаш, схватила за рукав и затащила в нишу у лифтов, туда, где стоит автомат с газировкой, который никогда не работает.

– Ты как? – спросила она, и, не дожидаясь ответа: – Ладно, тупой вопрос. Ты ужасно. Слушай. Слушай меня. Там половина комментариев за тебя.

– А вторая половина?

– Вторая половина – идиоты. – Ния поправила очки. Она была маленькая, круглолицая, с короткими кудрями, выкрашенными в цвет сливы, и училась на керамике, потому что, как она говорила, «глина хотя бы честно разваливается». – И ещё. Ты знаешь, кто этот, который тебя... ну...

– Камерон.

– Камерон. – Она понизила голос, хотя вокруг никого не было. – Он подрабатывает в архиве фонда Хейла. С весны. Мне Джош с графики сказал, у Джоша сосед там тоже работал, пока его не выгнали за то, что он курил в подвале.

У меня в желудке что-то медленно перевернулось.

Значит, вот как. Не магия. Не телепатия. Он просто сидел в подвале фонда, пока моя папка лежала у него на столе. Читал моё эссе. Читал про медиатор, про солнце на западной стороне платформы, про то, что... Боже. Про последнюю строчку.

Я закрыла глаза.

– Майя? Это ещё не всё. – Ния кусала губу. – Джош говорит, весной на пятничной вечеринке у Джулиана Прайса Селеста читала вслух какое-то эссе. Смеялась. Что-то про медиатор и про то, что «бедняжка хочет, чтобы на неё посмотрели». Джош тогда не понял, чьё это. А теперь... – Она замолчала.

У меня похолодели пальцы.

Значит, не только Камерон. Моё эссе, мои две страницы, которые я переписывала одиннадцать раз, читали вслух в лофте на Ривер-Норт под вино и смех. Его слышал Прайс, который сидел в комиссии. Его слышала вся компания Селесты. Его читал Огден, когда писал рекомендацию. Его читал Камерон в своём подвале.

Кто угодно.

– Но Камерон сказал это мне в лицо, – сказала я. – «Коробка из-под чая». Он знал, что это мои кадры, Ния. Он *знал*. И всё равно...

Ния открыла рот. Закрыла.

– Мудак, – сказала она убеждённо.

– Да.

– Хочешь, я сделаю ему пепельницу в форме его лица? А потом уроню.

Я рассмеялась. Неожиданно, коротко, и смех вышел похожим на всхлип. Ния обняла меня. Она пахла глиной и мятной жвачкой.

Я не рассказала ей про сообщение. Не знаю почему. Наверное, потому, что если сказать вслух, придётся решать. А пока это лежит только у меня в телефоне, это как будто не совсем по-настоящему.

* * *

Общий семинар по теории современного искусства у профессора Рейес – единственное место в расписании, где первокурсников со всех направлений собирают в одной аудитории. Сорок человек, длинные столы, проектор, который гудит, как старый холодильник. Мы обсуждали фотографию как свидетельство. Тема недели: «Может ли снимок лгать?»

Ирония была такая густая, что ею можно было подавиться.

Я села, как всегда, у окна, во втором ряду. Достала блокнот. Поставила рядом стакан с кофе из автомата, который на вкус был как жжёная резина.

Он вошёл за минуту до начала.

Я не смотрела на дверь. Я просто знала. Так знаешь, что в комнате открыли окно, – по сквозняку на шее.

Он прошёл мимо меня. Медленно. Чёрная толстовка, капюшон на плечах, тёмные волосы ещё влажные после душа. На правой руке, на костяшках, – свежие ссадины, почти чёрные по краям, как будто он вчера пытался пробить стену.

Он сел ровно за мной.

Я почувствовала, как у меня на затылке поднимаются волоски.

– Сегодня, – сказала профессор Рейес, высокая женщина с серебряными кольцами на всех пальцах, – мы поговорим о том, кому принадлежит взгляд. Фотограф нажимает кнопку. Но кто решает, что именно мы видим? Тот, кто снял? Тот, кто напечатал? Тот, кто повесил на стену?

– Тот, кто подписал, – сказал голос у меня за спиной.

Тихо. Лениво. Как будто он не участвовал в разговоре, а просто поправлял его.

Кто-то хихикнул. Кто-то обернулся на меня. Я почувствовала, как краснеют уши, и ненавидела себя за это так сильно, что сжала ручку до боли.

Рейес приподняла бровь.

– Интересная позиция, мистер...

– Камерон.

– Мистер Камерон. Развернёте?

– Зритель не видит процесс. – Я слышала, как он откинулся на стуле. Скрип. – Он не знает, сколько часов кто-то стоял на платформе. Ему всё равно. Он видит готовую вещь и табличку. Табличка – это и есть взгляд. Всё остальное – сентиментальность.

Вся аудитория знала, о чём он. Двадцать шесть тысяч просмотров.

Я положила ручку.

Я не собиралась. Правда. Я собиралась сидеть тихо, как сидела всю жизнь, когда взрослые за столом говорили обо мне в третьем лице. *Майя опять. Майя вечно. Майя, иди к себе.* Но что-то во мне – тот самый маленький жёсткий камешек, который я обнаружила вчера в галерее и о существовании которого не подозревала восемнадцать лет, – сдвинулось.

Я обернулась.

Он сидел, развалившись, закинув руку на спинку соседнего стула. Серые глаза – прямо на меня. В них не было злости. Было что-то хуже: интерес. Как будто он наконец дождался, когда я повернусь.

– Тогда зачем ты читаешь чужие эссе? – сказала я.

Тишина.

Я видела, как у него на секунду замирает лицо. Совсем чуть-чуть. Как будто кто-то поставил на паузу.

– Если взгляд – это табличка, – продолжила я, и голос у меня, к моему собственному удивлению, не дрожал, – тогда тебе должно быть всё равно, кто что пишет в заявке на стипендию. Но ты почему-то помнишь, в какой коробке у меня лежит медиатор. – Я наклонила голову. – Видимо, для тебя сентиментальность – это когда страдают другие. А когда сам – это уже «внимание к деталям».

Кто-то сзади присвистнул. Тихо, но отчётливо.

Адам Камерон смотрел на меня. Долго. Уголок его рта дёрнулся, – не в улыбку, а во что-то, похожее на неё, как трещина похожа на линию.

– Осторожнее, Беннет, – сказал он негромко. – Ещё немного, и я решу, что ты меня читала.

– Я не читаю мусор, – сказала я.

И отвернулась.

Телефон завибрировал у меня в кармане. Один раз.

Я достала его под столом.

file_0347: *Красиво. Но он не главное. Не трать на него силы.*

Я медленно, как будто поправляя волосы, обернулась ещё раз.

Камерон сидел так же: одна рука на спинке соседнего стула, в другой карандаш, которым он что-то чертил в скетчбуке. Его телефон лежал на краю стола экраном вниз. Он даже не поднял глаз.

Это был не он.

Я почему-то почувствовала облегчение. И сразу разозлилась на себя за это облегчение так, что заболела челюсть.

Сердце колотилось так, что я слышала его в ушах громче проектора. Руки под столом тряслись. Но я сидела ровно, и смотрела на доску, и записывала в блокнот слова Рейес, которых не понимала, и всю оставшуюся пару чувствовала его взгляд у себя на затылке, – тяжёлый, горячий, как ладонь.

Он ни разу больше не сказал ни слова.

Когда пара кончилась, я вышла первой. В коридоре я поняла, что забыла кофе на столе. Возвращаться не стала.

Вечером, уже дома, я наконец ответила:

Майя: *Кто ты?*

Ответ пришёл через одиннадцать секунд. Я посчитала.

file_0347: *Тот, кто не смеялся.*

Майя: *Это не ответ.*

file_0347: *Это единственный ответ, который тебе сейчас нужен.*

Я смотрела на экран. Батарея за спиной включилась со своим обычным предсмертным воем, и я вздрогнула.

Майя: *Откуда мне знать, что это не Уитмор? Или Прайс? Или кто-то из них, кто хочет записать, как я снова позорюсь?*

Пауза. Три точки. Исчезли. Появились снова.

file_0347: *Ниоткуда. Поэтому вот правила. Первое: ты никому не рассказываешь обо мне. Второе: ты делаешь то, что я прошу. Третье: ты можешь выйти из игры в любой момент. Просто перестань отвечать. Но тогда без доказательств.*

Майя: *А если я выйду, что ты сделаешь?*

file_0347: *Ничего. Ты больше никогда обо мне не услышишь.*

Почему-то от этого стало не легче, а страшнее.

Майя: *Что за задание?*

Ответ пришёл не сразу. Минута. Две. Я встала, налила воды, выпила стоя у раковины. Когда вернулась, на экране было:

file_0347: *Сегодня. 23:40. «Кларк/Лейк», западная платформа. Возьми камеру. На третьей скамейке от лестницы тебя кое-что ждёт.*

И ниже, отдельным сообщением:

file_0347: *Ты знаешь эту платформу лучше всех. Ты ждала там солнце три недели. Подожди теперь меня.*

Он и это знал. Конечно, знал. Это было в эссе.

Я посмотрела на часы. 21:52.

Ты можешь выйти из игры в любой момент.

Я надела куртку.

* * *

В двадцать три сорок станция «Кларк/Лейк» похожа на сцену после спектакля. Свет ещё горит, декорации на месте, но зрители уже ушли, а актёры переоделись и разъехались по домам. Пустые скамейки. Плакаты с рекламой страховки, которую никто не купит. Автомат с билетами мигает зелёным, как будто подмигивает тебе, но не говорит зачем.

Я поднялась по лестнице на западную платформу. Камера висела у меня на шее, – привычный вес, привычный ремень. Я держала её обеими руками.

На платформе был один человек: пожилой мужчина в оранжевом жилете, который сидел на дальней скамейке с термосом и смотрел на рельсы так, будто ждал не поезд, а что-то гораздо важнее. Я на секунду подняла камеру. Остановилась. Опустила.

Третья скамейка от лестницы.

Я посчитала. Один. Два. Три.

Там лежал конверт. Обычный, плотный, коричневый, без надписей. Придавленный сверху чем-то маленьким и жёлтым.

Я подошла ближе – и у меня остановилось дыхание.

Медиатор.

Не мой – мой лежал дома, в коробке, я проверила его сегодня утром, потому что, кажется, сходила с ума. Этот был новый, гладкий, без трещины. Но такой же формы. Такого же цвета.

Я села на скамейку. Руки снова дрожали. Над головой с грохотом прошёл поезд по другой ветке, – пол завибрировал, огни мигнули, – и стало тихо.

В конверте был один лист. Распечатка. Таблица с тусклыми серыми строками, какие бывают в системах, которые никто не обновлял с две тысячи десятого.

Фонд Хейла. Стипендиальная программа. Журнал доступа.

Заявка 0347. Беннет, М. Файлы загружены: 14.03.2026, 23:17.

И ниже, через несколько строк:

Заявка 0347. Доступ к исходным файлам: Уитмор, С. 02.04.2026, 01:42. Экспорт: 12 файлов.

Два часа ночи. Двенадцать файлов.

Двенадцать кадров.

Я сидела и смотрела на эту строчку, пока у меня не начали слезиться глаза. Не от слёз. От того, что я забывала моргать.

Это не доказательство. Я знала это. Распечатку можно подделать. Любой юрист, любой декан скажет мне то же самое, что говорили всегда. Но это было... *первое*. Первое, что я держала в руках, кроме своих слов. Первое, что говорило: *ты не сумасшедшая. Это было. Это правда*.

Телефон завибрировал.

file_0347: *Нашла?*

Майя: *Откуда это у тебя?*

file_0347: *Это неважно. Важно, что дальше будет больше. Теперь твоя часть.*

Майя: *Какая?*

Три точки. Долго.

file_0347: *Подними камеру. Повернись к путям. Когда придёт поезд, в стекле вагона будет твоё отражение. Сними его.*

Я перестала дышать.

Майя: *Зачем?*

file_0347: *Потому что ты снимала чужие паузы полтора года. И ни разу – свою.*

Я сидела на скамейке и смотрела на рельсы, на тёмный тоннель вдали, из которого вот-вот должен был появиться свет. Я ненавидела свои фотографии. Ненавидела зеркала в примерочных. Ненавидела школьные снимки, на которых я всегда стояла с краю, – та, которую забыли позвать ближе к центру. Дома у родителей не было ни одной моей фотографии на стенах. Я однажды посчитала. Ни одной.

Он знал это. Он не мог знать, – но знал. Я об этом не писала. Наверное, просто было видно. Между строк.

Свет вынырнул из тоннеля. Поезд нарастал – гул, потом грохот, потом визг тормозов.

Я встала. Подошла к жёлтой линии. Подняла камеру.

Вагоны поползли мимо, медленнее, медленнее, и в чёрном стекле одного из них, между рекламой и чьим-то забытым шарфом на сиденье, появилась девушка. Тёмные волосы, бледное лицо, камера у глаза. Она выглядела испуганной. Она выглядела так, будто ей очень давно никто ничего не говорил.

Поезд остановился. Двери открылись. Никто не вышел.

Я нажала на спуск.

Щёлк.

Двери закрылись. Поезд ушёл. Я осталась на платформе, одна, с камерой у лица, и мне было так стыдно и так легко одновременно, что я не понимала, плакать мне или смеяться.

Майя: *Сделано.*

Ответ пришёл сразу.

file_0347: *Я знаю. Я видел.*

Я резко обернулась.

Платформа была пустой. Мужчина в оранжевом жилете ушёл, – я даже не заметила, когда. Лестница вниз, лестница вверх, тёмная будка кассира, автомат, мигающий зелёным. Никого.

Майя: *Где ты?*

file_0347: *Иди домой, Майя.*

Он впервые назвал меня по имени.

* * *

Я ехала домой с конвертом за пазухой, под курткой, как будто он мог выпасть. Розовая ветка была почти пустой. Я сидела у двери, прижавшись виском к холодному стеклу, и смотрела на своё отражение. Оно смотрело на меня в ответ. Это было непривычно. Мы с ним не очень хорошо знали друг друга.

В наушниках играла Билли Айлиш, «bury a friend». Я не выбирала, – плейлист сам перешёл на неё, и я не стала переключать. Голос был тихий, почти шёпот, и бас под ним шёл, как шаги за спиной в пустом коридоре.

На «Восемнадцатой» я вышла. Отсюда до дома десять минут пешком: вниз по лестнице, через перекрёсток, мимо мексиканской пекарни с жёлтой вывеской, потом налево, через переулок за прачечной миссис Окафор. Я ходила так сто раз. Тысячу. Я знала каждую трещину в асфальте.

В переулке не горел фонарь.

Он не горел уже неделю, я писала жалобу в город, мне пришло письмо с номером обращения. Обычно мне это не мешало. Обычно я шла, не глядя, с музыкой в ушах, и думала о кадрах, о свете, о чём угодно.

Сегодня я остановилась у входа в переулок.

Не знаю почему. Просто что-то в воздухе было не так. Как будто темнота была плотнее, чем должна быть.

Я вытащила один наушник. Тишина. Только где-то далеко сирена и шум машин на Восемнадцатой. И капель с пожарной лестницы – кап, кап, кап.

Ничего. Дура. Это нервы.

Я сделала шаг. Ещё один.

На середине переулка я поняла, что не одна.

Он стоял в тени у мусорных баков, возле вентиляционной решётки прачечной, из которой всегда тянуло тёплым паром от сушильных машин. Высокий. Тёмная одежда, капюшон. А там, где должно было быть лицо, белела маска.

Белая, гладкая, классическая, – как у статуй в музее, с прямым носом и спокойными губами. Только глаза у неё были пустые. Две чёрные прорези, в которых ничего не было видно. Совсем ничего.

Я перестала дышать.

Музыка в одном наушнике всё ещё играла. Шёпот. Бас.

Он не двигался. Он просто стоял и смотрел, – я знала, что он смотрит, хотя глаз не видела. По мурашкам на руках. По тому, как вдруг пересохло во рту.

Беги, сказал во мне голос. Беги, беги, беги.

Я не побежала.

Я не знаю почему. Ноги просто не послушались. Или послушались, но не той части меня, которая кричала. А той, которая полтора года стояла на пустых платформах и ждала, когда кто-нибудь посмотрит в ответ.

Он сделал шаг ко мне.

Потом ещё один.

Я отступила – и упёрлась спиной в стену. Кирпич, холодный, мокрый. Камера между нами, у меня на груди, – я держала её обеими руками, как щит.

Он остановился так близко, что я почувствовала его тепло. Запах – дождь, мокрая ткань, и ещё что-то, едва уловимое, сухое, меловое. Я не могла понять что.

Белая маска наклонилась ко мне. Медленно. Я видела своё отражение в гладком гипсе – смазанное, бледное пятно с огромными глазами.

– Не надо, – прошептала я. Сама не знаю, о чём просила.

Он поднял руку.

Перчатка – чёрная, кожаная, холодная от улицы. Он коснулся моей щеки. Едва-едва. Самыми кончиками пальцев. Провёл вниз – от скулы к подбородку, медленно, как проводят кистью по холсту, когда пробуют первый мазок.

Я дрожала. Вся. С головы до ног. От страха – да. От холода – тоже. Но было что-то ещё, – что-то, отчего у меня горели щёки под его пальцами и сжималось внизу живота, тёмное, горячее, стыдное, и я не знала, как это назвать, и не хотела знать.

Его большой палец остановился на моей нижней губе.

Чуть надавил.

Я перестала дрожать. Кажется, даже забыла, как дышать. Мир сжался до этой точки – холодная кожа перчатки и мои губы, которые вдруг стали такими чувствительными, будто с них сняли верхний слой.

Он наклонился ещё ближе. Маска почти коснулась моего лба. Я слышала его дыхание – тяжёлое, неровное, как будто ему тоже было трудно.

А потом он отпустил меня.

Отступил на шаг. На второй.

И исчез.

Не убежал – просто растворился в темноте, в конце переулка, как будто его там и не было. Ни шагов. Ни звука. Только капель с пожарной лестницы – кап, кап – и шёпот в одном наушнике, который всё ещё играл, потому что трек длится три минуты с чем-то, а мне казалось, что прошла целая жизнь.

Я сползла по стене. Села прямо на мокрый асфальт.

Губы горели.

Я коснулась их пальцами. Как будто проверяла, мои ли они ещё.

* * *

Дома я заперла дверь на оба замка. Потом на цепочку. Потом придвинула к ней стул, – глупо, по-детски, – и только тогда включила свет.

Я не плакала. Я сидела на кровати, в мокрой куртке, с конвертом и камерой на коленях, и пыталась понять, что я чувствую. Это было как пытаться разглядеть кадр на непроявленной плёнке. Ты знаешь, что там что-то есть. Ты просто не можешь это увидеть.

Страх – да.

Злость – да. На него. На себя. На то, что не побежала.

И то третье. Тёмное, горячее. Которое не уходило, сколько бы я ни сидела. Которое сидело где-то под рёбрами и пульсировало в такт сердцу.

Мне было стыдно. Так стыдно, что хотелось содрать с себя кожу и надеть новую.

Телефон завибрировал.

Я не хотела смотреть. Я посмотрела.

file_0347: *Ты не убежала.*

Я смотрела на эти три слова, пока экран не погас. Потом он снова загорелся.

file_0347: *Почему?*

Я не ответила. У меня не было ответа. У меня был только вкус кожаной перчатки на губах и запах, сухой, меловой, едва уловимый, который я так и не узнала.

Я легла, не раздеваясь, и закрыла глаза.

Перед тем как провалиться в сон, я вдруг поняла, на что был похож этот запах.

На гипс. На белую пыль, которая въедается в одежду в мастерских скульпторов.

Я вспомнила светлые волосы и белую рубашку у колонны в галерее. Белые манжеты.

Но маска ведь тоже была гипсовой.

Глава 4. Адам

Круг Хейла

Кабинет Виктора Хейла был на двадцать шестом этаже, и из него было видно озеро.

Не просто видно – оно занимало всё окно, от пола до потолка, серое, тяжёлое, ноябрьское, с белыми гребнями у волнорезов. Хейл сидел к нему спиной. Наверное, это и есть богатство: когда самое красивое, что есть в городе, висит у тебя за спиной, а ты даже не оборачиваешься.

– Садитесь, мистер Камерон.

Я сел. Кресло было низкое, кожаное, и в нём приходилось смотреть на Хейла снизу вверх. Я понял это через секунду и подумал, что он, скорее всего, подбирал его сам.

Аннабель поставила передо мной стакан воды и вышла. Дверь закрылась без звука.

На столе у Хейла почти ничего не было: ноутбук, тонкая папка, перьевая ручка и фотография в серебряной рамке, повёрнутая так, чтобы её видел гость. Женщина с жемчугом на шее. Две девочки-подростка в белых платьях на фоне яхты. Все четверо улыбались так одинаково, будто их снимали по отдельности, а потом склеили.

Я смотрел на эту фотографию и считал. Девочкам лет по шестнадцать-семнадцать. Значит, родились, когда мне было четыре. Когда мама ещё отправляла ему письма. Когда она ещё думала, что он ответит.

– Красивая семья, – сказал я.

– Спасибо. – Хейл даже не взглянул на снимок. – Итак. Я навёл о вас справки.

Внутри у меня всё замерло. Я заставил себя не двигаться. Не моргать. Держать стакан.

– Отличные оценки на вступительных, – продолжил он. – Сильное портфолио. Портреты особенно. Ваш куратор в архиве говорит, что вы аккуратны, молчаливы и не задаёте лишних вопросов. – Он улыбнулся. – Это редкое качество в вашем поколении.

Значит, ничего. Отличные оценки и аккуратность. Он навёл справки и не нашёл ничего. Конечно, не нашёл. Мама двадцать один год делала всё, чтобы её нельзя было найти: бросила живопись, переехала в Милуоки, работала по ночам. Она говорила, что так безопаснее. Я долго не понимал, для кого.

– Я хочу предложить вам кое-что, – сказал Хейл и пододвинул ко мне папку.

На обложке тиснением: *Hale Fellows. Программа наставничества.*

– Двенадцать студентов. Год работы под руководством лучших кураторов города. Стипендия, мастерская, выставка в конце года. – Он помолчал. – И, разумеется, доступ. К людям, которые решают, кто в этом городе будет художником, а кто – преподавателем рисования в средней школе.

Я открыл папку. Список участников. Первым стояло имя Селесты Уитмор. Третьим – Джулиана Прайса.

Двенадцатая строчка была пустой.

– Почему я?

Хейл откинулся в кресле.

– Потому что в пятницу вы сделали то, что не сделал никто из моих людей. Вы остановили неприятную сцену. Быстро, точно и без единого грубого слова. – Он сложил пальцы домиком. – Мисс Беннет, насколько я понимаю, не успокоилась. Мне сообщили, что она снова была у декана. Я хотел бы знать, что она планирует. Вы ведь учитесь на одном потоке?

Вот оно.

Он говорил спокойно, как о погоде. Как о расписании. Он не просил меня шпионить. Он просто сообщал, что двенадцатая строчка стоит ровно столько.

Я смотрел на него и вспоминал, как мама однажды, когда мне было десять, сказала, глядя в окно на снег: *Он не плохой человек, Адам. Он просто никогда не делает ничего, что ему невыгодно.*

Тогда я не понял. Сейчас понял.

– Учимся, – сказал я.

– Прекрасно. – Хейл встал, давая понять, что разговор окончен. – Аннабель пришлёт вам документы. Первое собрание программы в декабре. А до того, – он протянул мне руку, – держите меня в курсе.

Я пожал её второй раз в жизни.

Второй раз – снова ничего.

* * *

Я научился планировать ещё в девятом классе.

Тогда мама работала в три смены, и я понял, что если она будет волноваться, что я не написал, она не уснёт после ночной смены, а если не уснёт – сорвётся на работе. Поэтому я ставил ей сообщения на таймер. «Я дома». «Поел». «Ложусь спать». В десять, в одиннадцать, в полночь – неважно, где я был на самом деле. Она просыпалась, видела три сообщения и спала спокойно.

Это не ложь. Это забота с отложенной отправкой.

Мама до сих пор думает, что я каждый вечер в одиннадцать ложусь спать.

* * *

Лофт Джулиана Прайса занимал весь верхний этаж бывшей фабрики на Ривер-Норт. Кирпичные стены, стальные балки, окна в два человеческих роста, за которыми горел город. Пахло дорогой травой, ароматическими свечами и гипсом.

Гипсом здесь пахло всё.

Половина лофта была мастерской: длинные столы, мешки с алебастром, вёдра, шпатели, и повсюду – слепки. Руки, ступни, торсы, лица. Лица висели на кирпичной стене ровными рядами, как трофеи. Белые, гладкие, с закрытыми глазами. Я узнал среди них Селесту. Ещё пару девушек с её курса. Какого-то парня с кривым носом.

– Нравится? – Джулиан появился рядом с бокалом в руке. Вблизи он оказался ещё выше меня, лениво-красивый, с улыбкой человека, которому никогда не отказывали. – Я снимаю слепки со всех, кто мне интересен. Это как фотография, только честнее. Гипс не умеет льстить.

– А если человек не хочет?

Джулиан улыбнулся шире.

– Все хотят. Просто не все об этом знают.

Он хлопнул меня по плечу и растворился в толпе.

Вечеринка была в разгаре. Человек шестьдесят, может, больше. Музыка из колонок размером с холодильник – Chase Atlantic, «Swim», бас такой, что дрожали бокалы на столе. Свет приглушённый, тёплый, только у стены со слепками горели белые лампы, и от них лица казались живыми. Кто-то целовался на диване. Кто-то спорил о Баскии. Селеста стояла у окна в окружении трёх девушек и смеялась так, будто её смех кто-то снимал.

Я взял стакан с чем-то и встал у колонны. Мне не нужно было веселиться. Мне нужно было смотреть.

Я смотрел.

И поэтому увидел её первым.

* * *

Она вошла не через главный вход, а через чёрный ход – тот, что вёл из мастерской на служебную лестницу. Чёрное платье. Простое, до колен, с длинными рукавами. Волосы распущены. Никакой камеры на шее – впервые я видел её без камеры, и от этого она выглядела голой.

Беннет.

Здесь. В лофте, куда её никто бы не позвал. Среди людей, которые смеялись над её эссе.

Она шла вдоль стены со слепками, медленно, опустив голову, и я видел, как она смотрит на белые лица. На каждое. Будто искала среди них знакомое.

Что-то сжалось у меня под рёбрами. Злость. Страх. Я не понял, за кого.

Она не заметила меня. Она вообще никого не замечала – шла так, как ходят люди, которые очень стараются быть невидимыми и очень боятся, что у них получится. Дошла до конца стены. Оглянулась. И свернула в коридор, который вёл к спальням и кабинету Джулиана.

Я поставил стакан.

* * *

Тайлер Брукс был одним из тех, кого Селеста называла «тесным кругом». Сын владельца сети автосалонов, третий курс, графический дизайн, – хотя я ни разу не видел, чтобы он что-то рисовал. Огромный, мягкий, с лицом капризного ребёнка, которого никогда не наказывали.

Он заметил её раньше, чем я дошёл до коридора.

Когда я свернул за угол, он уже стоял, загородив проход. Одна рука упиралась в стену над её головой. Другая держала её за запястье.

– ...ты же та самая, – говорил он, и голос у него был тягучий, сладкий от выпитого. – С видео. «Это мои фотографии». – Он передразнил её, тонко, плаксиво. – Бедняжка. Хочет, чтобы на неё посмотрели. Ну так давай я посмотрю. Я хорошо смотрю.

Она пыталась выдернуть руку. Он не отпускал. Её лицо было белым, как слепки на стене, – но она не плакала. Губы сжаты в нитку. Глаза – прямо на него.

Не опускала.

– Отпусти, – сказала она. Тихо.

– А то что? – Тайлер наклонился ближе. Его вторая рука скользнула со стены вниз, к её плечу, к вырезу платья. – Позовёшь охрану? Здесь нет охраны, малыш. Здесь только мы.

Я не помню, как пересёк коридор.

Помню только, что в какой-то момент моя рука оказалась у него на затылке, а его лицо – в стене.

Звук был мокрый и глухой, как будто уронили мешок с цементом. Тайлер взвыл. Отшатнулся, развернулся, схватился за нос, и между пальцами у него сразу потекла кровь, тёмная и густая. Она капала на белую рубашку и на дорогие замшевые ботинки.

– Ты, блядь, кто...

Я ударил его снова. В челюсть. Он был тяжелее меня килограммов на двадцать, но он никогда в жизни не дрался по-настоящему – это было видно по тому, как он стоял, как махнул рукой, широко, медленно, как в кино. Я ушёл под удар и вбил кулак ему в солнечное сплетение. Воздух вышел из него со свистом. Он согнулся.

Я схватил его за волосы и поднял голову.

Его глаза – мокрые, круглые, испуганные. Глаза ребёнка, которого никогда не наказывали.

– Ещё раз, – сказал я, и мой голос звучал откуда-то издалека, спокойный, ровный, чужой, – ещё раз тронешь её, и я сломаю тебе пальцы. Все. По одному. Ты понял?

Он что-то булькнул. Кровь пузырилась у него в носу.

– Ты понял, я спрашиваю?

Он кивнул.

Я ударил его ещё раз. Не потому что было нужно. Потому что хотелось. Потому что в этот удар ушло всё – кабинет на двадцать шестом этаже, фотография в серебряной рамке, рукопожатие, после которого ничего, двенадцатая пустая строчка, мама у окна, «держите меня в курсе». Костяшки, которые ещё не зажили после бетонной опоры, лопнули снова. Я почувствовал, как по пальцам потекло тёплое – его кровь, моя, уже не разобрать.

Тайлер сполз по стене и сел на пол, закрывая лицо руками.

– Камерон!

Кто-то схватил меня за плечо. Я развернулся с поднятым кулаком – и остановился. Джулиан. Бледный, трезвый, с глазами, которые впервые за вечер не улыбались.

– Хватит. – Он держал меня крепко. – Хватит, я сказал.

За ним в коридоре уже толпились люди. Телефоны. Красные точки записи. Чей-то визг. Кто-то побежал за льдом. Где-то за всем этим всё ещё гудел бас – музыке было всё равно.

Я обернулся.

Она стояла у стены, прижав запястье к груди. Там, где Тайлер держал её, уже наливались красные полосы. Она смотрела на меня.

Не на Тайлера. На меня.

На мои руки. На кровь на костяшках. На то, как у меня ходит грудь.

В её глазах был не страх. Хуже. Узнавание. Как будто она смотрела на что-то, что давно подозревала, и вот оно наконец показало себя целиком.

– Ты псих, – сказала она очень тихо.

– Майя...

Оно вырвалось само. Я никогда раньше не произносил её имя вслух. Только про себя – ночами, над листами с её лицом.

Она развернулась и ушла. Не побежала – ушла, быстро, не сгибая спины, через чёрный ход, туда, откуда пришла. Я видел, как мелькнул подол чёрного платья. Хлопнула дверь.

Я хотел пойти за ней. Сделал шаг.

Джулиан не отпустил.

– Не надо, – сказал он. – Ты сейчас не в том состоянии, чтобы кого-то догонять.

* * *

Через десять минут Тайлера увезли друзья. В травмпункт, сказали они, но я слышал, как кто-то в машине говорил «папа решит». Конечно, решит. Такие папы всегда всё решают.

Вечеринка продолжалась. Кто-то вытер кровь со стены. Кто-то сменил трек. Через двадцать минут об этом уже говорили как об анекдоте.

Я сидел на подоконнике в мастерской, в окружении белых гипсовых лиц, и смотрел на свои руки. Джулиан принёс мне лёд, завёрнутый в полотенце, и бутылку виски. Сел рядом. Долго молчал.

– Он полез к ней первым, – сказал я наконец. Не знаю зачем. Оправдываться было не в моём стиле.

– Я знаю. – Джулиан глотнул из бутылки. – Тайлер – свинья. Все это знают. Просто раньше никто не бил его лицом о мою стену.

– Извини за стену.

– Стену я отмою.

Мы снова замолчали. За окном внизу проползла надземка, светящаяся гусеница, и исчезла за поворотом.

– Знаешь, – сказал Джулиан, – она приходила сюда весной. Беннет.

Я медленно повернул голову.

– Что?

– Ну, не сюда. К дому. – Он пожал плечами. – Стояла внизу, у входа, с камерой. Минут сорок. Я смотрел из окна. Думал, она кого-то ждёт. А она просто снимала. Наш подъезд. Окна. Людей, которые входили. – Он улыбнулся, но как-то криво. – Я тогда ещё подумал: какое странное лицо. Не красивое. Нет. Странное. Такое лицо хочется снять. В гипс.

Он поднял руку и провёл пальцем по ближайшему слепку на стене – по гладкой белой щеке, медленно, от скулы к подбородку.

Я смотрел на его палец. На белую пыль, которая осталась на коже.

– Не надо, – сказал я.

– Что «не надо»?

– Её не надо. В гипс.

Джулиан посмотрел на меня. Долго, с интересом, как Хейл смотрит на картину, которую ещё не решил, покупать ли.

– Она тебе нравится, – сказал он. Не вопрос.

– Она меня бесит.

– Это одно и то же, Камерон. – Он встал, отряхнул брюки. – Ты просто ещё не знаешь.

Он ушёл к гостям, оставив мне бутылку.

Я сидел среди белых лиц с закрытыми глазами. Лёд таял в полотенце, вода капала на пол. Руки горели. Где-то за стеной Селеста смеялась над чем-то, а музыка играла так громко, что дрожали стёкла.

Я достал телефон.

На экране было одно уведомление. Аннабель. *Документы по программе отправлены вам на почту. Мистер Хейл просил передать, что ждёт новостей.*

Я смотрел на это сообщение очень долго.

Потом поднял глаза на стену.

На ней, в третьем ряду, среди лиц с закрытыми глазами, висело одно, которое я сначала не заметил. Оно было без подписи. Без имени. Оно было пустым – просто гладкий гипс, слепленный по форме лица, но без черт. Ни носа, ни губ. Только две узкие прорези для глаз.

Заготовка, подумал я. Незаконченная работа.

Или маска.

Глава 5. Майя

Правила игры

Синяк проступил к утру.

Четыре полосы на внутренней стороне запястья, лиловые, с жёлтой каймой по краям, – ровно там, где лежали пальцы Тайлера Брукса. Я сидела на краю ванны в шесть утра, в той же чёрной ткани, в которой ушла из лофта, и смотрела на них, как смотрят на чужую руку.

Потом встала, взяла камеру с крючка и сфотографировала.

Не знаю зачем. Наверное, потому что если сфотографировать, это перестаёт быть твоим. Становится кадром. Объектом. Чем-то, что можно положить в коробку и закрыть крышку.

Щёлк.

Не помогло.

Я закрыла глаза – и снова увидела его руки. Не Тайлера. Камерона. Разбитые костяшки, чёрные от крови. Пальцы в волосах Тайлера. Голос – ровный, спокойный, совсем не злой. *Ещё раз тронешь её, и я сломаю тебе пальцы. Все. По одному.*

Её. Меня.

Он сказал это так, будто имел на меня право.

Меня должно было от этого тошнить. Меня и тошнило. Но под тошнотой было что-то ещё – маленькое, стыдное, тёплое, как монетка, зажатая в кулаке. Никто никогда за меня не дрался. Ни разу. Ни в школе, когда Эшли Кин рассказала всему классу, что мои родители «забыли» забрать меня с выпускного в пятом классе. Ни дома, где за меня некому было заступаться. Вообще нигде.

А вчера человек, который меня ненавидит, разбил лицо другому человеку за то, что тот меня тронул.

Ты псих, – сказала я ему.

Майя, – сказал он.

Он никогда не называл меня по имени. Только «Беннет», как ставят штамп. А вчера – «Майя», и голос у него сломался посередине, как карандаш.

Я открыла глаза и выключила в голове звук. Хватит. Он псих. Он стоит рядом с Хейлом. Он смеялся надо мной при всех. А кровь на его руках – это не забота, это то, что у него внутри, и это вылезло наружу, вот и всё.

Я положила камеру на полку и взяла телефон.

* * *

Задание пришло в четверг.

file_0347: *В пятницу Прайс устраивает вечеринку. Его кабинет – в конце коридора, вторая дверь слева. На столе под окном лежит синяя папка. Сфотографируй то, что внутри. Не трогай ничего больше. Уйди через чёрный ход.*

Майя: *Я туда не попаду. Меня никто не звал.*

file_0347: *Дверь чёрного хода на служебную лестницу не запирают. Её подпирают огнетушителем, чтобы курить.*

Он знал и это.

Майя: *Откуда ты знаешь, что там папка?*

file_0347: *Иди и посмотри.*

И я пошла.

Я не рассказала Нии. Я надела единственное своё платье, чёрное, которое купила на похороны бабушки и с тех пор ни разу не надевала. Я поднялась по служебной лестнице, пахнущей мочой и сигаретами, на восьмой этаж, где огнетушитель действительно подпирал дверь. И вошла в мир, где на стенах висели человеческие лица.

Я сначала не поняла, что это. Подумала – маски. Потом увидела Селесту. Белую, гладкую, с закрытыми глазами, как будто она спала или умерла. Рядом – ещё девушки, ещё парни. Ряд за рядом. Слепки.

Гипс.

Я шла вдоль этой стены, и у меня немели руки. Я смотрела на каждое лицо и искала одно. Не знаю, какое. С прямым носом и спокойными губами. С пустыми глазами.

Его там не было.

Или было – среди этих белых лиц оно бы потерялось, как одно дерево в лесу.

Кабинет Прайса оказался маленьким и неожиданно аккуратным. Стол у окна. Синяя папка – там, где он сказал. Внутри – фотографии.

Мои.

Не распечатки с выставки – пробные отпечатки, рабочие, на тонкой бумаге. Кадр номер семь. Женщина в бордовом пальто. И поверх неё – карандашные линии. Рамка кадрирования. Слева, ровно там, где был поручень, жирная черта и стрелка. *Убрать. Отвлекает.* А в углу инициалы – две буквы, мелко, косым почерком.

Д. П.

Я сфотографировала. Раз, другой, третий. Руки так тряслись, что пришлось прижать телефон к столу.

Это не Селеста резала мои кадры.

Это делал он.

Я вышла из кабинета, прижимая телефон к груди, – и наткнулась на Тайлера Брукса.

Дальше всё было как в дурном сне: его пальцы на моём запястье, кислый запах виски, рука, ползущая к вырезу платья. А потом – Камерон. Глухой удар. Кровь на кирпичной стене. И мой собственный голос, который сказал: «Ты псих».

* * *

Майя: *Это Прайс. Это он кадрировал. Там его инициалы.*

Ответ пришёл в субботу утром, пока я сидела на краю ванны с синяком на запястье.

file_0347: *Ты была неосторожна.*

Майя: *Ты видел?*

file_0347: *Я всегда вижу.*

Я посмотрела на синяк.

Майя: *Значит, ты был там. На вечеринке. Ты видел, как он меня держал, и ничего не сделал.*

Три точки. Долго. Очень долго. Я уже решила, что он не ответит.

file_0347: *Сделали за меня.*

Я перечитала это три раза.

Майя: *Это Прайс? Ты – Прайс?*

file_0347: *Ты задаёшь неправильные вопросы, Майя. Спроси лучше, почему тебе не страшно.*

Майя: *Мне страшно.*

file_0347: *Нет. Тебе страшно, что тебе не страшно. Это разные вещи.*

Я бросила телефон на кровать.

Он лежал там экраном вверх, и на экране горели эти слова, и я ненавидела их за то, что они были правдой.

* * *

Следующие задания были другими.

Не про Селесту. Не про Хейла. Про меня.

Надень то платье ещё раз. Сфотографируй себя в зеркале. Не для меня – для себя. Мне не присылай.

Я сделала. В ванной, при жёлтом свете, на плёнку. Не стала проявлять. Не смогла.

Спустись к озеру на рассвете. Без камеры. Просто постой и посмотри, как светает. Расскажи мне, какого цвета было небо.

Я стояла на пирсе у Монро-Харбор в шесть утра, в двух свитерах, и смотрела, как над озером из чёрного вырастает сначала синий, потом серый, потом что-то такое, чему я не нашла названия, – розовое, но холодное, как внутренность раковины.

Майя: *Как внутри ракушки. Только холодное.*

file_0347: *Значит, ты умеешь смотреть не только через объектив.*

Сними наушники в метро. На одну поездку. Послушай, о чём говорят люди.

Скажи что-нибудь вслух на семинаре. Своё. То, что думаешь на самом деле.

Я сказала. Рейес спросила, что делает фотографию честной, и я подняла руку, – впервые за три месяца, – и сказала, что честная фотография – это та, где фотографу тоже страшно. Рейес улыбнулась. Кто-то записал. Камерон за моей спиной молчал, и я чувствовала его взгляд, как ожог.

Это было похоже на игру. Каждое задание – шаг. Каждый шаг – чуть дальше от той девочки на лестнице. Я начала ждать его сообщений. Я начала проверять телефон в душе, на парах, ночью, – так, как раньше проверяла, не позвонила ли мама.

Я понимала, что это плохо. Я понимала, что чужой человек без лица учит меня жить, и что у меня нет ни одной причины ему доверять, и что всё это может кончиться очень страшно.

Я понимала.

И всё равно ждала.

* * *

В среду, в одиннадцать вечера, пришло:

file_0347: *Сегодня. Полночь. Арка под надземкой на Уэллс, между Лейк и Рэндольф. Без камеры. Без наушников.*

И отдельно, через минуту:

file_0347: *Если придёшь – ты знаешь, что будет. Если нет – я пойму. Правило третье всё ещё действует.*

Я сидела на кровати и смотрела на эти слова.

Ты знаешь, что будет.

Я не знала. Я только знала, как горели губы после его перчатки. Как я сидела на мокром асфальте в переулке и трогала их пальцами, как будто они чужие. Как неделю после этого я ловила себя на том, что прижимаю большой палец к нижней губе – в метро, на парах, перед сном, – и сразу отдёргиваю руку, как от огня.

Я встала. Сняла свитер. Постояла в одной футболке посреди комнаты, слушая, как воет батарея.

Потом надела чёрное платье.

* * *

Под надземкой на Уэллс ночью темно и гулко, как в соборе, который строили для другого бога. Стальные балки над головой, заклёпки размером с кулак, ржавые потёки на бетонных опорах. Каждые несколько минут сверху проходит поезд, – и тогда всё вокруг дрожит, и сыплется пыль, и свет из вагонов на секунду пробивается сквозь шпалы полосами, как через жалюзи.

Арка была между двумя опорами – глубокая ниша в кирпичной стене старого склада, заложенный когда-то вход. Фонарь на углу освещал тротуар, но до арки не доставал.

Я остановилась в трёх шагах от темноты.

Сердце колотилось так, что я слышала его в горле. Ладони были мокрые. Без камеры руки не знали, куда себя деть, и я сжала их в кулаки, – синяк на запястье отозвался тупой болью.

Здесь никого не было. Ни одной машины, ни одного прохожего. Если я закричу, подумала я вдруг очень ясно, меня никто не услышит. Особенно когда над головой идёт поезд.

Я не знаю, кто он. Я не знаю его лица, его голоса, его имени. Я не знаю, что у него в карманах. Я пришла ночью под мост к человеку в маске, и ни одна живая душа не знает, где я.

Мне надо было уйти. Я это понимала всем телом – от сведённого живота до холодных пальцев.

Я не ушла.

Потом из темноты в арке шагнул он.

Белая маска. Капюшон. Чёрные перчатки. Он остановился на границе света, – ровно там, где кончался свет фонаря, – и я видела только белое пятно лица и пустые прорези глаз.

– Это ты, Прайс? – спросила я. Голос сел.

Он не ответил.

Он протянул руку ладонью вверх. И ждал.

Я смотрела на эту руку. На чёрную кожу перчатки. Я могла развернуться. Прямо сейчас. Уйти к фонарю, к такси, к розовой ветке, к моей комнате с воющей батареей. Он не пошёл бы за мной. Я это знала. Не знаю откуда, но знала.

Я положила свою руку в его.

* * *

Он потянул меня в темноту – медленно, не дёргая. Арка оказалась глубже, чем казалось снаружи. Свет фонаря остался где-то позади, и через два шага я уже почти ничего не видела. Только белое пятно маски перед собой – и чернота вокруг.

Кирпич за спиной был холодный и шершавый. Он стоял так близко, что я чувствовала, как поднимается и опускается его грудь. Сухой меловой запах. Мокрая ткань. И его дыхание – я слышала его за маской, неровное, сбитое, как будто он бежал сюда.

Он поднял руку и положил её мне на горло.

Я перестала дышать.

Ладонь в перчатке легла плотно – не сжимая, но целиком, от подбородка до ключиц. Тяжёлая. Тёплая. Я чувствовала, как мой пульс бьётся в его пальцы – быстро, рвано, как пойманная птица. Он мог сжать. Одно движение. Здесь, в темноте, где никто не услышит.

Он не сжал.

Он просто держал. Как будто слушал. Как будто хотел, чтобы я поняла: он может. И не станет.

И от этого – от того, что он может и не станет, – у меня подогнулись колени, и внизу живота разлилось что-то горячее и тяжёлое, такое сильное, что я испугалась его больше, чем руки на своём горле.

Пальцы двинулись вниз. Медленно разжались. Скользнули по ключице. По краю выреза. Едва касаясь, – так, что каждый миллиметр кожи вспыхивал отдельно, как будто его включали по одному.

Я задышала часто и мелко. Хотела сказать что-то – не смогла.

Где-то в глубине арки, за его спиной, что-то звякнуло. Металл о бетон.

Я вздрогнула всем телом. Он – нет. Он даже не обернулся. Только его ладонь легла мне на талию, тяжёлая, и прижала меня к стене сильнее.

– Там кто-то есть, – прошептала я.

Тишина. Потом далёкий, едва слышный звук шагов – по складскому двору, там, где арка выходила с другой стороны. Шаг. Ещё шаг. Остановились.

Я не дышала. Он не двигался. Мы стояли в темноте, прижатые друг к другу, и слушали. Я чувствовала его сердце через куртку – оно билось ровно. Слишком ровно. Как будто для него это было обычно. Как будто он знал, кто там, или ему было всё равно.

Шаги стихли. Где-то хлопнула дверь.

– Это сторож, – прошептал он мне в волосы. Шёпот был хриплый, глухой, без голоса. Я не узнала бы его, даже если бы знала. – Он не придёт сюда.

– Откуда ты знаешь?

Он не ответил. Маска наклонилась к моему лицу, гладкий гипс почти коснулся щеки.

– Скажи «нет», – прошептал он.

Я молчала.

– Скажи «нет», Майя, – повторил он, – и я уйду.

Над головой загрохотал поезд. Стальные балки задрожали, сверху посыпалась пыль, и полосы света из вагонов поплыли по стене, по его белой маске, по моим рукам. На секунду в этом свете я увидела прорези глаз совсем близко – и в них была только темнота. Ни блеска. Ни цвета. Как будто там никого не было.

– Нет, – сказала я.

Он замер. Отступил на полшага. Его руки исчезли с моей талии. Холод сразу хлынул на то место, где они только что были.

И я поняла, что сказала, – и что совсем не это имела в виду.

Я схватила его за куртку. Обеими руками. Дёрнула к себе.

– Нет, – сказала я снова, – не уходи.

Он выдохнул так, будто его ударили.

А потом его рука скользнула вниз, по бедру, к подолу платья – и под него.

Перчатка. Холодная кожа на голой коже бедра. Я ахнула и вжалась спиной в кирпич. Его пальцы поднимались медленно, очень медленно, по внутренней стороне бедра, и я чувствовала каждый сантиметр, и у меня подогнулись колени, и он подхватил меня второй рукой под спину, прижал к стене своим телом, – и держал.

Он остановился у самого края белья.

Не убрал руку. Не двинулся дальше. Просто замер там, где кончалось бедро и начиналась тонкая полоска кружева, – и я почувствовала, как его большой палец медленно провёл по этой границе. Вдоль. Туда и обратно. Едва касаясь ткани. Так, будто он запоминал, где проходит черта, которую я ему ещё не разрешила переступить.

Кожа под перчаткой горела. Между бёдрами стало горячо и влажно, и я знала, что он это чувствует, – он был так близко, что не мог не почувствовать. От этого стало ещё стыднее. И ещё горячее.

Я слышала, как он дышит за маской: тяжело, через зубы, будто держит себя изо всех сил.

Он ждал.

Не просил. Не торопил. Стоял, прижав меня к холодному кирпичу, с ладонью на внутренней стороне моего бедра, и ждал, что я скажу. Как будто от одного моего слова зависело всё.

Наверное, так и было.

Я вцепилась ему в плечи.

Его вторая рука, та, что держала меня за спину, медленно скользнула вниз. По пояснице. По изгибу бедра. Ладонь легла мне под колено – тёплая, тяжёлая, осторожная – и он поднял мою ногу. Не рывком. Бережно, как поднимают что-то хрупкое, что боятся уронить. Отвёл её в сторону и положил себе на бедро, прижав ладонью, чтобы не соскользнула.

Я оказалась раскрыта перед ним. Прижата к стене спиной, обвив его ногой, и между нами не осталось ни сантиметра воздуха. Подол платья сбился. Холод с улицы лизнул голую кожу, и тут же его тепло закрыло её снова.

Он не сделал больше ничего. Просто держал меня так – открытую, дрожащую – и большой палец его руки всё так же медленно водил по краю кружева.

Где-то на краю сознания билась одна мысль, тонкая и ясная, как звон стекла: *я даже не знаю, кто он*. Я ни разу не видела его лица. Я позволяю это человеку, мимо которого завтра могу пройти в коридоре и не узнать.

– Пожалуйста, – прошептала я. Сама не знаю, о чём.

Он знал.

Его пальцы скользнули под тонкую ткань, и я перестала думать.

Он трогал меня так, как трогают что-то, что очень долго разглядывали издалека. Медленно. Внимательно. Сначала едва-едва, кончиками пальцев, – проводя, исследуя, находя. Я вздрагивала от каждого движения. Кожа перчатки скользила по мне, по самому чувствительному, и это было так странно, так непохоже ни на что, что я застонала вслух, – и сама испугалась собственного голоса, который эхом ушёл под арку, туда, где минуту назад звучали чужие шаги.

Если сторож вернётся, он услышит. Он увидит меня – вот так.

От этой мысли меня обдало жаром с головы до ног.

Он прижался маской к моему виску. Гипс был холодный. Его дыхание – горячее.

Пальцы нашли ритм. Медленный, ровный, давящий ровно туда, куда нужно, – как будто он знал. Как будто он изучал меня так же, как я изучала людей в вагонах: долго, терпеливо, ловя момент, когда притворство кончается.

Моё притворство кончилось.

Я цеплялась за его куртку, за его плечи, за что угодно. Бёдра сами подались навстречу его руке. Внутри всё сжималось, тянулось, поднималось, – тёмное, горячее, то самое, стыдное, которое я неделю носила под рёбрами. Оно больше не пряталось. Оно росло.

Его палец скользнул внутрь – один, медленно, – и я выгнулась так, что ударилась затылком о кирпич и даже не почувствовала.

– Смотри на меня, – прошептал он.

Я открыла глаза. Белая маска. Пустые прорези. Темнота в них.

– Смотри, – повторил он, и его пальцы задвигались быстрее.

Я смотрела. В пустые глаза маски, за которой был кто-то, кого я не знала. Кто-то, кто знал меня лучше всех. Кто-то, кто мог оказаться кем угодно – Прайсом с его стеной гипсовых лиц, или человеком, которого я каждый день вижу в коридоре и не замечаю, или кем-то, кого я вообще никогда не видела.

Мне было страшно. Мне было так страшно, что стучали зубы.

И я не хотела, чтобы он останавливался.

Над головой снова пошёл поезд. Грохот, дрожь, полосы света. И под этот грохот я сорвалась – вся, сразу, без предупреждения, как падают с края. Волна прошла от его пальцев вверх, по животу, по позвоночнику, до кончиков пальцев на руках, – и ещё одна, и ещё. Я кричала, и поезд заглушал мой крик, и я цеплялась за его плечи так, что, наверное, оставила синяки даже сквозь куртку.

Он держал меня, пока меня трясло. Не отпускал. Пальцы замедлились, стали мягче, – дотрагивались осторожно, как будто успокаивали.

Поезд ушёл. Стало тихо.

Я стояла, прижавшись к нему, и дышала ему в плечо. Нога всё ещё лежала у него на бедре, и он медленно, бережно опустил её на землю, придерживая, пока я не встала сама. Ноги не держали. Внутри всё ещё пульсировало, медленно затухая, как эхо под аркой.

Он убрал руку. Аккуратно поправил подол моего платья. Одёрнул, разгладил ладонью, – так бережно, что у меня защипало в глазах.

Потом взял мою руку и вложил в неё что-то. Сложенный лист. Сжал мои пальцы на нём.

И отступил.

– Подожди, – сказала я. Голос был чужой, хриплый. – Кто ты?

Он молча смотрел на меня из темноты. Белое лицо без черт.

Потом развернулся и ушёл вглубь арки, туда, откуда слышались шаги сторожа. Я ждала крика, оклика, хоть чего-нибудь. Ничего не было. Только тишина и капли, падающие с балок.

Как будто там, в темноте, его кто-то ждал.

Я осталась одна. Прислонилась к стене и сползла вниз, на корточки, и долго сидела так, обхватив колени, с листом бумаги в кулаке.

* * *

Я развернула его только дома, при свете.

Ксерокопия. Внутренняя служебная записка фонда Хейла, на бланке, с логотипом. Короткая, в три строчки.

Заявку 0347 (Беннет) – в отдельное рассмотрение. Файлы передать по запросу. Не регистрировать в общем потоке.

И внизу подпись. Одна буква, размашистая.

А.

Я долго смотрела на неё. А. Кто это – А? Ассистент? Администратор? Кто-то, у кого есть право решать, какие заявки исчезают из «общего потока»?

Значит, это была не одна Селеста. И не один Прайс. Кто-то в фонде заранее решил, что мои фотографии кому-то пригодятся.

Я положила записку в коробку из-под чая. Рядом с медиатором. Рядом с распечаткой журнала доступа.

Моя коробка доказательств. Маленькая, жестяная, с выцветшими цветами на крышке.

* * *

Утром мне было так стыдно, что я не могла смотреть на себя в зеркало.

Я чистила зубы с закрытыми глазами. Одевалась в темноте. В метро сидела, уткнувшись в колени, и мне казалось, что все в вагоне знают. Что это написано у меня на лице. Что любой, кто посмотрит, увидит арку, белую маску и меня, прижатую к кирпичу, с задранным платьем.

Я позволила незнакомцу. В темноте. Под мостом.

Я сама схватила его за куртку.

Хуже всего было не это. Хуже всего было то, что я помнила каждую секунду. И когда вспоминала – внутри снова что-то сжималось, сладко и тяжело.

В институте, в коридоре третьего этажа, я столкнулась с Джулианом Прайсом.

Он шёл навстречу с огромным мешком алебастра на плече, в рабочей рубашке, белой от гипса. Увидел меня. Замедлил шаг. Улыбнулся – медленно, лениво, как будто вспомнил что-то приятное.

– Беннет, – сказал он. – Слышал, у тебя была бурная пятница.

Я не смогла ответить. Просто стояла и смотрела на его руки. Большие, сильные. С белой пылью в складках кожи.

Он прошёл мимо. Обернулся через плечо.

– Если захочешь, приходи ко мне в мастерскую. Я бы сделал с тебя слепок. У тебя интересное лицо.

Я стояла в коридоре, пока он не скрылся за углом. Потом пошла в туалет, закрылась в кабинке и простояла там десять минут, прижав ладони к лицу.

На выходе из туалета я увидела Камерона.

Он стоял у окна в конце коридора, спиной ко мне, и разговаривал по телефону. Правая рука у него была замотана бинтом, – костяшки, Тайлер, лофт. Он говорил тихо, я не слышала слов. Только тон: ровный, вежливый, почти угодливый.

– Да, сэр, – сказал он. – Конечно. Я буду держать вас в курсе.

Он не обернулся. Не увидел меня.

Сэр. Он говорил кому-то «сэр» таким голосом, будто очень хотел понравиться.

Я поняла, кому, раньше, чем успела додумать.

Я развернулась и пошла в другую сторону.

* * *

Вечером я сидела на кровати, обхватив колени, и смотрела на телефон.

Он молчал.

Я ждала час. Два. Батарея выла и затихала. Миссис Окафор внизу выключила сушильные машины, и стало так тихо, что я слышала собственное дыхание.

Я открыла переписку. Напечатала: *Когда снова?*

Стёрла.

Напечатала: *Кто такой А.?*

Стёрла.

Напечатала: *Я ненавижу тебя.*

Стёрла.

Я положила телефон на подушку экраном вниз и легла рядом, глядя в потолок, на трещину, похожую на реку.

Телефон завибрировал. Я схватила его так быстро, что чуть не уронила.

file_0347: *Ты дрожала. Но не от холода.*

Я закрыла глаза. Внизу живота снова стало тяжело и горячо.

file_0347: *В следующий раз будет больше. Но сначала ты сделаешь кое-что для меня.*

Майя: *Что?*

file_0347: *Тебе не понравится.*

Глава 6. Адам

Две версии

– Она успокоилась, – сказал я.

Хейл смотрел на меня поверх очков. Он читал что-то в планшете, когда Аннабель меня впустила, и не отложил его, только поднял глаза.

– Успокоилась, – повторил он.

– Больше не ходит к декану. Не пишет в соцсетях. Сидит на парах, снимает своё. После той вечеринки, кажется, испугалась.

Я врал ровно и спокойно. Я хорошо вру, когда говорю с ним. Наверное, потому что во мне двадцать один год лежала правда, которую я ему не сказал, и рядом с ней любая ложь кажется мелкой.

Хейл кивнул и вернулся к планшету.

– Хорошо. Продолжайте наблюдать. – Пауза. – И, мистер Камерон. Эта история с Бруксом. Его отец звонил мне. Я сказал, что это недоразумение и что вы извинитесь.

– Я не буду извиняться.

Он снова поднял глаза. На этот раз – с интересом.

– Не будете?

– Он лапал девушку в коридоре. Я бы сделал это ещё раз.

Секунду он молчал. Потом улыбнулся – по-настоящему, впервые за всё время. Не лаком. Чем-то, что было под ним.

– Знаете, – сказал он, – в вашем возрасте я был таким же. – Он снял очки, потёр переносицу. – Ладно. Я разберусь с Бруксом. Идите.

Я вышел из кабинета на двадцать шестом этаже и в лифте прислонился лбом к холодному металлу.

В вашем возрасте я был таким же.

Я хотел его ненавидеть. Это было просто. Двадцать один год это было просто.

А он улыбнулся – и мне на секунду стало тепло. Как собаке, которую впервые погладили.

Я ударил кулаком в стену лифта. Перебинтованная рука взорвалась болью.

Хорошо. Так лучше.

* * *

Она изменилась.

Я видел это каждый день – на семинаре у Рейес, в коридорах, в столовой, где она сидела с Нией у окна. Я не знаю, замечал ли это кто-то ещё. Наверное, нет. Люди вообще мало замечают.

Она стала держать голову выше. Совсем чуть-чуть – на пару сантиметров, – но я рисую людей, я вижу, как меняется посадка шеи. Она перестала прятать руки в рукава. В среду она подняла руку на семинаре – впервые за три месяца – и сказала, что честная фотография та, где фотографу тоже страшно. Голос у неё дрожал, но она договорила. Рейес улыбнулась. Половина аудитории записала.

Я сидел за её спиной и не мог отвести взгляд от её затылка. От завитка волос над воротником. От того, как она сжала ручку, когда закончила говорить, – так, что побелели пальцы.

И я видел, как она смотрит в телефон.

Это было хуже всего.

Она доставала его под столом – осторожно, украдкой, как будто прятала что-то запретное. Читала. И у неё менялось лицо. Губы приоткрывались. На щеках проступал румянец, медленный, снизу вверх, как вода поднимается по бумаге. Один раз она закусила нижнюю губу и прижала к ней большой палец – и тут же отдёрнула руку, как будто обожглась.

Она улыбнулась экрану. Мне она так не улыбалась никогда.

Я смотрел, как она улыбается кому-то другому, и внутри у меня что-то медленно, тяжело проворачивалось. Как ключ в замке, который не подходит.

Я сломал карандаш. Не заметил как. Просто посмотрел вниз, а в руке две половинки.

* * *

Она подозревала Прайса. Это было видно.

Она замирала, когда он проходил мимо. Провожала его глазами – не так, как девушки провожают красивых парней, а так, как провожают собаку, про которую не знаешь, укусит или нет. Один раз я видел, как она остановилась у двери его мастерской и долго смотрела сквозь стекло на ряды гипсовых заготовок.

Она подозревала и Огдена. Я понял это в четверг, когда профессор Огден остановил её в холле и спросил, как она. Он был добрый, рыхлый, в свитере с оленями, и он положил ей руку на плечо, отечески. Она застыла. Посмотрела на его руку – потом ему в лицо – долгим, изучающим взглядом, каким смотрит фотограф перед тем, как нажать на спуск. Огден смутился и убрал руку.

Она искала его. Того, кто ей пишет.

Она смотрела на каждого мужчину в институте так, будто пыталась представить его лицо под белой маской.

На каждого, кроме меня.

Меня она обходила взглядом нарочно – так стараются не смотреть на свежий ожог, чтобы он снова не начал болеть. Я для неё был другой категорией: человек Хейла, псих с разбитыми руками, тот, кто смеялся. Она не подозревала меня ни в чём, кроме того, в чём я и так был виноват.

Иногда мне хотелось подойти и сказать: *посмотри на меня*.

Я не подходил.

* * *

В пятницу вечером она пришла ко мне сама.

Я работал в мастерской на четвёртом этаже – большой, общей, с высокими окнами, где по вечерам почти никого не было. Писал маслом, большой холст, метр на полтора. Я никому его не показывал. Повернул мольберт к стене, чтобы с порога не было видно.

Дверь открылась. Я узнал её шаги раньше, чем обернулся.

Она стояла в дверях. Свитер, джинсы, камера на шее. Лицо – бледное, решительное, с таким выражением, будто она пришла сюда не по своей воле и очень на это злится.

– Нам надо поговорить, – сказала она.

Я отложил кисть. Медленно вытер руки тряпкой.

– Беннет. Какая честь.

– Не надо. – Она вошла и закрыла за собой дверь. Это было неожиданно. Я думал, она останется на пороге. – Я хочу знать, что ты рассказываешь Хейлу.

Внутри у меня всё замерло. Снаружи – нет. Снаружи я поднял бровь.

– С чего ты взяла, что я ему что-то рассказываю?

– Я слышала, как ты говорил по телефону. «Да, сэр. Я буду держать вас в курсе». – Она передразнила мой голос, плоско и угодливо, и это было так похоже, что меня передёрнуло. – Ты следишь за мной для него. Да?

Я долго смотрел на неё.

Она стояла посреди мастерской, маленькая, со сжатыми кулаками, и смотрела на меня снизу вверх. Губы сжаты. Подбородок вздёрнут. В глазах – страх, и злость, и что-то ещё, глубже, что я не мог прочитать.

Она пришла сюда одна. Вечером. В пустой корпус. К человеку, которого назвала психом. Чтобы спросить его в лицо.

Я не знал, что она такая смелая. Или такая глупая. Или и то и другое.

– Да, – сказал я.

Она моргнула. Не ожидала.

– Да, – повторил я, – Хейл просил меня присматривать за тобой. Он хочет знать, не готовишь ли ты что-то против Селесты. И я ему отвечаю.

– Что ты ему отвечаешь?

Я подошёл ближе. Медленно. Она не отступила. Я остановился в шаге от неё – так близко, что видел, как бьётся жилка у неё на шее.

– Что ты успокоилась, – сказал я тихо. – Что ты испугалась. Что ты больше никому не опасна.

Она смотрела на меня, не понимая.

– Зачем?

– А ты как думаешь?

– Я думаю, – сказала она, и голос у неё дрогнул, – что ты врёшь. Что ты врёшь всем. Ему. Мне. Себе. Я думаю, что ты стоишь у колонны и смотришь, кому выгоднее улыбнуться, и улыбаешься. – Она сглотнула. – Я думаю, что ты не знаешь, кто ты.

Это было так точно, что я на секунду перестал дышать.

Она увидела. Я понял по её лицу – она увидела, что попала, – и в её глазах на секунду что-то мелькнуло. Не торжество. Что-то похожее на жалость.

Этого я выдержать не мог.

Я шагнул вперёд, и она отступила – наконец отступила – и упёрлась спиной в стол с банками растворителя. Стекло звякнуло. Я поставил руки по обе стороны от неё на край стола. Не касаясь. Только не давая уйти.

– Осторожнее, Беннет, – сказал я ей в лицо. – Ты не знаешь, с кем говоришь.

– Знаю. – Она не опустила глаза. Никогда не опускала. – С человеком Хейла.

Мы стояли так, наверное, полминуты. Очень близко. Я чувствовал запах её волос – дешёвый яблочный шампунь и химия проявителя. Видел её губы. Нижнюю, чуть припухшую, как будто она её кусала.

Я хотел её поцеловать. Так сильно, что сводило челюсть.

Она тоже это поняла. Я видел, как расширились её зрачки. Как она перестала дышать.

Я убрал руки и отступил.

– Иди домой, Беннет, – сказал я и отвернулся к окну.

За спиной было тихо. Потом шаги. Потом она остановилась.

– Что на том холсте? – спросила она.

Я не обернулся.

– Ничего. Незаконченная работа.

Пауза. Я ждал, что она подойдёт и повернёт мольберт. Мне кажется, я этого хотел.

Она не подошла.

Хлопнула дверь.

Я стоял у окна и смотрел, как она выходит из корпуса внизу, на Мичиган-авеню. Маленькая фигура под фонарём. Она остановилась, достала телефон. Свет экрана лёг ей на лицо.

И она улыбнулась.

Я подошёл к мольберту и развернул его.

С холста на меня смотрела она. Не с выставки, не из галереи, не из лофта Прайса. Она – какой я её никогда не видел и видел каждую ночь. Лицо, поднятое к свету. Закрытые глаза. Приоткрытые губы. Красный свет, ложащийся на скулу.

Я писал его три недели. Я не знал, откуда я взял этот красный.

Нет. Знал.

Я выключил свет в мастерской и долго сидел в темноте.

* * *

Майя

Фотолаборатория на пятом этаже работает до полуночи. После десяти там почти никого нет – только я и гудение вентиляции.

Я люблю это время. Красный свет, в котором всё становится одного цвета – руки, стены, лица. Тишина. Запах проявителя, кислый и чуть сладкий, как перезревшие яблоки. Тут нельзя торопиться. Тут нельзя ничего исправить. Кадр либо проявится, либо нет.

Я пришла сюда, чтобы проявить ту плёнку. Ту, на которой чёрное платье и зеркало в ванной. Я носила её в кармане две недели и не решалась. А после разговора с Камероном – после того как он стоял надо мной, упираясь руками в стол, и я видела, как он смотрит на мои губы, – мне вдруг стало всё равно. Захотелось увидеть себя. Наконец.

Я включила на телефоне Massive Attack, «Teardrop», тихо, – и бас поплыл по лаборатории, медленный, как пульс в красной темноте.

Залила проявитель. Опустила первый лист в кювету. Стала ждать.

Бумага в проявителе сначала белая. Пустая. Ты смотришь на неё и думаешь, что ничего не будет. А потом из белого начинает выступать серое – сначала тени, потом контуры, потом лицо. Медленно. Как будто кто-то поднимается к тебе из-под воды.

Я смотрела, как из-под воды поднимаюсь я.

Тёмные волосы. Плечо в чёрной ткани. Глаза – в зеркале, прямо в объектив. Испуганные. Но не опущенные.

И тут за спиной щёлкнул замок.

* * *

Дверь в лабораторию – вращающаяся, круглая, чёрная, как барабан, чтобы свет не попадал внутрь. Её нельзя открыть быстро. Её нельзя открыть тихо. Я слышала, как она медленно провернулась на оси. Скрип. Шорох.

Потом – щелчок задвижки изнутри.

Я застыла с пинцетом в руке.

– Кто здесь?

Тишина. Только «Teardrop», тихо, из телефона, и гул вентиляции.

Я обернулась.

В углу у двери, там, куда красный свет почти не доставал, стояла фигура. Я видела только белое пятно на уровне лица.

Маска.

Здесь. В институте. В закрытой лаборатории на пятом этаже, где кроме меня никого нет. Где стены звукоизолированы, чтобы не мешать соседним аудиториям. Где дверь только что заперли изнутри.

Я не могла дышать.

Он двинулся ко мне – медленно, по краю красного света, и с каждым шагом свет поднимался по нему: ботинки, джинсы, чёрная куртка, перчатки. Маска в красном свете была не белой. Розовой, как кожа. Как живое лицо, которое кто-то снял с человека и надел на себя.

– Как ты сюда попал? – Голос у меня сорвался на шёпот. – Сюда нужен пропуск.

Он не ответил.

Он остановился передо мной. Так близко, что красный свет лёг на нас обоих одинаково, и я больше не видела, где кончаюсь я и начинается он.

Он протянул руку и выключил музыку на моём телефоне.

Стало совсем тихо. Только вентиляция. Только моё дыхание – частое, рваное, слишком громкое.

– Тебе страшно, – прошептал он. Тот же хриплый шёпот без голоса.

– Да.

– Хочешь, чтобы я ушёл?

Я смотрела в пустые прорези маски. В красном свете они были чёрными, бездонными, как два колодца.

Здесь нет поезда, чтобы заглушить крик. Здесь нет сторожа. Здесь никто не знает, что я здесь.

– Нет, – сказала я.

Он взял меня за плечи и медленно развернул спиной к себе. Лицом к столу. Лицом к кювете с проявителем, где в красной жидкости плавала я – моё лицо, моё плечо, мои испуганные глаза в зеркале.

Он прижался ко мне сзади. Всем телом. Я почувствовала его грудь у себя на спине, его бёдра, его тепло сквозь одежду. И ещё – твёрдое, тяжёлое, прижатое к моей пояснице. Он хотел меня. Не прятал этого.

У меня закружилась голова.

Его рука в перчатке легла мне на живот. Медленно поползла вверх, под свитер. Кожа перчатки на голой коже. Я втянула воздух сквозь зубы. Пальцы поднялись по рёбрам, одно за другим, как будто считали. Добрались до края белья. Скользнули под него.

Он накрыл мою грудь ладонью – целиком, тяжело, – и я выгнулась, прижимаясь к нему спиной ещё сильнее. Большой палец медленно провёл по соску. Ещё раз. Кругами, неторопливо, как будто у нас была вся ночь, и каждый круг отдавался внизу живота горячей, тянущей пульсацией.

– Смотри, – прошептал он мне в ухо.

Я смотрела. На кювету. На себя. Моё лицо в проявителе становилось всё темнее, всё чётче. Тени под скулами. Губы. Глаза.

Его вторая рука расстегнула пуговицу на моих джинсах. Медленно. Звук был оглушительный в тишине. Молния. Ещё медленнее, зубец за зубцом. Его пальцы скользнули внутрь, под ткань, вниз, – и нашли меня мокрой. Уже. С того момента, как щёлкнул замок.

Он выдохнул мне в шею. Это был почти стон.

Я схватилась за край стола обеими руками. Кювета дрогнула. Проявитель плеснул через край, тёмные капли упали на стол, на мои пальцы.

Его пальцы двигались медленно. Глубоко. Точно. Одна рука на груди, другая между ног, его тело за моей спиной, – я была как будто зажата между двумя ладонями, и деться было некуда, и я не хотела никуда деваться.

В коридоре за дверью раздались шаги.

Тяжёлые, мужские. Кто-то шёл по пятому этажу. Остановился у нашей двери. Дёрнул ручку внешнего барабана.

Заперто.

Я замерла. Перестала дышать. Его рука соскользнула с моей груди и закрыла мне рот. Плотно. Перчатка пахла гипсом и чем-то горьким.

Но вторая рука – не остановилась.

Наоборот. Пальцы задвигались быстрее, глубже, ровно в том ритме, от которого у меня подкашивались колени, – и я зажмурилась и застонала ему в ладонь, беззвучно, отчаянно, и он прижал ладонь сильнее, и наклонился к моему уху и прошептал:

– Тише. Он услышит.

За дверью кто-то постучал. Два раза.

– Эй? Лаборатория закрывается в двенадцать. Есть кто?

Охранник. Ночной охранник, мистер Деламар, который всегда приносит мне кофе из автомата и называет меня «юная леди».

Если он откроет дверь. Если у него есть ключ. Если он увидит меня – вот так, с расстёгнутыми джинсами, с чужой рукой между ног, с чужой ладонью на губах, перед кюветой, в которой плавает моё лицо.

От этого страха что-то во мне оборвалось.

Я кончила так сильно, что потемнело в глазах. Прямо там, у стола, в красном свете, с его ладонью на губах и охранником за дверью. Меня скрутило, как будто кто-то сжал всё внутри в кулак и рванул. Ноги подкосились. Он удержал меня – прижал к себе, к столу, не давая упасть, – и не убрал пальцы, и меня трясло, и трясло, и трясло.

За дверью охранник постоял ещё секунду. Пробормотал что-то. Шаги удалились по коридору.

Тишина.

Он медленно отнял ладонь от моих губ. Я хватала ртом воздух, как вынырнувшая. Слёзы текли по лицу – я даже не заметила, когда начала плакать.

Он развернул меня к себе. Осторожно. Взял моё лицо в ладони – обе руки, обе перчатки – и большими пальцами стёр слёзы со щёк. Медленно. Сначала одну, потом другую.

Маска смотрела на меня сверху. Розовая в красном свете. Неподвижная.

Я подняла руку. Медленно, давая ему время меня остановить. Потянулась к краю маски – там, где гипс касался его виска.

Он перехватил моё запястье. Мягко, но твёрдо.

Покачал головой.

– Не сегодня, – прошептал он.

– Когда?

Он не ответил. Отпустил мою руку. Отступил к двери.

Я стояла у стола, с расстёгнутыми джинсами, мокрым лицом, и смотрела, как он отпирает задвижку. Как поворачивается чёрный барабан двери. Как он исчезает в нём – и барабан проворачивается обратно, пустой.

Я опустила глаза на кювету.

Проявитель сделал своё дело. Фотография стала почти чёрной – я передержала её, забыла вынуть вовремя. Лицо уходило в темноту. Только глаза ещё были видны. Мои глаза в зеркале. Прямо в объектив.

Я вытащила снимок пинцетом и опустила в фиксаж. Пусть будет. Пусть останется такой – почти чёрной. Это честно.

На краю стола, там, где только что лежала его рука, остался след.

Белый. Меловой. Тонкая полоска пыли.

Гипс.

Глава 7. Майя

Ловушка

Если долго смотреть на одну и ту же фотографию, в какой-то момент перестаёшь видеть лицо и начинаешь видеть детали. Пуговицу. Тень от ресниц. Царапину на стекле. То, что было в кадре с самого начала, но пряталось за главным.

Я смотрела на почти чёрный снимок из лаборатории три дня.

Он стоял на подоконнике, прислонённый к стеклу, и каждое утро я смотрела в свои передержанные глаза и пыталась вспомнить. Не то, что он делал. Это я помнила слишком хорошо, до дрожи в коленях. Другое. Мелочи. То, что пряталось за главным.

Гипс на краю стола.

Перчатка у меня на губах. Она пахла гипсом – и ещё чем-то. Горьким. Острым. Я тогда не узнала. А теперь, на третье утро, когда я мыла кисточку для пыли в растворителе, этот запах вдруг ударил мне в нос, – и я застыла над раковиной с кисточкой в руке.

Не растворитель. Похоже, но не то.

Скипидар.

Так пахнет в мастерских живописцев. Так пахло от Камерона в галерее, в первый вечер, когда он стоял надо мной и говорил про свет на седьмом кадре.

Так пахнет от половины института, сказала я себе. Тут каждый второй пишет маслом.

Я поставила кисточку в стакан. Руки были мокрые.

* * *

Ния сидела на моей кровати, скрестив ноги, и ела плантаны миссис Окафор прямо из пакета.

– То есть ты хочешь, чтобы Прайс залил тебе лицо гипсом, – сказала она. – Добровольно.

– Он предлагал.

– Он много чего предлагает. Он в прошлом году предлагал Лорен с графики позировать ему голой «для торса». – Ния облизала пальцы. – Майя. Зачем?

Я не могла ей сказать. Правило первое: *ты никому не рассказываешь обо мне*. Я ни разу его не нарушила. Ни разу за все эти недели.

– Мне нужно кое-что проверить, – сказала я.

Ния долго смотрела на меня поверх очков.

– Ты изменилась, – сказала она наконец. – Ты знаешь? Ты стала... не знаю. Громче. Но не голосом.

– Это плохо?

– Не знаю. – Она протянула мне последний плантан. – Это пугает. Но мне нравится.

* * *

Мастерская Прайса на третьем этаже была похожа на склеп, в котором кто-то устроил вечеринку. Белая пыль на всём. Мешки с алебастром у стены. Полки с заготовками: руки, ступни, торсы, головы. И музыка – что-то электронное, тихое, с механическим ритмом, как сердцебиение робота.

Джулиан встретил меня в фартуке поверх белой рубашки. Улыбнулся так, будто ждал.

– Беннет. Я знал, что ты придёшь.

– Откуда?

– Все приходят. – Он кивнул на стул посреди мастерской. Обычный деревянный стул, а рядом столик с инструментами: миска, шпатели, вазелин, две коротких трубочки для коктейлей. – Садись.

Я села. Он обошёл меня кругом, медленно, рассматривая так, как рассматривают кусок мрамора перед первым ударом резца.

– Волосы назад, – сказал он и, не дожидаясь, сам собрал их у меня на затылке. Пальцы у него были сухие, тёплые, с белой пылью в складках. Он стянул мне волосы резинкой. Туго. – Глаза закроешь. Дышать будешь через трубочки. Минут двадцать придётся сидеть неподвижно, пока схватится. Не разговаривать. Не двигаться. – Он наклонился ко мне. – Справишься?

– Справлюсь.

Он намазал мне лицо вазелином. Медленно, пальцами, от лба вниз. Брови. Веки. Скулы. Крылья носа. Губы – тут он задержался, обвёл контур большим пальцем, и меня передёрнуло, и он заметил.

– Боишься?

– Нет.

– Врёшь, – сказал он весело. – Это хорошо. Страх даёт лицу правильное напряжение. Расслабленные лица в гипсе выглядят мёртвыми.

Он вставил мне в ноздри две трубочки. Я закрыла глаза.

И гипс лёг мне на лицо.

Сначала – холод. Мокрый, тяжёлый, он полз по лбу, по векам, затекал в уголки глаз. Потом – вес. Слой за слоем, Джулиан накладывал его ладонями, разглаживал, и с каждым слоем мир отодвигался дальше. Звуки стали глухими. Свет за веками погас. Я слышала только своё дыхание в трубочках – сиплое, частое – и далёкий механический ритм музыки.

Потом гипс начал греться.

Это никто не говорит заранее. Что гипс, когда схватывается, становится тёплым. Потом горячим. Он стягивает кожу, как будто лицо сжимается в кулак, и ты не можешь пошевелить ни одним мускулом, не можешь открыть глаза, не можешь закричать – потому что рот замурован.

Я сидела в темноте с каменным лицом и слушала, как он ходит вокруг.

– Знаешь, что я люблю в этом моменте? – сказал Джулиан где-то справа. Голос был близко. Очень близко. – Что ты сейчас совсем беспомощна. Ты ничего не видишь. Не можешь говорить. Если я сейчас зажму трубочки – ты даже не успеешь понять.

Я перестала дышать.

Он засмеялся.

– Шучу, Беннет. Дыши. Дыши, а то у тебя ноздри дёргаются, слепок испортишь.

Я задышала. Сердце колотилось так, что гипс, казалось, трескался изнутри.

– Мой крёстный, – продолжил Джулиан, и теперь его голос был слева, – говорит, что красивые вещи должны принадлежать тем, кто умеет их ценить. Он говорит это про картины. Про скульптуры. – Пауза. – Про фотографии тоже.

Я сжала пальцы на сиденье стула.

– Он попросил меня посмотреть одну серию в апреле, – сказал Джулиан. Будто между делом, будто рассказывал про погоду. – Сказал, что это работа Селесты, сырая, надо помочь с кадрированием. Я помог. Хорошая была серия. Женщина в пальто особенно. – Он снова оказался прямо передо мной. Я чувствовала тепло его тела сквозь гипс. – Только потом я увидел видео. Тебя, с мокрыми волосами, посреди галереи. «Там должен быть поручень».

Он постучал ногтем по гипсу у меня на лбу. Тук-тук.

– Я ведь его и убрал, этот поручень. Сам. Своей рукой. – Он помолчал. – Неприятное было чувство. Как будто узнал, что ел чужой обед.

Я не могла ответить. Не могла открыть глаз. Сидела в горячей каменной темноте и слушала, как рушится всё, что я про него думала.

– Ещё пять минут, – сказал он. – Потерпи.

Это были самые длинные пять минут в моей жизни.

Когда он снял слепок – одним движением, с влажным чмоком, – я вдохнула так, будто вынырнула со дна озера. Свет ударил в глаза. Лицо горело. Джулиан стоял передо мной с белой маской в руках – моим лицом, вывернутым наизнанку, – и улыбался.

– Отличный. Посмотри.

Я посмотрела. Внутренняя сторона слепка – мои черты в негативе. Вдавленный нос. Впадины вместо глаз.

– Прайс, – сказала я. Голос был хриплый. – Мне нужно тебе кое-что сказать.

– Говори.

Я сделала вдох. Я готовила эту ложь три дня.

– Я боюсь высоты. Очень. С детства. Я никогда в жизни не поднималась на крышу.

Он поднял бровь.

– И?

– И всё. – Я встала со стула. Ноги дрожали. – Просто хотела, чтобы кто-то знал.

Он смотрел на меня с весёлым недоумением. Потом пожал плечами.

– Странная ты, Беннет. Но ладно. Я запомню.

* * *

Прошло три дня. Аноним писал каждый вечер.

Про рассвет над озером. Про то, какую музыку я слушаю. Про то, что он видел меня в столовой и что мне идёт серый свитер. Он задавал вопросы. Давал задания – маленькие, тёплые, как раньше.

Ни слова о высоте. Ни слова о крышах.

Ни одного намёка.

Это был не Прайс.

Я сидела ночью на кровати, с телефоном в руке, и чувствовала одновременно облегчение и ужас. Потому что если не Прайс, то кто?

Я открыла заметки в телефоне. Начала писать список. Всё, что знала.

Он знает моё эссе.

Он знает, что дверь чёрного хода у Прайса подпирают огнетушителем.

Он был на вечеринке.

Он может попасть в фотолабораторию после десяти.

От него пахнет гипсом. И скипидаром.

Когда пришло сообщение на семинаре, Камерон сидел за мной, телефон экраном вниз. Руки – на виду.

Я остановилась. Перечитала последнюю строчку.

Три дня назад Ния жаловалась, что забыла поздравить бабушку с днём рождения. «Ничего, – сказала она тогда, – я теперь ставлю сообщения на время. Пишешь заранее, а оно уходит само, когда надо».

Пишешь заранее. А оно уходит само.

Я положила телефон на колени. Медленно, как кладут что-то, что может взорваться.

А потом вспомнила.

Переулок. Платформа «Кларк/Лейк». Первая ночь. Я стою одна, и мне приходит:

Иди домой, Майя.

И мастерская на четвёртом этаже, неделю назад. Камерон отворачивается к окну. Говорит, не глядя на меня:

Иди домой, Беннет.

Те же слова. Тот же ритм. Та же интонация, – я слышала её, даже читая с экрана: спокойная, усталая, как будто он отпускал меня и сам не хотел отпускать.

У меня похолодели руки.

Нет. Это совпадение. Люди говорят «иди домой» каждый день. Это ничего не значит.

Он стоит с Хейлом. Он смеялся надо мной. Он говорит кому-то «сэр» по телефону. Он не может быть тем, кто вкладывал мне в руку улики. Тем, кто стирал мне слёзы в красном свете. Тем, кто держал меня под аркой, пока меня трясло, и потом так бережно поправил подол.

Он не может.

Я открыла переписку с file_0347 и долго смотрела на экран.

Потом закрыла и открыла чат с Нией.

Майя: *Где обычно сидит Камерон по вечерам?*

Ния: *ЧТО*

Ния: *зачем тебе*

Ния: *Майя??*

Майя: *Просто скажи.*

Ния: *в мастерской на четвертом этаже. там все время свет до ночи. Джош говорит он там живет практически*

Ния: *ты меня пугаешь*

* * *

Свет в мастерской на четвёртом этаже горел.

Я стояла за дверью и слушала. Тишина. Потом – тихий скрежет. Как будто что-то трут о стекло. Ритмично, медленно, раз за разом.

Я открыла дверь без стука.

Он сидел у окна, спиной ко мне, без футболки. Перед ним на столе – толстая стеклянная плита, и он что-то растирал на ней курантом: тяжёлым стеклянным пестиком с плоским дном. Синее. Ярко-синее, такое синее, какого я никогда не видела, – как будто небо над озером в ту секунду, когда оно уже не чёрное, но ещё не голубое.

Он не обернулся.

– Беннет, – сказал он. – Ты повадилась сюда ходить.

Я смотрела на его спину. На лопатки, которые двигались в такт растиранию. На шрам на левом плече – тонкий, белый, старый.

На руки. Правая всё ещё в бинте.

– Что это? – спросила я.

– Ультрамарин. – Он продолжал растирать. – Настоящий. Из лазурита. Дороже золота, если покупать. Я делаю сам.

– Зачем?

– Потому что то, что продаётся в тюбиках, – мёртвое.

Он отложил курант. Обернулся. Посмотрел на меня – без удивления, без насмешки. Просто посмотрел, долго, как будто проверял, всё ли на месте.

– Что тебе нужно?

Эту ложь я придумала по дороге сюда, в автобусе. Совсем не такую, как для Прайса. Такую, которую нельзя было угадать. Которая не имела ничего общего ни с высотой, ни с крышами, ни с чем, что было в моём эссе.

Я сказала её так просто, как могла.

– У меня была бабушка. Единственная, кто меня когда-либо фотографировал. У неё был старый «Полароид», и она снимала меня каждый год, в мой день рождения, у одного и того же окна. Одиннадцать снимков. – Я сглотнула. Голос дрожал, и мне не нужно было притворяться, – он дрожал сам. – Когда она умерла, мама выбросила их вместе с её вещами. Все одиннадцать. Я с тех пор ни разу не была на фото. Ни на одном.

Это была неправда. Бабушка меня никогда не фотографировала. У неё не было «Полароида». Я придумала всё, до последнего слова.

Камерон смотрел на меня.

Долго. Очень долго. Что-то происходило у него в лице, – что-то медленное, тяжёлое, как будто внутри сдвигались плиты.

– Зачем ты мне это говоришь? – спросил он тихо.

– Не знаю, – сказала я. – Мне просто нужно было кому-то сказать.

И вышла, не дожидаясь ответа.

Я сбежала по лестнице на первый этаж, на улицу, на холодную Мичиган-авеню, и только там поняла, что меня трясёт.

Теперь оставалось ждать.

* * *

Телефон молчал весь вечер.

Я сидела на кровати, обхватив колени, и смотрела на дверь. Не на телефон. На дверь. Сама не знаю почему.

В одиннадцать ничего.

В полночь ничего.

Без двадцати час внизу, на лестнице, скрипнула ступенька. Потом тишина. Потом что-то мягко стукнуло о мою дверь – не стук, нет. Как будто что-то поставили на пол.

Я не дышала.

Шаги вниз по лестнице. Хлопнула дверь подъезда.

Я досчитала до ста. Потом встала, на негнущихся ногах подошла к двери, сняла цепочку, отперла оба замка.

На коврике стояла коробка.

Небольшая, картонная, перевязанная бечёвкой. Без подписи.

Я занесла её внутрь и поставила на стол. Развязала бечёвку дрожащими пальцами. Подняла крышку.

Внутри лежал «Полароид».

Старый, квадратный, белый с радужной полоской, – такой, какие были в восьмидесятых. Тяжёлый. Пахнущий чужим чердаком. В нём была заряжена кассета. А под камерой – сложенная записка, на той же плотной бумаге, на которой были все его послания.

Двенадцатый снимок. Сделай его сама.

Я стояла над коробкой и смотрела на эти слова.

Одиннадцать снимков у окна. Бабушка. Мама, которая их выбросила.

Ничего этого не было. Я это придумала. Сегодня. В автобусе.

И сказала только одному человеку.

Я медленно села на пол – прямо там, у стола, как в детстве на лестнице, – и прижала ладони к лицу. Лицо ещё горело после гипса Прайса. Или от чего-то другого.

Иди домой, Беннет.

Иди домой, Майя.

Скипидар на перчатке. Синие разводы на его предплечьях – и синее под ногтями. «Ты не знаешь, с кем говоришь». Его голос, когда он сказал моё имя в коридоре лофта, – сломанный посередине, как карандаш.

Это был он.

С самого начала. Каждое сообщение. Каждое задание. Каждая улика, вложенная мне в руку. Платформа, переулок, арка под надземкой. Красный свет. Его ладонь на моих губах.

Это был он, и он смеялся надо мной в галерее, и он стоял рядом с Хейлом, и он говорил «сэр», и он знал. Он знал всё это время. Каждый раз, когда сидел у меня за спиной на семинаре. Каждый раз, когда я проходила мимо него в коридоре и старалась на него не смотреть.

Каждый раз, когда я ему писала то, что не говорила никому.

Меня затошнило. По-настоящему. Я едва успела добежать до ванной.

Потом сидела на холодном кафеле, прижавшись спиной к ванне, и не плакала. Совсем. Внутри было сухо и пусто, и только где-то очень глубоко, под рёбрами, медленно разгоралось что-то другое.

Не боль.

Злость.

Холодная, ясная, как свет на западной стороне платформы в шесть пятьдесят вечера.

Я встала. Умылась. Посмотрела в зеркало на своё лицо – красное, опухшее, с белыми крошками гипса у кромки волос.

Потом взяла телефон и впервые за всё время написала ему первой.

Майя: *Спасибо за подарок.*

Ответ пришёл через минуту.

file_0347: *Тебе понравилось?*

Майя: *Хочу тебя увидеть. Сегодня. Я выберу место.*

Три точки. Долго. Очень долго. Исчезли. Появились.

file_0347: *Где?*

Майя: *Там, где всё началось.*

Майя: *«Кларк/Лейк». Западная платформа. Третья скамейка от лестницы. В два.*

Три точки снова. Я смотрела на них и считала. Двадцать секунд. Тридцать. Минута.

file_0347: *Хорошо.*

Я положила телефон в карман.

Сняла со стены свою камеру – старую, плёночную, с потёртым ремнём, – проверила плёнку. Двенадцать кадров ещё было. Проверила вспышку. Работала.

Повесила камеру на шею. Под свитер.

И надела куртку.

* * *

В два часа ночи станция «Кларк/Лейк» похожа на место, откуда все сбежали. Не сцена после спектакля, как в одиннадцать сорок. Хуже. Как будто случилось что-то страшное, и все ушли, а свет забыли выключить.

Ни одного человека. Ни мужчины в оранжевом жилете, ни уборщиков, ни бездомных. Только гудение ламп над головой и ветер, который дул вдоль путей, холодный, мокрый, с озера.

Я сидела на третьей скамейке от лестницы. На той самой, где когда-то лежал конверт с медиатором.

Руки в карманах. Камера под свитером, тяжёлая, тёплая от тела. Сердце билось ровно. Я сама удивлялась, как ровно.

Я услышала его раньше, чем увидела. Шаги по лестнице. Неторопливые. Знакомые. Как я раньше их не узнавала? Я слышала их на семинаре каждый день – как он проходит мимо меня и садится за спиной.

Он поднялся на платформу.

Капюшон. Чёрная куртка. Перчатки. Белая маска с пустыми глазами.

Он остановился в нескольких шагах. Смотрел на меня. Я смотрела на него.

Мы долго молчали. Где-то далеко, в тоннеле, загудел поезд, – последний или первый, я не знала.

– Ты пришла, – прошептал он. Тот же хриплый шёпот.

Я встала.

Я подошла к нему медленно. Так же медленно, как он когда-то подходил ко мне в переулке. Остановилась так близко, что почувствовала его тепло. Сухой меловой запах. И под ним – горький, острый, который я теперь не спутала бы ни с чем.

Скипидар.

– Сними её, – сказала я.

Он не двинулся.

– Сними, – повторила я. – Или я сниму сама.

Он покачал головой. Медленно. Как в лаборатории. *Не сегодня.*

Я подняла руку. Он перехватил моё запястье – как тогда, мягко, твёрдо, – но я была готова. Второй рукой я рванула маску снизу, за край подбородка, со всей силой, которая во мне была.

Резинка лопнула. Гипс ударился о бетон платформы и раскололся надвое.

И под фонарём, в мертвенном жёлтом свете ламп, на меня смотрел Адам Камерон.

* * *

Я знала. Я знала уже несколько часов. Но знать – это одно. А видеть – совсем другое.

Его лицо было голым. Без насмешки. Без того ленивого прищура, с которым он говорил «Беннет» и «какая честь». Растрёпанные волосы, прилипшие ко лбу. Бледная кожа. Красная полоса на скуле, где край маски врезался, когда я её сорвала. И глаза – серые, как сталь моста в январе, – которые смотрели на меня так, будто я только что вынула из него что-то живое.

Он не отвернулся. Не попытался закрыться. Просто стоял и смотрел.

Я ударила его.

Ладонью, наотмашь, по лицу, так сильно, что заныла рука до локтя. Звук был громкий, как выстрел, и эхом ушёл вдоль платформы. Голова у него дёрнулась в сторону.

Он медленно повернул её обратно. На щеке проступал красный след моих пальцев.

Он ничего не сказал.

– Ты, – сказала я, и голос сорвался. – Это всё время был ты.

Он молчал.

– Ты смеялся надо мной. При всех. Ты сказал, что меня никто не ждал. – Я задыхалась. – А потом ты... в переулке. Под аркой. В лаборатории. Ты знал. Каждый раз, когда сидел за мной на семинаре, ты знал, что я... что ты...

Я не могла закончить. Слова застревали.

– Майя, – сказал он.

Своим голосом. Не шёпотом. Низким, хриплым, настоящим. Тем голосом, которым он сказал моё имя в коридоре лофта.

– Не смей, – сказала я. – Не смей называть меня так.

Где-то в тоннеле нарастал гул поезда. Свет пробивался из темноты – сначала точка, потом пятно, потом два ослепительных глаза.

Я вытащила камеру из-под свитера.

Он увидел. Понял. И не двинулся.

Я подняла камеру к лицу. Навела на него. Он стоял в видоискателе – маленький, далёкий, с разломанной маской у ног, с отпечатком моей ладони на щеке. Смотрел прямо в объектив.

Без притворства. Без защиты. Без ничего.

Между вдохом и выдохом.

Поезд ворвался на станцию с рёвом и ветром, и в ту секунду, когда его свет залил платформу, я нажала на спуск.

Вспышка.

Белая, ослепительная, – на долю секунды она стёрла всё: станцию, поезд, его, меня. Остался только щелчок затвора. И то, что застыло на плёнке навсегда.

Человек, который никогда не выдыхал.

Выдохнул.

Глава 8. Адам

Сделка без маски

Вспышка погасла, а я всё ещё видел её.

Белое пятно на сетчатке, в форме объектива. Поезд стоял у платформы с открытыми дверями, пустой, гудящий, и свет из вагонов падал на бетон длинными жёлтыми прямоугольниками. Двери постояли. Закрылись. Поезд ушёл в тоннель, и стало так тихо, что я слышал, как звенит у меня в ушах.

Щека горела. Хорошо она бьёт. Я не ожидал.

Она стояла в трёх шагах, с камерой у груди, держа её обеими руками, как в тот первый вечер в галерее. Только теперь она держала её не как сердце. Как оружие. Как то, что выстрелило и попало.

У моих ног лежали две половины маски. Гипс раскололся ровно по линии носа. Одна половина смотрела в потолок пустой прорезью. Другая – в бетон.

Я двадцать один год прятал лицо. От него. От себя. И вот его сняли с меня одним рывком, на станции метро, в два часа ночи.

И почему-то стало легче.

– Говори, – сказала она.

Голос у неё был низкий, хриплый, совсем не её. Она не плакала. Я думал, она будет плакать. Она смотрела на меня сухими глазами, и в них было что-то, чего я никогда раньше не видел. Не страх. Не злость даже.

Холод.

– Что ты хочешь услышать? – спросил я.

– Правду. Если ты знаешь, что это такое.

Я помолчал. Нагнулся, поднял обе половины маски. Подержал в руках.

– Я читал твоё эссе в мае, – сказал я. – В архиве. Я его сфотографировал, хотя это запрещено. Я читал его каждую ночь неделю подряд. А потом папку забрали «в отдельное рассмотрение», и я понял, что тебя ограбят. Я знал это за четыре месяца до афиши.

Она не шевелилась.

– И ничего не сделал, – сказала она.

– И ничего не сделал.

– Почему?

Я смотрел на расколотый гипс в своих руках.

– Потому что у меня есть свои дела с этим фондом. И они для меня важнее, чем девочка с медиатором, которую я ни разу не видел.

Это было жестоко. И это была правда. Она хотела правды.

Она вздрогнула. Совсем чуть-чуть. Потом подбородок снова пошёл вверх.

– А в галерее? Когда ты... при всех...

– Мне нужно было, чтобы Хейл меня заметил. – Я поднял на неё глаза. – Ты дала мне повод. Я им воспользовался.

– Ты использовал меня.

– Да.

Она ждала, что я добавлю «но». Я видел, как она ждёт. Я не добавил. «Но» было, и оно было огромным, но я не умел его говорить. Не вслух. Не своим голосом.

– А потом? – Её голос дрогнул впервые. – Аккаунт? Задания? Конверты? Это тоже было для Хейла?

– Нет.

– Тогда для чего?

Я долго молчал. Над головой пискнула лампа и погасла, и половина платформы ушла в полутьму.

– Ты сказала, что в собственном доме тебе никто не давал пауз, – сказал я. – В эссе. Что ты хочешь, чтобы кто-нибудь однажды посмотрел на тебя так же внимательно, как ты смотришь на них. – Я сглотнул. – Я посмотрел.

– Ты *следил* за мной.

– Да.

– Ты меня *пугал*.

– Да.

– Ты... – Она осеклась. Губы побелели. – Под аркой. В лаборатории. Ты...

– Ты могла уйти, – сказал я тихо. – Каждый раз. Я каждый раз давал тебе уйти.

– Я не знала, что это ты!

Эхо ударилось о стены и вернулось. *Ты. Ты. Ты.*

Я сделал шаг к ней. Один. Она не отступила.

– А если бы знала? – спросил я. – Ушла бы?

Она открыла рот. И закрыла.

Я видел, как ответ поднимается в ней – и как она давит его, загоняет обратно, вниз, под рёбра, туда, где у неё лежит всё, что она себе запрещает. Я знал это место. У меня такое же.

Она не ответила.

Это было хуже, чем пощёчина.

* * *

– Я пойду к декану, – сказала она наконец. Ровно, как читают приговор. – Я расскажу всё. Что ты меня преследовал. Что ты писал мне с фальшивого аккаунта. Что ты приходил ко мне домой ночью. Что ты... – Она не договорила. – Тебя выгонят. Тебя, может быть, арестуют.

– Может быть, – сказал я.

– Тебе всё равно?

– Нет.

Я сунул руку во внутренний карман куртки и достал сложенный лист. Протянул ей.

Она не взяла.

– Что это?

– Посмотри.

Она смотрела на меня ещё секунду. Потом выхватила лист у меня из пальцев, как выхватывают что-то у собаки, которая может укусить. Развернула. Свет единственной работающей лампы упал на бумагу.

Это была распечатка. Свойства файла. Двенадцать строк, двенадцать имён файлов, и у каждого – дата создания, модель камеры, серийный номер. Её камеры. Март позапрошлого года, февраль прошлого, январь, ноябрь.

И у каждого – второй столбец. Дата экспорта из системы фонда. И имя пользователя, который экспортировал.

s.whitmore

Не распечатка журнала, которую можно подделать. Прямой снимок с сервера. С метаданными, которые нельзя изменить задним числом. С номером её камеры, который записан в каждом файле.

– Это... – У неё задрожали руки. – Это же...

– Это доказательство, – сказал я. – Настоящее. С ним можно идти к юристу. С ним можно идти в суд.

Она подняла на меня глаза.

– Сколько у тебя таких?

– Достаточно.

– Ты давал мне по кусочку. – До неё доходило медленно, и я видел, как с каждой секундой её лицо становится белее. – Ты всё это время держал у себя то, что мне нужно, и давал мне по кусочку. Чтобы я приходила. Чтобы я делала то, что ты скажешь.

Я молчал.

– Ты меня *дрессировал*.

– Я тебя держал, – сказал я. – Чтобы ты не наделала глупостей. Если бы ты пришла к декану с этим в сентябре – тебя бы раздавили. Хейл нанял бы юристов, которые доказали бы, что ты взломала систему фонда. Тебя бы отчислили. Селеста бы осталась. А файлы бы исчезли.

– А сейчас?

– Сейчас тоже раздавят. – Я сделал ещё шаг. – Если ты пойдёшь одна.

Она смотрела на меня снизу вверх. Лист в её руке дрожал.

– А с тобой? – спросила она. – С тобой не раздавят?

– Со мной у тебя будет время. И доступ. Всё, что лежит в архиве. Всё, что лежит у Селесты на ноутбуке. Всё, что Хейл говорит, когда думает, что его не слышат.

– А тебе что с этого?

Я долго молчал.

– Мне нужен кое-кто выше Селесты, – сказал я наконец.

Она поняла. Я видел, как она поняла.

– Хейл, – сказала она тихо.

Я не ответил. Мне не нужно было.

– Зачем? – Она шагнула ко мне. – Что он тебе сделал?

Над нами снова загудел поезд, далеко, в тоннеле. Я смотрел, как лампа отражается в её глазах – два маленьких жёлтых огня.

– Это не твоё дело, Беннет.

Она дёрнулась, как от второй пощёчины. Только на этот раз ударил я.

– Майя, – сказал я. Тише. – Не сейчас. Пожалуйста.

Она смотрела на меня долго. Потом сложила лист вчетверо и сунула в карман.

– Я ничего не обещаю, – сказала она.

– Я ничего и не прошу.

– И не смей больше ко мне подходить. Ни в маске. Ни без. Не смей писать мне. Не смей приходить к моему дому. – Голос у неё дрожал, но она договорила. – Если хоть раз ещё увижу тебя в своём переулке – я пойду в полицию. С фотографией.

Она подняла камеру. Чуть-чуть. Чтобы я видел.

– Я понял, – сказал я.

– И ещё. – Она отвернулась, сделала шаг к лестнице. Остановилась. Не оборачиваясь, сказала: – То, что было. Под аркой. В лаборатории. Этого больше не будет. Никогда.

Я смотрел ей в спину.

– Если ты не придёшь сама, – сказал я, – не будет.

Она застыла на секунду. Плечи под курткой напряглись.

Потом пошла вниз по лестнице. Быстро. Не оглядываясь.

Я стоял на пустой платформе с расколотой маской в руках, пока её шаги не стихли внизу. Потом сел на третью скамейку от лестницы. На ту самую.

Посидел.

Положил две половины маски рядом с собой, на скамейку. Аккуратно, лицом вверх, как кладут на стол что-то, что больше не понадобится.

И ушёл.

* * *

Неделю она меня не видела.

Нет. Не так. Неделю она смотрела сквозь меня.

На семинаре у Рейес она пересела. Не на другой ряд – в другой конец аудитории, к двери, рядом с Нией, которая сверлила меня взглядом весь час, как будто прикидывала, из чего сделать мне пепельницу. В столовой она уходила, как только я входил. В коридорах – разворачивалась.

Она ни разу не написала.

Я тоже.

Аккаунт я не удалил. Каждую ночь я открывал переписку и смотрел на последнее сообщение. Её. *Спасибо за подарок.* И мой ответ: *Тебе понравилось?*

Я думал, что она понимала тогда, когда писала это. Понимала, что это ловушка. И я не понял.

Человек, который полтора года ждал солнце на западной стороне платформы, умеет ждать. Я это знал. Я просто забыл, что она умеет ждать и меня.

На седьмой день Селеста подсела ко мне в столовой. С подносом, на котором стоял один зелёный чай и ничего больше.

– Камерон. – Она улыбнулась. – Ты какой-то... серый. Плохо спишь?

– Нормально сплю.

– А Беннет, я смотрю, тоже какая-то серая. – Она отпила чай, глядя на меня поверх стакана. – Странно, правда? Вы как будто поссорились. Хотя вы же и не общаетесь.

Я медленно поднял на неё глаза.

– Не общаемся.

– Вот и я думаю. – Она поставила стакан. Наклонилась ко мне. Близко. Запах её духов – дорогой, холодный, как в лобби отеля. – Знаешь, Хейл очень высокого мнения о тебе. Он говорит, у тебя есть чувство... как это... *лояльности*. – Она провела пальцем по краю моего подноса. – Я бы не хотела, чтобы он в тебе разочаровался.

– С чего бы ему разочаровываться?

– Не знаю. – Она улыбнулась ещё шире и встала. – Просто будь осторожен, с кем ты не общаешься. Люди замечают.

Она ушла, оставив стакан с недопитым чаем.

Я сидел и смотрел на отпечаток её помады на краю стакана. Бледно-розовый. Как маска в красном свете.

* * *

Через два дня я сидел в кабинете на двадцать шестом этаже, в низком кожаном кресле, и смотрел на Хейла снизу вверх.

– Зимняя резиденция, – сказал он, листая что-то на планшете. – Две недели в конце декабря. Двенадцать участников программы, три куратора, мастерские в нашем здании на Пилсене. – Он поднял глаза. – Вы, разумеется, в списке. Что-то ещё, мистер Камерон? Аннабель сказала, вы хотели меня видеть.

Я держал стакан с водой обеими руками. Чтобы не дрожали.

– Беннет, – сказал я.

Он поднял бровь.

– Что с мисс Беннет?

– Вы просили держать вас в курсе. – Я поставил стакан на край стола. – Она не успокоилась. Я ошибся. Она просто стала тише. Она что-то собирает. Я видел, как она фотографирует бумаги в библиотеке. Я видел, как она дважды заходила в административный корпус фонда.

Ложь. Всё – ложь. Ни одного слова правды.

Хейл отложил планшет.

– И что вы предлагаете?

– Включить её в резиденцию.

Он смотрел на меня. Долго. С тем выражением, с которым смотрят на шахматную доску, когда противник сделал неожиданный ход.

– Объясните.

– Если она снаружи – она может пойти куда угодно. К юристу. К журналистам. – Я пожал плечами. – Если она внутри – она две недели будет под нашей крышей. С нашими кураторами. На нашей территории. Я буду рядом. Каждый день. Я буду знать, с кем она говорит, что пишет, что снимает. А если она подписывает договор участника – там есть пункт о неразглашении, я читал его в архиве. Она не сможет публично говорить о фонде, пока участвует в программе.

Тишина. Только шум кондиционера и далёкий гул города за стеклом.

Потом Хейл рассмеялся. Коротко, тихо, с удовольствием – как смеются над хорошей шуткой.

– Держи врагов ближе, – сказал он. – Вы читали Макиавелли, мистер Камерон?

– Нет, сэр.

– Вам и не нужно. – Он снова взял планшет, что-то отметил. – Хорошо. Аннабель отправит ей приглашение. Селесте это не понравится. – Он улыбнулся, не поднимая глаз. – Но Селесте многое не нравится.

Я вышел из кабинета.

В лифте прислонился лбом к холодному металлу и долго стоял, пока лифт ехал вниз, все двадцать шесть этажей.

Я только что сделал то, что делал всю жизнь он. Использовал человека как фигуру на доске.

Только он делал это легко. А меня тошнило.

* * *

Она нашла меня через три дня. В мастерской на четвёртом этаже, в одиннадцать вечера.

Дверь распахнулась так, что ударилась о стену. Я обернулся от мольберта – того, повёрнутого к стене, – и она уже шла ко мне через всю мастерскую, с листом бумаги в вытянутой руке.

– Это ты? – Она ткнула мне лист почти в лицо. Бланк фонда. Логотип. *Уважаемая мисс Беннет, мы рады пригласить вас...* – Это ты сделал?

– Да.

Она замерла. Как будто ждала, что я буду врать. Как будто подготовила десять аргументов, и теперь все десять оказались не нужны.

– Зачем?

– Потому что ноутбук Селесты будет стоять в соседней мастерской две недели. – Я положил кисть. – Потому что на третьем этаже того же здания – архив фонда. Настоящий, бумажный. Тот, что до двенадцатого года. Ключи от него будут у кураторов резиденции. – Я вытер руки. – Потому что я сказал Хейлу, что буду за тобой следить. И он поверил.

Она опустила руку с приглашением.

– Ты сказал ему, что будешь за мной следить.

– Да.

– И это правда?

– Да, – сказал я. – Я буду рядом с тобой каждый день. Две недели. И если кто-нибудь из них попробует тебя тронуть, – я помолчал, – Тайлер покажется им цветочком.

Она смотрела на меня. Долго. Я видел, как в ней снова идёт эта работа – как она взвешивает, примеряет, перебирает, как перебирала улики в своей коробке из-под чая.

– Там пункт о неразглашении, – сказала она наконец. – В договоре.

– Он действует, пока ты участвуешь в программе. Если ты выйдешь из программы – он больше не действует.

Она поняла. Я видел, как дошло. Как дрогнул уголок губ.

– Ты обманул его.

– Я сказал ему ровно то, что он хотел услышать.

– Как мне.

Удар. Точный. В то самое место.

– Как тебе, – сказал я. – В галерее. Да.

Мы помолчали.

– Я ненавижу тебя, – сказала она. Не зло. Устало. Как констатируют погоду.

– Я знаю.

– Я тебе не верю.

– Я знаю.

– Если я соглашусь, – сказала она, – будут правила.

Я медленно кивнул.

Она сложила приглашение пополам. Потом ещё раз. Сунула в карман. Подняла на меня глаза.

– Правило первое, – сказала она. – Никакой лжи. Если есть вещи, о которых ты не можешь говорить, – так и скажи. Молчание я переживу. Ложь – нет.

– Хорошо.

– Правило второе. Ты меня не трогаешь. Вообще. Ни в маске, ни без.

У меня что-то сжалось внутри. Я кивнул.

– Хорошо.

Правила, Беннет, для того и пишутся, чтобы однажды их нарушить, – подумал я. Вслух я этого не сказал.

Она молчала. Смотрела на меня, и в глазах у неё было что-то странное – как будто она знала, что сейчас скажет, и знала, что это будет больно, и всё равно собиралась.

– А третье? – спросил я.

Она сделала шаг ко мне. Один. Протянула руку.

– Правило третье, – сказала она. – Я могу выйти из игры в любой момент.

Мои собственные слова. Мои правила. Вывернутые наизнанку, как гипсовый слепок.

Я смотрел на её протянутую руку. Тонкие пальцы. Синяк на запястье, почти сошедший, жёлто-зелёный. Мозоль от ремня камеры на ладони.

Я взял её руку.

Я пожимал руку Хейлу дважды. Оба раза – ничего. Ни ожога, ни дрожи. Пустота.

Её рука была маленькая, холодная и твёрдая.

И меня обожгло.

Глава 9. Майя

Метель

Здание фонда Хейла в Пилсене стоит в шести кварталах от моего дома.

Я проходила мимо него сто раз. Старая табачная фабрика, красный кирпич, высокие арочные окна, над входом – новенькая медная табличка с фамилией, которая выбита на половине зданий в Чикаго. Я никогда не думала, что войду внутрь. Такие здания не для таких, как я. Они для тех, кто входит в них как к себе домой и с первого шага знает, куда идти, с кем здороваться и где здесь подают шампанское.

Двадцать первого декабря я вошла внутрь с рюкзаком, камерой и договором участника, в котором пункт 14.3 обязывал меня не говорить ничего плохого о фонде, пока я в программе.

Я подписала его, не дрогнув.

Внутри пахло свежей краской, кофе и деньгами. Двенадцать мастерских на трёх этажах – светлых, огромных, с окнами на запад, на трубы старой электростанции и серое озеро крыш. В каждой мастерской под потолком была антресоль с кроватью, на случай если засидишься допоздна и не захочешь ехать домой. На первом этаже – общая кухня, библиотека, гостиная с камином, который никто не зажигал. На третьем – архив. Тяжёлая дверь, электронный замок, табличка «Только для персонала».

Я прошла мимо этой двери в первый же день и запомнила, где камера над ней. Запомнила, что у неё красный огонёк, который мигает раз в четыре секунды.

Камерон научил меня так смотреть. Я ненавидела его за это. И пользовалась.

* * *

Селеста встретила меня в первое утро у кофемашины. В кашемировом свитере цвета овсянки, с волосами, собранными в небрежный узел, который наверняка занял сорок минут.

– Беннет, – сказала она, как будто пробовала слово на вкус. Как Хейл. – Какой сюрприз. Я не знала, что фонд принимает... – она подбирала слово, – ...*разнообразных* участников.

– Я тоже не знала, – сказала я. – Думала, только тех, кто умеет пользоваться чужими файлами.

Тишина у кофемашины стала такой плотной, что я слышала, как капает в чашку.

Селеста улыбнулась. Медленно. Красиво.

– Осторожнее, дорогая, – сказала она. – Пункт четырнадцать-три.

– Пункт четырнадцать-три запрещает плохо говорить о фонде, – сказала я. – Про тебя там ни слова.

Она забрала свою чашку и ушла. Каблуки стучали по бетонному полу, как метроном.

Я стояла у кофемашины, и руки у меня тряслись, и мне было так хорошо, как не было, кажется, никогда в жизни.

– Неплохо, – сказал голос у меня за спиной.

Я не обернулась. Я и так знала.

– Мне не нужны твои оценки, Камерон.

– Знаю. – Он подошёл и встал рядом. Не близко. В шаге. Ровно на том расстоянии, которое я ему оставила правилом номер два. Налил себе кофе. Чёрный, без сахара. – Её мастерская – вторая слева на втором этаже. Ноутбук она носит с собой, но в шесть вечера уходит на ужин с кураторами. На час. Ноутбук оставляет. Пароль – дата рождения её лошади.

Я повернула голову.

– Её *лошади*?

– Её зовут Принцесса. Родилась четырнадцатого мая. – Он отпил кофе. – Селеста выкладывает её в инстаграм каждый год.

– Откуда ты...

– Я смотрю, – сказал он. Просто. Без улыбки.

Я вспомнила, как он смотрел на меня. Месяцами. Из-за спины, из темноты, из-под маски.

– Да, – сказала я. – Я помню.

Он поставил чашку. На секунду мне показалось, что он что-то скажет. Что-то настоящее. Но он только кивнул и ушёл.

* * *

Мою мастерскую затопило на третий день.

Где-то на втором этаже лопнула труба – старая, фабричная, которую забыли поменять при ремонте. Вода прошла по перекрытиям и полилась мне на голову в шесть утра. На мои отпечатки. На мою плёнку, которую я сушила на верёвке. На мою антресоль, где стояла кровать. Матрас промок насквозь.

Я стояла посреди мастерской в мокрой пижаме и смотрела, как с потолка капает рыжая вода.

Куратор, высокая женщина по фамилии Линдквист, с короткой седой стрижкой и голосом, как у армейского сержанта, посмотрела на потолок, на меня, на свой планшет.

– Свободных мастерских нет, – сказала она. – Придётся подселить вас к кому-нибудь до конца резиденции. – Она полистала планшет. – Камерон. У него самая большая.

Я открыла рот.

– Это не обсуждается, – сказала Линдквист, не поднимая глаз. – Мистер Хейл лично просил, чтобы мистер Камерон... присматривал за вами.

Она сказала это так, будто это была забота. Будто Хейл беспокоился, не одиноко ли мне.

Я закрыла рот.

* * *

Его мастерская была на третьем этаже, в торце здания. Угловая, с окнами на две стороны. Огромная – раза в два больше моей. Пол заляпан краской так густо, что под ней не видно бетона. Три мольберта, два из них повёрнуты к стене. Стеклянная плита для растирания пигментов, синяя пыль по краям. У стены – широкий кожаный диван, потёртый, тёмно-коричневый, а перед ним толстый шерстяной ковёр. Над мастерской, под самым потолком, – антресоль, куда вела узкая металлическая лестница. Там стояла кровать. Широкая, с белым бельём и мягким шерстяным пледом.

Одна.

Он стоял у окна, когда я вошла со своим мокрым рюкзаком. Посмотрел на меня. Посмотрел на лестницу, ведущую наверх. Снова на меня.

– Я посплю на диване, – сказал он. – Наверху – ты.

– Не надо мне одолжений.

– Это не одолжение. – Он пожал плечами. – Правило номер два. Я тебя не трогаю. Значит, кровать твоя. А я – где угодно ещё.

Я поставила рюкзак у двери и ничего не ответила.

Мы разделили мастерскую лентой. Синей малярной лентой, прямо по полу, от стены до стены. Он провёл её сам, ползая на коленях, медленно, ровно, как проводят линию горизонта. Моя половина – у окна и у лестницы на антресоль. Его – у мольбертов и дивана.

Я смотрела, как он клеит ленту, и думала, что это самая глупая вещь, которую я видела в жизни.

И самая странная. Потому что он ни разу её не пересёк.

* * *

Три дня мы жили по разные стороны синей ленты.

Я работала у окна. Печатала то, что не затопило, раскладывала отпечатки по полу, ползала между ними с лупой. Он работал у мольбертов. Растирал синий. Писал. Молчал. Иногда я слышала, как он ставит пластинку – что-то медленное, дымное, с мужским голосом, похо-

жим на шёпот. Иногда уходил ночевать к себе, в квартиру над пекарней в районе Украинская деревня, и возвращался утром, пахнущий холодом и скипидаром.

Он не пересекал ленту. Ни разу. Даже когда у меня с полки упала коробка с бумагой и разлетелась по всему полу – он стоял на своей стороне и смотрел, как я собираю. Не помогал. Не шагал через линию.

Это сводило меня с ума.

На четвёртый вечер, в шесть, Селеста ушла на ужин с кураторами.

Я пошла на второй этаж. Вторая дверь слева. Не заперто. Ноутбук на столе, крышка закрыта. Я открыла его дрожащими пальцами. Ввела: *princess0514*.

Он открылся.

Я сидела в чужой мастерской, в темноте, при свете экрана, и листала папки. Через двадцать минут нашла её. *Паузы_финал*. А внутри – подпапку, которую она забыла удалить. *Исх_Х*.

Двенадцать файлов. Мои. С моими именами файлов. С метаданными моей камеры.

И письмо. Сохранённое в той же папке, как будто она не знала, куда его деть. От адреса, который начинался на *a.voss@*. Две строчки.

С., вот исходники, о которых говорил В. Х. Кадрирование согласуй с Джулианом. Автора в известность не ставить. А.

А.

Я сидела и смотрела на эту букву. Потом на две другие. В. Х.

Я сфотографировала экран. Три раза. Закрыла ноутбук. Вышла. Поднялась на третий этаж и только в коридоре, у его двери, поняла, что не дышу.

* * *

Он поднял глаза от мольберта, когда я вошла. Увидел моё лицо. Отложил кисть.

– Что?

Я молча протянула ему телефон.

Он смотрел на экран долго. Я видела, как у него сжимается челюсть. Как бледнеют губы. Как он перечитывает две строчки – раз, другой, третий.

В. Х.

– Аннабель Восс, – сказал он тихо. – Его ассистентка.

– Значит, это не Селеста украла. – Голос у меня был странный, плоский. – Это он. Хейл. Ему понравились мои фотографии, и он просто... отдал их ей. Как подарок. Как отдают ненужную вещь.

Камерон молчал.

– Он даже не знал меня, – сказала я. – Он видел меня один раз. В галерее. И даже тогда – я помню, как он на меня посмотрел. Как на собаку, которая гавкнула не вовремя. – Я засмеялась. Смех вышел мерзкий, рваный. – А я полтора года стояла на этих платформах. Полтора года. А он просто взял и...

Голос у меня сломался.

Он сделал шаг. И остановился. Прямо у синей ленты. Носки его ботинок – в сантиметре от линии.

Я видела, как он хочет её перешагнуть. Как напряглись плечи. Как сжались кулаки.

Он не перешагнул.

– Майя, – сказал он.

Я ненавидела, когда он говорил моё имя. Я ненавидела, что от этого становилось легче.

– Не надо, – сказала я.

– Хорошо.

Он вернулся к мольберту. Взял кисть. И ничего больше не сказал. Только поставил пластинку – ту, с дымным голосом, – и включил её тихо, едва слышно, как будто для меня, но так, чтобы я могла сделать вид, что не заметила.

Cigarettes After Sex. «Apocalypse». Я узнала, хотя никогда не слышала, чтобы кто-то ставил это вслух.

* * *

Снег пошёл в восемь вечера.

Сначала просто снег, обычный, декабрьский, крупными мокрыми хлопьями. Потом ветер. Потом в окнах исчезли трубы электростанции. Потом – дома напротив. Потом – фонари.

К десяти за окном не было ничего. Только белое, бешеное, ревущее. Как будто здание оторвали от земли и повесили посреди облака.

Телефон пискнул. Городская служба оповещений. *Метель. Движение транспорта остановлено. Не выходите из дома без крайней необходимости.*

Линдквист прошла по коридорам в половине одиннадцатого и сказала, что все остаются. Что в здании есть генератор, еда в кухне и одеяла в кладовой. Что если кто-то попробует уйти пешком, она лично вызовет полицию.

В одиннадцать отключилось электричество.

Генератор запустился с хрипом где-то в подвале и дал свет только в коридоры – тусклый, жёлтый, аварийный. В мастерских стало темно. Только снег за окном светился сам по себе, синевато-белый, как экран телевизора без сигнала.

Камерон зажёг свечи. Нашёл где-то коробку – толстые, белые, церковные, – и расставил их по своей половине. Пять. Шесть. Семь. Потом подумал и поставил две на линию. Прямо на синюю ленту. Одну у окна, другую у двери.

Свет от них падал на обе стороны.

Я сидела на нижней ступеньке лестницы, закутавшись в шерстяной плед с кровати, и смотрела, как он сидит на ковре у дивана, прислонившись к нему спиной. Без футболки – батареи остывали, но у него на половине стоял масляный обогреватель, и ему было жарко. В отсвете свечей его кожа была золотой. Шрам на плече – белым.

Мне было холодно. Масляный обогреватель стоял на его стороне ленты.

Он заметил, что я дрожу. Встал. Взял обогреватель за ручку, подкатил к ленте. И остановился.

Посмотрел на меня.

– Можно?

Я кивнула.

Он перекатил обогреватель через линию – сам остался на своей стороне – и толкнул ко мне. Обогреватель проехал по полу и остановился у лестницы. Тепло пошло волной.

– Спасибо, – сказала я.

– Не за что.

Он вернулся на ковёр. Сел. Закрыл глаза.

Я смотрела на него. Долго. На его лицо в свете свечей – без насмешки, без маски, усталое, совсем молодое. На руки, лежащие на коленях. Правая – уже без бинта. Шрамы на костяшках, свежие, розовые.

На скетчбук, который лежал рядом с ним на ковре. Раскрытый.

– Что ты рисуешь? – спросила я.

Он открыл глаза. Посмотрел на скетчбук. Потом на меня.

– Правило первое, – сказал он. – Никакой лжи.

– Да.

– Тогда не спрашивай, если не хочешь знать.

Я встала. Плед сполз с плеч. Я подошла к ленте – к самой линии. Остановилась.

Он смотрел на меня снизу вверх. Не двигался.

Я перешагнула.

Синяя лента осталась у меня за спиной. Я стояла на его половине. Ковёр был тёплый от обогревателя, который здесь стоял весь вечер. Пахло скипидаром, воском и им.

Я наклонилась и подняла скетчбук.

Это была я.

На каждой странице. Сначала углём – грубо, быстро, с яростью, – лицо в мокрых прядях, рот, сжатый в нитку. Потом мягче. Профиль на семинаре. Руки на камере. Затылок у окна в столовой. Потом – совсем другое. Я, какой я себя никогда не видела. С закрытыми глазами. С приоткрытыми губами. С лицом, поднятым к свету, – красному свету, красному даже на чёрно-белом листе, потому что он заштриховал его так густо, что бумага почти порвалась.

Я листала. Страница. Ещё. Ещё.

Одиннадцать листов с той первой ночи. Пятьдесят. Сто.

Я перестала считать.

– Ты сказала, что хочешь, чтобы кто-нибудь посмотрел на тебя так же внимательно, – сказал он тихо, снизу. – Вот. Это я смотрел.

Я закрыла скетчбук.

Руки дрожали. Я положила его на ковёр – аккуратно, как кладут что-то, что может разбиться.

– Ты нарушил правило, – сказала я. Голос не слушался.

– Какое?

– Никакого. – Я опустилась на колени. Прямо перед ним. На его половине. – Это я нарушаю.

Он замер.

Я видела, как он перестал дышать. Как расширились зрачки – во всю радужку, так, что серого почти не осталось. Как он вцепился пальцами в собственные колени, будто держал себя.

– Майя, – сказал он хрипло. – Правило номер два.

– Я знаю.

– Ты сама...

– Я знаю. – Я протянула руку. Остановилась в сантиметре от его лица. – Правило номер два – моё. И я могу его отменить. На одну ночь.

Он смотрел на меня. В отсвете свечей его глаза были почти чёрными.

– А утром?

– Утром посмотрим.

Он закрыл глаза. Глубоко, медленно вдохнул. Как перед прыжком в холодную воду.

– Тогда скажи, – прошептал он. – Вслух. Чтобы я знал, что это ты. Не страх. Не злость. Ты.

Я поняла, о чём он. Под аркой я сказала «нет», а имела в виду «да». В лаборатории я сказала «нет», а имела в виду «не уходи». Он помнил. Каждое слово.

– Прикоснись ко мне, Адам, – сказала я.

Впервые его имя. Вслух. Своим голосом.

Он открыл глаза.

* * *

Его ладонь легла мне на щёку – без перчатки. Голая кожа, тёплая, шершавая, в мозолях от кисти. Пахнущая скипидаром и синим пигментом.

Я никогда не чувствовала его руки. Только кожу перчаток. Только холод. А сейчас – его. Настоящего. И у меня так сжалось горло, что я чуть не заплакала.

Он провёл большим пальцем по моей нижней губе. Как тогда, в переулке. Только теперь я видела его глаза.

Он наклонился ко мне. Медленно. Остановился так близко, что наши лбы соприкоснулись, и я чувствовала его дыхание на своих губах – тёплое, неровное. Он не спешил. Просто стоял так, лоб ко лбу, как будто давал мне последний шанс отступить.

Я не отступила.

Он поцеловал меня.

Не так, как я думала. Не жёстко, не жадно, не так, как он стоял надо мной в мастерской, упираясь руками в стол. Медленно. Осторожно. Почти вопросом. Его губы едва коснулись моих – и остановились. Ждали.

Я ответила.

И что-то в нём сломалось.

Он притянул меня к себе одним движением – так, что я оказалась у него на коленях, верхом, и свеча на ленте качнулась и чуть не погасла. Его руки – в моих волосах. Его губы – жёсткие, горячие, голодные. Он целовал меня так, как будто два месяца не дышал и наконец дорвался до воздуха.

Я целовала его в ответ. Злая. Голодная. Я кусала его губы, и он стонал мне в рот, и мне хотелось сделать ему больно за всё – за галерею, за маску, за каждый раз, когда он сидел у меня за спиной и знал, – и мне хотелось, чтобы он никогда не останавливался.

Он стянул с меня свитер. Я подняла руки, помогая. Под свитером была только майка, тонкая, и он смотрел на меня в свете свечей так, что мне стало жарко сильнее, чем от обогревателя.

– Ты красивая, – сказал он хрипло. – Ты знаешь?

– Нет.

– Я тебе покажу.

Он стянул майку. Медленно. Я дрожала – не от холода. Он смотрел на меня, и в его взгляде не было ни насмешки, ни голода. Было что-то другое. Что-то, от чего мне захотелось закрыться руками – и одновременно никогда больше не закрываться.

Он наклонился и поцеловал меня в ключицу. Ниже. В грудь. Его губы сомкнулись на соске, и я выгнулась, вцепившись ему в волосы, и застонала так громко, что испугалась, что услышат в коридоре.

– Пусть слышат, – прошептал он мне в кожу.

Его руки на моей спине. На пояснице. Расстёгивают пуговицу на джинсах. Он уложил меня на ковёр – медленно, бережно, придерживая затылок ладонью. Под спиной – густая, мягкая шерсть, тёплая от обогревателя. Над головой – тени от свечей на потолке, высоком, фабричном, с балками.

Он стянул с меня джинсы. Потом бельё. Медленно. Целуя каждый сантиметр, который открывался.

Я лежала перед ним голая, в свете свечей, посреди заляпанной краской мастерской, и не прятала лицо.

Впервые в жизни я не прятала лицо.

Он стоял надо мной на коленях и смотрел. Долго. Так долго, что мне стало страшно – что он увидит что-то не то, что-то, что ему не понравится, что я снова окажусь той девочкой на лестнице, которую никто не ждал.

– Адам...

– Тихо, – сказал он. – Я запоминаю.

Он наклонился и провёл губами по внутренней стороне моего бедра. Там, где когда-то была его перчатка. Медленно, сантиметр за сантиметром, вверх. Я перестала дышать. Его дыхание – горячее – коснулось самого чувствительного места, и я вздрогнула всем телом.

А потом его губы оказались у меня между ног.

Сначала он просто дышал на меня. Горячо, медленно, так близко, что я чувствовала каждый выдох кожей, – и это было почти невыносимо. Затем провёл языком снизу вверх, по всей длине, раздвигая складки, медленно, как будто пробовал на вкус что-то, чего ждал очень долго.

Я закричала. Не смогла сдержаться.

Он не торопился. Его язык скользил между складками, обводил, изучал, – нежно, почти лениво, то глубже, то едва касаясь, – и каждый раз останавливался в миллиметре от клитора. Не трогал. Обходил кругом. Возвращался. Снова обходил. Я подавалась ему навстречу, пытаясь поймать, и он придерживал мои бёдра ладонями, не давая сдвинуться ни на сантиметр.

– Адам, – выдохнула я. – Пожалуйста.

Он улыбнулся. Я почувствовала эту улыбку – губами, прямо там.

А потом его язык накрыл клитор. Сначала мягко, плоско, всей поверхностью – и меня выгнуло так, что я запрокинула голову. Затем медленными кругами. Всё быстрее и быстрее. Он нашёл ритм – тот самый, от которого у меня темнело в глазах, – и держал его, не сбиваясь, мучительно ровно, пока всё внутри не начало сжиматься в тугую горячую точку.

Его губы сомкнулись вокруг клитора, и он втянул его – осторожно, но так, что я вскрикнула и вцепилась ему в волосы обеими руками. Его пальцы скользнули ниже, к входу. Обвели. Один палец вошёл в меня – медленно, неглубоко, – и согнулся внутри, нажимая куда-то, о существовании чего я не знала, а язык не останавливался ни на секунду.

Его руки держали мои бёдра, не давая сжать колени, и каждое движение отдавалось где-то в позвоночнике, в кончиках пальцев, в горле. Я цеплялась за ворс ковра, за его волосы, за что угодно. Я слышала собственные стоны – громкие, бесстыдные, чужие – и не могла их остановить. Свеча на ленте мигала. Снег за окном ревел.

Он довёл меня до края – и остановился.

Я застонала от отчаяния.

Он поднялся надо мной. Расстегнул джинсы. Я смотрела, как он раздевается в свете свечей – плечи, грудь, живот, узкие бёдра, и он был такой красивый, что больно было смотреть. Он потянулся к куртке, брошенной на спинку дивана, достал из кармана презерватив. Разорвал упаковку зубами.

Я смотрела на него.

– Ты носил это с собой? – Голос сорвался на смешок. – Всё это время?

– Правило первое, – сказал он. – Да.

Я засмеялась. По-настоящему. Впервые за весь вечер. И он тоже улыбнулся – криво, смущённо, совсем по-мальчишески, – и от этой улыбки у меня что-то перевернулось внутри.

Он лёг на меня. Тяжёлый. Тёплый. Его вес прижал меня к ковру, и это было не страшно. Это было как одеяло. Как стена, которая наконец не холодная.

Он упёрся локтями по обе стороны от моей головы. Посмотрел мне в глаза.

– Адам, – сказала я. Голос сорвался. – Подожди.

Он замер мгновенно. Весь. Как будто я дёрнула за невидимую нить.

– Что? Ты передумала? – Он уже отстранялся. – Скажи, и я...

– Нет. – Я схватила его за плечи, удержала. – Нет. Просто... – Я сглотнула. Щёки горели так, что, наверное, было видно даже в темноте. – У меня никого не было. Никогда. Ты первый.

Он смотрел на меня. Долго. Я видела, как что-то медленно меняется в его лице – как будто внутри падали стены, одна за другой, и за ними не оказалось ничего, кроме растерянного, испуганного мальчика.

– Почему ты не сказала?

– Я говорю сейчас.

Он закрыл глаза. Опустил голову и прижался лбом к моему лбу. Его дыхание было тяжёлым, рваным.

– Майя. – Шёпот. – Я не... Если будет больно – скажи. Сразу. Слышишь? Я остановлюсь. В любую секунду.

– Я знаю.

– Обещай.

– Обещаю.

Он поцеловал меня. Медленно, нежно, так, как ещё не целовал. В губы. В уголок рта. В висок, где билась жилка. Как будто извинялся заранее. Как будто благодарил.

– Скажи ещё раз, – прошептал он.

– Адам.

Он начал входить в меня.

Медленно. Так медленно, что я чувствовала каждый миллиметр. Сначала – давление. Тугое, непривычное, распирающее. Я вцепилась ему в спину и задержала дыхание. Он остановился. Ждал. Его руки дрожали по обе стороны от моей головы – я видела, как напряжены мышцы на предплечьях, как он держит себя изо всех сил.

– Дыши, – прошептал он. – Дыши, Майя.

Я выдохнула. И он двинулся дальше.

Боль пришла резко. Острая, жгучая, как будто внутри что-то натянулось и порвалось. Я вскрикнула и впилась ногтями ему в плечи – так, что почувствовала, как под ногтями проступает влажное. Из глаз брызнули слёзы, сами, я не успела их остановить.

Он замер.

Совсем. Не двигался. Не дышал. Я чувствовала его внутри – целиком, глубоко, так глубоко, что казалось, он касается чего-то, до чего никто никогда не дотрагивался, – и слышала, как бешено колотится его сердце у меня над грудью.

– Майя. – Голос у него был сломанный. – Майя, прости. Я сейчас... я выйду...

– Нет. – Я обхватила его ногами, не давая отстраниться. – Не надо. Просто подожди. Не двигайся.

Он не двигался.

Он лежал на мне, внутри меня, неподвижно, и смотрел мне в лицо. Большими пальцами стирал слёзы с моих щёк – одну, другую, – так же, как тогда, в красном свете лаборатории. Только теперь без перчаток. Теперь я видела его глаза. Мокрые. Блестящие в свете свечей.

Он тоже плакал.

Я никогда не думала, что увижу, как плачет Адам Камерон.

– Ты как? – прошептал он.

Боль медленно отступала. Не уходила – отступала, как вода отходит от берега, оставляя после себя что-то другое. Тепло. Тяжесть. Странное, незнакомое чувство наполненности – как будто во мне всю жизнь было пустое место, и только сейчас я поняла, какого оно размера.

– Лучше, – сказала я. И это была правда.

– Точно?

Я подняла руку и коснулась его лица. Мокрой щеки. Шрама на скуле, которого я раньше не замечала. Губ.

– Адам, – сказала я. – Всё хорошо. Я хочу. Тебя. Сейчас.

Он закрыл глаза. Выдохнул – долго, медленно, как будто отпускал что-то, что держал очень долго.

И начал двигаться.

Сначала медленно. Почти неподвижно. Глубоко. Он смотрел мне в лицо, не отрываясь, – и я смотрела на него. Без маски. Без темноты. Без пустых прорезей. Его глаза были прямо передо мной, серые, тёмные, мокрые, и в них было всё, чего он никогда не говорил. Всё, что он прятал за «Беннет» и «какая честь». Всё, что он рисовал на ста листах.

Постепенно – быстрее.

Я подавалась ему навстречу. Обвила его ногами. Его дыхание – рваное, хриплое – у меня в волосах. Его губы – на моей шее, на плече, на губах. Пламя свечей металось. Свеча на ленте погасла, и ни один из нас не заметил.

– Майя, – шептал он. – Майя. Майя.

Как будто учился произносить. Как будто два месяца носил это слово во рту и только теперь разрешил себе его сказать.

Волна поднималась во мне медленно, тяжело, из самой глубины, – не так, как под аркой, не так, как в лаборатории. Тогда это было падение с края. Сейчас – как будто меня поднимало. Выше. Ещё выше. Его рука скользнула между нами, нашла меня, и я сорвалась.

Я кричала его имя. Я не знаю, слышали ли нас в коридоре. Мне было всё равно.

Он догнал меня через несколько секунд. Вжался в меня, уткнулся лицом мне в шею и застонал – низко, долго, как будто из него выходило что-то, что он держал в себе годами.

Мы лежали на ковре, сплетённые, мокрые, тяжело дышащие. Свечи догорали. Обогреватель тикал. За окном ревела метель, и белое билось в стекло, как будто хотело войти.

Он не отпускал меня. Лежал, прижавшись лбом к моему плечу, и я чувствовала, как колотится его сердце – быстро, неровно, совсем не так, как под аркой.

Тогда оно билось ровно. Слишком ровно.

Теперь – нет.

– Ты дрожишь, – сказала я.

– Знаю, – прошептал он мне в плечо. – Не смотри.

Я не стала смотреть. Просто положила ладонь ему на затылок и держала. Как держал он меня – под аркой, в лаборатории, когда меня трясло.

Когда дыхание у нас обоих выровнялось, он поднялся и подхватил меня на руки. Я не сопротивлялась – только обвила его за шею и уткнулась лицом ему в плечо. Он понёс меня через мастерскую. Через синюю ленту. По узкой металлической лестнице наверх.

Уложил в кровать, в прохладное белое бельё. Укрыл пледом. Лёг рядом и притянул меня к себе.

Мы так и уснули. Наверху. Под одним пледом.

Синяя лента осталась внизу, и свеча на ней давно погасла.

* * *

Утром снег кончился.

Я проснулась одна. Плед был подоткнут у меня под подбородком – аккуратно, со всех сторон, как укрывают детей. Антресоль была залита белым светом, холодным и резким, как вспышка.

Внизу, у мольберта, стоял он. Спиной ко мне. В джинсах и свитере. Растирал синий.

Я села. Нашла глазами свою одежду – она была сложена. Аккуратно, стопкой, на ступеньках лестницы.

Он не обернулся.

Я оделась. Медленно. Спустилась по лестнице. Он растирал синий. Скрежет стекла о стекло – ровный, размеренный, как метроном.

Я осталась на своей половине. Села на нижнюю ступеньку.

– Доброе утро, – сказал он, не оборачиваясь.

– Доброе утро, – сказала я.

И больше мы ничего не сказали. Ни слова. Ни про ночь, ни про скетчбук, ни про то, как он шептал моё имя.

Он растирал синий. Я разбирала мокрые отпечатки.

Синяя лента лежала между нами. Ровная, как линия горизонта.

Только теперь мы оба знали, что её можно перешагнуть.

Глава 10. Адам

Полночь

Я проснулся в пять, раньше неё.

Свечи внизу давно догорели. Обогреватель тикал, остывая. За окном стояла та особенная тишина, какая бывает только после метели, когда снег лёг на город толстым слоем и съел все звуки. Она спала у меня на плече, лицом в мою шею, одна рука на моей груди, прямо над сердцем. Ресницы вздрагивали. Ей что-то снилось.

Я лежал и не двигался. Боялся дышать.

Я двадцать один год просыпался один. В Милуоки, в комнате с окном на пожарную лестницу. В общежитии. В квартире над пекарней. Я привык к тому, что утром рядом никого нет, и думал, что так и должно быть. Что это нормально. Что люди просыпаются вместе только в кино.

А теперь рядом со мной спала она, тёплая, тяжёлая, с ниткой засохшей слюны в уголке рта, и я смотрел на неё и думал: *я не знаю, что с этим делать*.

Я умел ждать. Умел врать. Умел следить, растирать ультрамарин, бить людей лицом о стену. Я не умел просыпаться рядом с кем-то, кто мне дорог.

Через час она начнёт просыпаться. Откроет глаза. Посмотрит на меня. И скажет: *одна ночь*. Она так и сказала вчера. Правило номер два – её, и она отменила его на одну ночь.

Я не хотел этого слышать.

Поэтому я трус. Поэтому я осторожно, по сантиметру, выбрался из-под её руки. Подоткнул ей плед под подбородок. Спустился по металлической лестнице, собрал её одежду, разбросанную по ковру внизу, и сложил стопкой на ступеньках. Оделся. Встал к мольберту.

И когда она проснулась, спустилась вниз и посмотрела на мою спину, я сказал: «Доброе утро». Не оборачиваясь.

Если не смотреть на неё, она не сможет сказать мне в лицо, что всё кончено.

* * *

Следующие четыре дня мы жили по разные стороны синей ленты.

Как раньше. И совсем не как раньше.

Она спала наверху, на антресоли. Я – внизу, на кожаном диване, на своей половине. Мы работали. Молчали. Говорили о деле: о Селесте, о ноутбуке, о двери в архив с красным огоньком над ней. О ночи – ни слова.

Но на второе утро я нашёл на ленте чашку кофе.

Ровно посередине. Ни на её стороне, ни на моей. Чёрный, без сахара. Она стояла у окна спиной ко мне и делала вид, что разглядывает отпечатки на свет.

Я выпил кофе. Вымыл чашку. Поставил её обратно на ленту.

На следующее утро чашка снова стояла там.

На третье утро я поставил рядом с ней маленький квадратный снимок – её, старым «Полароидом», который я оставил у её двери. Она тогда так и не сделала двенадцатый снимок. Я нашёл кассету у неё в рюкзаке и сделал его сам, ночью, пока она спала: её рука на подушке, пальцы чуть согнуты, как будто держат невидимую камеру.

Она нашла его. Долго смотрела. Потом убрала в карман.

Ничего не сказала.

Это был наш язык. Чашки и снимки на синей ленте. Мы оба боялись говорить словами.

* * *

Селеста пришла на пятый день, в разгар дня, без стука.

– Камерон. – Она закрыла за собой дверь и прислонилась к ней спиной. Белый свитер, узкие джинсы, волосы распущены. В руках две чашки. – Мне нужен совет по композиции.

– Линдквист в конце коридора.

– Линдквисту шестьдесят, и она пахнет нафталином. – Она улыбнулась и пошла через мастерскую. Остановилась у ленты. Посмотрела вниз. Подняла бровь. – Это что?

– Граница.

– Как мило. – Она перешагнула ленту – легко, не задумываясь, как переступают порог в собственном доме. Как будто никаких границ здесь не было и быть не могло. – Как в детском лагере. Это твоя идея, Беннет?

Майя сидела у окна, на полу, среди своих отпечатков. Она не подняла головы.

– Моя, – сказал я.

– Ну конечно. – Селеста поставила одну чашку передо мной, на край стола. Вторую оставила себе. Села на угол стола, рядом с моей стеклянной плитой, скрестила ноги. Близко. Я чувствовал её духи: холодные, дорогие, ни на что не похожие. – Я принесла тебе кофе. Овсяный латте с корицей. Мне сказали, ты любишь.

– Кто сказал?

– Никто. – Она засмеялась. – Я угадала. Не угадала?

– Не угадала. Я пью чёрный.

– Учту.

Она наклонилась и посмотрела на мой холст. Повёрнутый к стене – она не стала его поворачивать, просто заглянула сбоку, на кромку.

– Виктор говорит, ты пишешь портреты, – сказала она. – Говорит, у тебя рука, как у Сарджента. Я сказала, что хочу позировать.

– Я не пишу на заказ.

– А я не заказываю. – Она провела пальцем по краю стеклянной плиты, собирая синюю пыль. Посмотрела на палец. – Я предлагаю.

За спиной у меня было тихо. Слишком тихо. Я знал, что Майя слышит каждое слово. Я знал, что она не поднимет головы, даже если здание начнёт гореть.

– Нет, – сказал я.

Селеста посмотрела на меня. Долго. С интересом. Потом слизнула синюю пыль с пальца – медленно, глядя мне в глаза.

– Ультрамарин ядовит, – сказал я.

– Я знаю. – Она улыбнулась. – Мне нравятся ядовитые вещи.

Она соскользнула со стола. Пошла к двери. Остановилась у ленты, обернулась – не ко мне. К Майе.

– Не волнуйся, Беннет. Я его не съем. – Пауза. – Сразу.

Дверь закрылась.

Майя не подняла головы. Перевернула отпечаток. Посмотрела на свет. Положила.

Я взял чашку с овсяным латте, вылил в раковину и долго мыл руки, хотя на них не было ничего, кроме синего.

* * *

Хейл приехал в резиденцию тридцатого декабря.

Без предупреждения, как приезжают хозяева. В тёмном пальто, без шарфа, с водителем, который ждал у входа в машине с работающим мотором. Обошёл мастерские. Говорил с каждым. Хвалил. Смеялся. Положил руку Селесте на плечо – по-отечески, тепло. Мне – пожал.

Третий раз. Снова ничего.

Потом позвал меня в библиотеку на первом этаже. Закрыл дверь. Налил себе виски из графина, который Аннабель, видимо, держала здесь специально для него. Мне не предложил.

– Как мисс Беннет?

– Работает. Печатает старое. Ни с кем не говорит.

– Ни с кем?

– Со мной – по необходимости. Мы делим мастерскую.

– Я знаю. – Он отпил. – Линдквист сказала, вы провели по полу ленту. – Улыбнулся. – Очень по-джентльменски. Или очень по-хитрому. Я пока не решил.

Я ничего не ответил.

Хейл подошёл к окну. Снаружи лежал снег, и в снегу ползли машины, медленно, осторожно, как старики по льду.

– Мисс Уитмор, – сказал он, не оборачиваясь, – дочь Ричарда Уитмора. Мы с Ричардом двадцать лет строим этот город. Её мать была моей... хорошей подругой. – Он помолчал. – Селеста к вам неравнодушна, мистер Камерон. Я это вижу. И, если честно, я бы этому не мешал.

Я смотрел ему в спину.

– Подумайте сами, – продолжил он. – Её фамилия открывает любые двери в этом городе. Галереи, коллекционеры, советы директоров – везде её знают, везде ей рады. А у вас есть то, чего у неё никогда не будет: талант. Настоящий, в руках. – Он помолчал. – Вместе вы были бы очень сильной парой. Она даст вам имя и связи, вы ей – работы, которыми можно гордиться. Так в нашем мире и строится будущее.

Он обернулся.

– Подумайте.

Он говорил это так, как говорят о выгодной сделке. О слиянии компаний. И я вдруг очень ясно представил, как двадцать два года назад он стоял так же у какого-то окна и думал про мою маму. И решил, что сделка невыгодная.

– Я подумаю, – сказал я.

– Подумайте. – Он поставил стакан. – Завтра Новый год. Я приеду к полуночи. Хочу поднять бокал за своих двенадцать стипендиатов. За тех, кого я выбрал.

Своих.

Он вышел. Я остался в библиотеке, среди книг, которые никто не читал, и смотрел на стакан, на котором остался отпечаток его губ.

У меня его губы. Мама говорит. Я никогда не верил.

* * *

Тридцать первого декабря в резиденции впервые зажгли камин.

Большой зал на первом этаже украсили так, как украшают отели: белые гирлянды, живые ели в кадках, длинный стол с серебром и шампанским. Кураторы пришли в тёмном. Двенадцать участников – в лучшем, что у кого было. Селеста – в серебряном платье, тонком, как фольга, которое ловило свет от камина и отдавало его обратно, как зеркало.

Майя пришла в чёрном.

В том самом. Единственном. В котором она стояла под аркой.

Я увидел её от двери и забыл, что держу бокал. Она стояла у камина, одна, с камерой на шее – конечно, с камерой, – и огонь ложился на её скулы оранжевым, тёплым, и она была совсем не похожа на девочку в мокрых кедах, которую выводили из галереи. Она была похожа на кого-то, кто наконец пришёл туда, где его ждали.

Она подняла глаза. Увидела меня. И не отвернулась.

Секунда. Две. Через весь зал.

Потом Селеста взяла меня под руку.

– Ты сегодня красивый, – сказала она. – Тебе идёт чёрное.

– Спасибо.

– Пойдём, Виктор хочет нас видеть. Вместе.

Без четверти двенадцать Хейл стоял у камина с бокалом. Кураторы вокруг. Селеста справа от него, я слева – она поставила меня туда, держа под руку, как ставят фигуры на доске. Хейл говорил о новом поколении. О смелости смотреть. О том, что фонд гордится каждым из нас.

Я не слушал. Я смотрел на Майю.

Она стояла у окна, в стороне от всех. Не пила. Держала камеру у груди обеими руками.

Без пяти двенадцать позвонила мама. Я вышел в коридор.

– С Новым годом, мам.

– С Новым годом, Адам. – Шум, голоса, писк аппаратуры. Она на смене. Конечно, на смене. Она всегда берёт ночную смену в Новый год, потому что за неё платят двойной тариф. – Ты где? Там шумно.

– На вечеринке.

– Он там?

Я молчал.

– Адам.

– Там.

Долгая пауза. Где-то у неё за спиной кто-то позвал: «Сестра Камерон, в четвёртую».

– Мне нужно идти, – сказала она. – Будь... – Она запнулась. – Просто будь собой, ладно? Не им. Собой.

Она повесила трубку.

Я вернулся в зал, когда начался отсчёт.

Десять.

Все столпились у камина. Бокалы вверх. Селеста нашла меня глазами и потянула к себе за руку.

Девять. Восемь.

Хейл стоял рядом. Смотрел на нас. Улыбался.

Семь. Шесть. Пять.

Я искал глазами Майю. Она стояла у окна. Смотрела на меня.

Четыре. Три.

Селеста взяла меня за лацкан пиджака.

Два.

Притянула к себе.

Один.

И поцеловала.

* * *

Губы у неё были холодные, липкие от помады, со вкусом шампанского и мяты. Она целовала уверенно, по-хозяйски, как будто имела на это право. Как будто это уже было решено – не ею, не мной, кем-то выше.

Я замер.

Над её плечом я видел лицо Хейла. Он смотрел на нас. И улыбался – той самой настоящей улыбкой, без лака, которую я видел у него один раз в кабинете. Он поднял бокал. На полсантиметра. Мне.

Хорошо, мистер Камерон. Очень хорошо.

Раз.

Я считал. Я поймал себя на том, что считаю.

Два.

Сколько нужно, чтобы он поверил. Сколько нужно, чтобы не выглядеть так, будто я отталкиваю его выбор. Его подарок.

Три.

Я отступил.

Селеста открыла глаза. Улыбнулась. Провела пальцем по моей нижней губе, стирая свою помаду.

– С Новым годом, Камерон, – сказала она тихо. И наклонилась ближе, к самому уху, так, чтобы слышал только я. – Знаешь, вы с ним даже стоите одинаково. Рука в кармане. Подбородок вверх. Прямо как отец с сыном.

Меня как будто окатили ледяной водой.

Она отстранилась и рассмеялась – легко, звонко.

– Шучу. Не смотри так.

Я обернулся к окну.

Майи там не было.

Только камера на подоконнике. Её камера. Она никогда её не оставляла. Ни разу. Ни на секунду.

* * *

Я поднимался по лестнице через две ступеньки. На третьем этаже было темно – электричество так и не починили до конца, и в коридорах горел только аварийный свет. За окнами начинался салют. Над Пилсеном рвались огни: красные, зелёные, золотые, – и каждый раз коридор вспыхивал и гас, вспыхивал и гас.

Дверь в мастерскую была открыта.

Она стояла на своей половине и складывала вещи в рюкзак. Быстро, рывками, не глядя. Свитер. Плёнку. Коробку с отпечатками.

– Что ты делаешь?

– Сплю сегодня в библиотеке.

– Майя...

– Не надо. – Она запихнула в рюкзак скомканную пижаму. Застегнула. Молния заела, и она дёрнула её так, что та чуть не оторвалась. – Не надо мне ничего объяснять.

– Я хочу объяснить.

Она выпрямилась. Повернулась ко мне. Салют за окном вспыхнул красным, и я увидел её лицо – бледное, с сухими глазами. Губы сжаты в нитку. Такой я её видел в галерее. В первый вечер. Когда она не опускала глаз.

– Ты считал, – сказала она.

Я молчал.

– Я видела. Ты стоял и считал. Сколько секунд нужно, чтобы он поверил. – Она шагнула ко мне. До ленты. – Сколько?

Правило первое. Никакой лжи.

– Три, – сказал я.

– Три. – Она засмеялась. Смех был мерзкий, рваный, такой, каким она смеялась, когда нашла письмо с подписью «В. Х.». – Три секунды. Мне ты давал уйти каждый раз. Под аркой. В лаборатории. Каждый раз. А от неё ты не смог отойти три секунды.

– Он смотрел.

– Он *всегда* смотрит! – Её голос сорвался. Эхо ударилось о высокий потолок. – Он смотрел, когда ты смеялся надо мной в галерее. Он смотрел, когда ты сказал мне, что меня никто не ждал. Ты всё делаешь так, чтобы он смотрел. Почему? Почему тебе так важно, что он думает? Кто он тебе?

Тишина.

Салют за окном – золотой, долгий, с хвостами, которые медленно оседали на крыши.

Я смотрел на неё и знал, что могу сказать. Три слова. *Он мой отец.* И всё, что она про меня думала, – галерея, «сэр», три секунды, – всё это перевернётся и встанет на место.

И я не мог. Двадцать один год эти слова лежали у меня во рту, как камень, и я ни разу никому их не сказал. Ни одному человеку. Если я скажу их сейчас – они станут правдой. Настоящей. Той, с которой придётся жить.

– Не могу сказать, – сказал я.

Она смотрела на меня. Долго.

– Ты понимаешь, как это звучит?

– Понимаю.

– Правило первое было не для того, чтобы ты за ним прятался.

– Я знаю.

– Тогда скажи.

– Не могу.

Она отвернулась. Подхватила рюкзак. Пошла к двери.

– Правило номер два снова действует, – сказала она, не оборачиваясь. – С этой минуты.

– Хорошо.

Она взялась за ручку двери.

– Майя.

Остановилась. Не обернулась.

– Я не целовал её, – сказал я. – Это она меня поцеловала. Да, я стоял и не отталкивал, и меня это не оправдывает. Но для меня это не одно и то же. И я хочу, чтобы ты знала разницу.

Она молчала. Спина под чёрным платьем – напряжённая, неподвижная.

– И пока она это делала, – сказал я тише, – я думал не о ней. Я думал о тебе. О том, как ты написала мне про небо над озером. «Как внутри ракушки, только холодное». Я до сих пор помню каждое слово, которое ты мне писала.

Её рука на дверной ручке дрогнула.

Она написала мне это в ноябре, после рассвета на пирсе у Монро-Харбор. Анониму. Человеку без лица. Она не знала, что этот человек запомнит.

Она стояла так долго, что салют за окном успел отгреметь и начаться снова. Потом медленно опустила рюкзак на пол.

Обернулась.

И пошла ко мне. Через свою половину. К ленте.

Остановилась на самой линии.

– Я всё ещё злюсь, – сказала она.

– Знаю.

– Очень злюсь.

– Знаю.

Она перешагнула ленту. Подошла вплотную. Подняла руку – и большим пальцем, медленно, с нажимом, провела по моей нижней губе. Потом ещё раз. Стирая. Там, где оставались следы бледно-розовой помады.

Посмотрела на свой палец. На розовое пятно.

– Сотри её, – сказала она. – Совсем.

– Как?

Она поцеловала меня.

* * *

Жёстко. Зло. Она вцепилась мне в волосы на затылке и потянула вниз, к себе, и целовала так, будто хотела выжечь всё, что там было до неё. Кусала мою нижнюю губу – по-настоящему, до боли, – и я почувствовал вкус крови.

– Правило номер два, – выдохнул я ей в губы.

– Я его отменяю.

– Ты только что его вернула.

– А теперь отменяю. – Она отстранилась на сантиметр. В её глазах плясали отсветы салюта – красный, зелёный, золотой. – Это моё правило. Я буду отменять его столько раз, сколько захочу.

Она начала расстёгивать мою рубашку. Рывками, не попадая пальцами в петли. Злая. Торопливая.

Я перехватил её запястья.

Она замерла. Подняла на меня глаза.

– Скажи, – попросил я.

Она поняла.

– Я хочу тебя, – сказала она. Ровно. Глядя мне в лицо. – Злая. Обиженная. Не простившая. Хочу. Сейчас.

Я не отпустил её запястья.

– Тогда теперь моя очередь, – сказал я.

И развернул её спиной к окну.

Она ахнула, когда лопатки коснулись холодного стекла. За её спиной, за стеклом, над крышами Пилсена рвался салют – и каждая вспышка обводила её контур светом, как будто кто-то снова и снова её фотографировал. Я завёл её руки за голову и прижал запястья к стеклу одной ладонью. Крепко. Так, чтобы она почувствовала, что не вырвется.

Она не пыталась.

Я смотрел на неё. Растрёпанную, тяжело дышащую, с припухшими от поцелуев губами, с моей кровью на нижней губе. Злую. Мою.

– Ты ушла, – сказал я тихо. – Оставила камеру на подоконнике и ушла. Ты никогда её не оставляешь.

– Ты стоял с ней три секунды.

– Знаю. – Я наклонился к её шее. – Я больше не дам тебе повода считать.

Я прижался губами к месту под её ухом, где бился пульс. Потом ниже. Потом прикусил кожу у основания шеи – не нежно, по-настоящему, – и она застонала и выгнулась мне навстречу, прижимаясь всем телом.

Свободной рукой я нашёл молнию у неё на спине. Потянул вниз. Медленно. Зубец за зубцом. Чёрное платье разошлось, сползло с плеч, и я стянул его ниже, до талии, до бёдер, пока оно не упало к её ногам.

Она стояла передо мной в одном тонком чёрном белье, прижатая к ледяному стеклу, с руками над головой в моей ладони. Вся в мурашках. От холода. И не только.

– Холодно? – спросил я.

– Да.

– Хорошо.

Я провёл ладонью по её животу. Вверх. По рёбрам. Накрыл грудь через тонкое кружево и сжал – сильно, жадно, – и она закусила губу, чтобы не закричать. Я сдвинул кружево в сторону. Наклонился. Взял её сосок в рот – и прикусил. Она вскрикнула, рванулась, и я почувствовал, как напряглись её руки в моей ладони.

Я поднял голову.

– Больно?

Она смотрела на меня мутными, тёмными глазами.

– Нет, – выдохнула она. – Не останавливайся.

Я поцеловал то место, которое только что укусил. Медленно. Нежно. Так, будто извинялся. И сразу снова прикусил – и она застонала так, что этот стон, кажется, был слышен на первом этаже, сквозь музыку.

Я отпустил её запястья.

Она не опустила руки. Так и стояла, прижавшись затылком к стеклу, с руками над головой, и ждала.

Я подхватил её под бёдра и поднял. Она обвила меня ногами, вцепилась в плечи. Я понёс её через мастерскую – к дивану, к своей половине, где спал последние четыре ночи, – и уложил на холодную кожу.

Навис над ней. Одной рукой снова поймал оба её запястья и прижал к подлокотнику над её головой.

– Не двигай руками, – сказал я.

Она посмотрела на меня. Долго. Я видел, как в ней поднимается привычное упрямство – то самое, с которым она не опускала глаз в галерее.

– А если пошевелю?

– Тогда я остановлюсь.

Она поняла, что я не шучу. Её зрачки расширились.

– Не пошевелю, – прошептала она.

Я отпустил её запястья. Она оставила их там, на подлокотнике, сцепив пальцы.

Я стянул с неё бельё. Медленно. По бёдрам, по коленям, по щиколоткам. Развёл её колени ладонями. Она лежала передо мной голая, в разноцветных вспышках салюта, на тёмной коже дивана, и дрожала.

Я опустился между её бёдер.

Не нежно. Не так, как вчера, – медленно, изучая. Сразу. Жадно. Я накрыл её ртом целиком и провёл языком снизу вверх с таким нажимом, что она выгнулась дугой и вскрикнула. Я держал её бёдра, вдавливая пальцы в кожу, не давая ей сдвинуться. Нашёл клитор. Втянул губами. Отпустил. Снова. Ещё. Быстро, жёстко, в одном ритме, не давая ей ни секунды передышки.

Её руки дёрнулись на подлокотнике.

Я остановился.

– Адам! – Почти крик. – Нет, пожалуйста, я не...

– Руки.

Она сжала пальцы на подлокотнике так, что побелели костяшки.

– Хорошо, – выдохнула она. – Хорошо. Пожалуйста.

Я вернулся к ней. Медленнее. Мягче. Провёл языком по складкам, осторожно, почти лениво – и её всю затрясло. Вошёл в неё двумя пальцами – медленно, бережно, помня, что ещё вчера ей было больно. Она застонала и подалась навстречу. Я двигал пальцами внутри, медленно, глубоко, а языком снова нашёл клитор – и на этот раз не останавливался.

Она кричала. Её бёдра дрожали у меня под ладонями. Руки оставались над головой, вцепившись в подлокотник, – она держала их там из последних сил.

Я довёл её до самого края. Почувствовал, как она начинает сжиматься вокруг моих пальцев.

И отстранился.

Она открыла глаза. В них стояли слёзы.

– Пожалуйста... – Голос у неё сорвался. – Адам, пожалуйста...

– Не так, – сказал я. – Со мной.

Я встал. Сбросил рубашку. Расстегнул ремень, джинсы. Она смотрела на меня снизу вверх, с руками над головой, и в её глазах было то, от чего у меня самого задрожали руки. Я достал презерватив из кармана джинсов. Надел.

Лёг на неё. Тяжело. Всем весом. Снова поймал её запястья и прижал к подлокотнику.

– Тебе ещё больно после вчера? – спросил я. Тихо. Ей в губы.

– Немного.

– Если будет больно – скажи.

– Скажу.

Я вошёл в неё. Медленно. До конца. Она выдохнула, долго, дрожа, и я замер, давая ей привыкнуть.

– Смотри на меня, – сказал я.

Она открыла глаза.

Я начал двигаться. Сначала медленно. Глубоко. Глядя ей в лицо. Ловя каждое движение её бровей, каждый вдох. Когда она закусила губу – остановился. Когда выдохнула и подалась навстречу – продолжил.

– Сильнее, – прошептала она.

Я посмотрел на неё.

– Сильнее, Адам. Я не стеклянная.

Я перехватил её запястья крепче. Другой рукой взял её под бедро, закинул её ногу себе на плечо – и вошёл резко, глубоко, так, что она закричала.

И дальше я не сдерживался.

Диван скрипел. Кожа под её спиной стала горячей и скользкой. Я вбивался в неё жёстко, ритмично, держа её запястья над головой, и она кричала моё имя, и каждый толчок отзывался в ней, я видел это по её лицу, по тому, как она выгибается навстречу, как её свободная нога обвивает мою поясницу и тянет ближе, глубже.

Салют за окном грохотал. Отсветы бежали по её телу – красный, зелёный, золотой.

– Смотри на меня, – повторил я хрипло.

Она смотрела. Не отрываясь. Мокрые глаза. Приоткрытые губы.

Я отпустил её запястья. Скользнул рукой вниз, между нами. Нашёл клитор.

– Теперь можно, – сказал я. – Держись за меня.

Она вцепилась мне в плечи обеими руками. Ногтями. До крови.

Последний залп салюта рванул прямо над нашим окном – белый, ослепительный, как вспышка её камеры на платформе.

И она сорвалась.

Я смотрел, как это происходит. Как её лицо ломается – не от боли, от чего-то другого. Как она выгибается подо мной. Как сжимается вокруг меня – волнами, одна за другой, так сильно, что у меня потемнело в глазах. Она кричала моё имя, и крик тонул в грохоте над крышами.

Я кончил через несколько секунд. Вжался в неё до конца, уткнулся лицом ей в шею, туда, где оставил след от зубов, и застонал её имя ей в кожу.

* * *

Мы долго лежали, не двигаясь.

Я чувствовал, как колотится её сердце подо мной. Как постепенно выравнивается дыхание. За окном стихало. Последние огни медленно гасли над Пилсеном.

Я приподнялся на локтях. Посмотрел на неё.

На её запястьях проступали красные полосы. От моих пальцев. На шее – след от зубов.

Я взял её руку. Медленно поднёс к губам. Поцеловал запястье. Там, где держал. Сначала одно. Потом второе.

– Прости, – сказал я тихо.

Она смотрела на меня. Потом подняла другую руку и провела ладонью по моей щеке.

– Не за что, – сказала она.

Я засмеялся. Сам не ожидал. Тихо, хрипло, ей в ладонь.

– С Новым годом, – прошептала она.

– С Новым годом, Беннет.

Она укусила меня за палец. Несильно.

– Майя, – поправил я.

– То-то же.

Я поднялся. Подхватил её на руки – она не сопротивлялась, только обвила меня руками за шею и уткнулась лицом в плечо. Понёс через мастерскую. Через синюю ленту. По узкой металлической лестнице наверх, на антресоль.

Уложил её в кровать. В белое бельё. Укрыл пледом. Лёг рядом.

Она уснула почти сразу. На моей груди. Положив ладонь мне на сердце.

* * *

Я не спал.

Я лежал и смотрел в потолок, совсем низкий здесь, на антресоли, со старыми балками. Слушал, как она дышит. Чувствовал её сердце – ровное, медленное, спокойное.

Вы с ним даже стоите одинаково. Прямо как отец с сыном.

Шучу.

Селеста никогда не шутит. Я это знал. Она говорит то, что думает, и смеётся, чтобы ты не успел понять, что она это думает всерьёз.

Я осторожно выбрался из-под Майиной руки. Она не проснулась. Только нахмурилась во сне и подтянула плед к подбородку.

Я спустился вниз. Подошёл к мольберту – тому, повёрнутому к стене. Где было её лицо в красном свете, с закрытыми глазами.

Снял холст. Поставил его на пол, лицом к стене.

Взял новый. Чистый. Белый. Негрунтованный.

И начал грунтовать.

* * *

К рассвету грунт высох.

Небо за окном было серым, потом бледно-жёлтым, потом стало таким, какому я не знал названия. Первое утро года. Город внизу спал под снегом, белый, тихий, ничейный.

Я поднял на антресоль маленький этюдник и холст. Сел на пол у кровати.

Я писал её спящей. Сначала. Быстро, широкой кистью, подмалёвок – тени, пятна, пропорции. Изгиб плеча под пледом. Руку на подушке. Волосы, рассыпанные по белому.

Потом она открыла глаза.

Я замер с кистью в руке. Она лежала и смотрела на меня. Не говорила ничего. Просто смотрела – сонно, спокойно, без защиты.

– Не двигайся, – попросил я.

– Ты меня пишешь?

– Да.

– Не надо. – Она потянула плед выше. – Я страшная по утрам.

– Не двигайся, Майя.

Она перестала тянуть плед. Лежала. Смотрела на меня.

Я писал её глаза.

Не закрытые. Не в красном свете. Не какой я её себе представлял в темноте, ночами, над листами. Открытые. Серо-карие, с жёлтой крапинкой у левого зрачка, которую я раньше никогда не замечал, потому что никогда не смотрел так близко при дневном свете. Чуть припухшие веки. След от подушки на щеке.

– У меня нос кривой, – сказала она.

– Знаю.

– Ты должен был сказать, что не кривой.

– Правило первое. – Я смешал на палитре охру с белым. – Он кривой. Чуть-чуть влево. Это мой любимый кусок твоего лица.

Она засмеялась. И я поймал этот момент – тот, между вдохом и выдохом, когда человек перестаёт притворяться, – и вписал его в уголки губ.

Она вдруг замолчала. Смотрела, как я работаю. Как двигается кисть.

– Можно посмотреть? – спросила она тихо.

– Когда закончу.

– Когда ты закончишь?

Я посмотрел на холст. На её лицо, которое проступало на белом грунте медленно, слой за слоем, как фотография в проявителе.

– Не знаю, – сказал я честно. – Может быть, никогда.

Она долго смотрела на меня. Потом снова закрыла глаза и уткнулась лицом в подушку.

Через пять минут она снова спала.

Я положил кисть.

Телефон в кармане джинсов коротко завибрировал. Я достал его. На экране было одно сообщение.

Селеста: *С Новым годом, Камерон. Красиво смотришь на неё, когда думаешь, что никто не видит. Интересно, Виктор знает?*

Я смотрел на эти слова, пока экран не погас.

Потом посмотрел на Майю. Она спала, подложив ладонь под щёку, – маленькая, тёплая, в моей кровати, под белым пледом. На запястье, лежащем поверх пледа, всё ещё виднелся бледный след от моих пальцев.

Потом – на холст. На её открытые глаза.

Впервые за двадцать один год мне было что терять.

Глава 11. Майя

Архив

Первое утро года пахло скипидаром и холодным кофе.

Я проснулась второй раз ближе к полудню. Антресоль была залита белым светом, плед сбился в ногах, а у кровати, на полу, стоял этюдник. Холст был повёрнут к стене. Как всё, что он пишет.

Его внизу не было. Я слышала, как в коридоре кто-то смеётся, как хлопают двери, как Линдквист командует своим сержантским голосом, что бранч в гостиной через двадцать минут и опоздавшим достанется холодная яичница.

Я лежала и смотрела на изнанку холста. Серую, грубую, с карандашной надписью в углу: *1.01*. Ни имени. Ни названия.

Мне хотелось повернуть его. Так сильно, что пальцы сами потянулись к подрамнику.

Я убрала руку.

Когда закончу, сказал он. *Может быть, никогда.*

Ладно. Я умею ждать. Я полтора года ждала солнце на западной стороне платформы.

Я села, натянула его свитер, который валялся на полу, – он был мне до середины бёдер и пах им, – и только тогда заметила запястья. Бледно-красные полосы почти сошли, остались две тени, как следы от браслетов, которые сняли. Я провела по ним пальцем. Не больно. Совсем не больно.

Я думала, мне будет стыдно. Утром, при свете. Я ждала этого стыда, как ждут похмелья.

Его не было.

Было другое. Тихое, тёплое, тяжёлое, как кошка, которая устроилась на груди и не собирается уходить.

* * *

Он вернулся с двумя кружками. Чёрный кофе себе, чай с молоком мне. Поставил мою на ступеньку лестницы, ровно на синюю ленту, по привычке. Потом посмотрел на ленту. Потом на меня. И переставил кружку на мою сторону.

– Это что, – спросила я, – капитуляция?

– Перемирие.

Он сел на нижнюю ступеньку, спиной ко мне. Я сидела на третьей сверху, обхватив колени, и смотрела на его затылок. Волосы торчали, как всегда. На шее, под воротом футболки, краснели четыре полоски. Мои ногти. Я вспомнила, как это было, и уши у меня загорелись.

– Ты так и не спал, – сказала я.

– Немного спал.

– Правило первое.

Он коротко выдохнул. Почти смешок.

– Не спал.

Он держал кружку обеими руками и не пил. Телефон лежал рядом с ним на ступеньке экраном вниз. Я заметила, что он смотрит на него. Не трогает. Просто смотрит, как на собаку, которая может укусить.

Что-то случилось. Ночью, пока я спала. Я поняла это так же, как понимаю, когда у человека в вагоне вот-вот кончится терпение и он начнёт плакать: по плечам. У него были каменные плечи.

Я хотела спросить. Открыла рот.

И закрыла.

Вчера я уже спросила. *Кто он тебе?* И он ответил: *не могу сказать.* Честно. По правилу первому. Молчание я переживу, сказала я ему тогда, в мастерской на четвёртом этаже. Ложь – нет.

Я не знала, переживу ли я молчание. Но я обещала.

– Сегодня бранч, – сказала я вместо этого. – Линдквист грозится холодной яичницей.

– Страшная женщина.

– У неё ключи от архива.

Он медленно повернулся ко мне.

Я смотрела на него сверху вниз, с третьей ступеньки, и впервые за всё время, что я его знала, это я была выше.

– Ты сам сказал в ноябре, – продолжила я. – Ключи будут у кураторов. Резиденция кончается четвёртого. У нас осталось три дня. Если мы не войдём туда сейчас, мы не войдём никогда.

– Мы, – повторил он.

– Мы. Ты же сам предложил сделку.

Он долго смотрел на меня. Потом поставил кружку на пол.

– Я хотел пойти один.

– Я знаю.

– Если поймают меня, Хейл найдёт объяснение. Я его человек. Скажу, что следил за тобой и ты что-то там прятала. – Он помолчал. – Если поймают тебя, Беннет, это кража со взломом. Пункт четырнадцать-три тебе покажется детским садом.

– Майя, – поправила я.

– Майя. – Он сказал это тихо, и у меня, как всегда, что-то сжалось в груди. – Я не хочу, чтобы ты туда шла.

– А я не хочу, чтобы ты решал за меня.

Мы смотрели друг на друга. Снизу вверх и сверху вниз. Синяя лента лежала на полу между ступеньками и мольбертом, и она уже давно ничего не значила.

– Правило третье, – сказала я. – Я могу выйти из игры в любой момент. Значит, могу и войти.

Он закрыл глаза. Потёр лицо ладонью.

– Ты невозможная.

– Ты меня такой сделал. Своими заданиями.

Он открыл глаза. И в первый раз за это утро улыбнулся. Криво, нехотя, будто его заставили.

– Ладно, – сказал он. – Тогда слушай.

* * *

План получился простой. Простые планы, сказал Адам, ломаются реже.

Второго января кураторы устраивали итоговый просмотр. Двенадцать участников, по сорок минут на каждого, в большом зале на первом этаже, где мы встречали Новый год. Линдквист, Огилви и ещё один куратор из Нью-Йорка, имени которого никто не мог запомнить, будут сидеть за длинным столом и смотреть, что мы сделали за две недели. Весь день. С девяти до шести.

– Линдквист носит карту на шнурке, – сказал Адам. – Но на просмотрах снимает. Шнурок мешает ей писать. Она кладёт карту в нагрудный карман пиджака, а пиджак вешает на спинку стула, потому что в зале натоплено. Я видел это три раза.

– Ты за ней следил.

– Я за всеми следил. – Он пожал плечами. – Привычка.

Мой просмотр стоял в расписании в два. Его – в три. Я должна была закончить, задержаться у стола с вопросом про кадрирование, попросить Линдквист посмотреть один отпечаток против света, у окна. Сорок секунд. Ей придётся встать. Пиджак останется на стуле.

– А если не получится?

– Тогда ничего не будет. Ты просто уйдёшь, и мы придумаем что-нибудь другое.

– А если получится?

– Тогда у тебя будет сорок минут. – Он посмотрел мне в глаза. – Мои сорок минут. Я буду говорить. Долго. Про ультрамарин, про лазурит, про то, как в четырнадцатом веке за унцию синего платили больше, чем за унцию золота. Линдквист обожает такое. Она не встанет из-за стола, пока я не закончу.

– А если ты закончишь раньше?

– Я не закончу раньше.

Он сказал это так, что я поверила.

– Камера над дверью пишет на сервер фонда, – продолжил он. – Записи никто не смотрит, если ничего не пропало. Поэтому ничего не бери. Ни листа. Только фотографируй. – Он помолчал. – И надень это.

Он протянул мне перчатки.

Чёрные. Кожаные. Тонкие, мягкие, потёртые на кончиках пальцев.

Я смотрела на них и не могла взять.

Последний раз я видела их на его руках. На своей щеке. На губах. На горле, под аркой на Уэллс, когда мой пульс бился в его пальцы.

– Отпечатки, – сказал он тихо. Он понял, о чём я думаю. Конечно, понял. – Только поэтому.

Я взяла их. Надела. Они были мне велики, пальцы болтались на концах, как у ребёнка, который примерил отцовские.

Он смотрел на мои руки в своих перчатках. И что-то случилось у него с лицом. Он отвернулся.

– Иди завтракай, – сказал он. – Пока яичница не остыла.

* * *

Просмотр прошёл как во сне.

Я развесила двенадцать отпечатков на белой стене зала. Не «Тишину между вдохами» – новые, сделанные здесь, за две недели. Трубы электростанции в метель. Рыжая вода на потолке моей мастерской. Две свечи на синей ленте. Его рука на колене, со шрамами на костяшках, – я сняла её, когда он спал, и он до сих пор не знал.

И последний кадр. Почти чёрный снимок из лаборатории. Моё лицо в зеркале, уходящее в темноту, и только глаза.

Линдквист долго смотрела на него.

– Передержка, – сказала она.

– Да.

– Намеренная?

– Нет. – Я сглотнула. – Я отвлеклась.

– На что?

Я почувствовала, как краснеют уши. За дверью зала, в коридоре, стоял он, ждал своей очереди. Я знала это, хотя дверь была закрыта.

– На страх, – сказала я.

Линдквист подняла на меня глаза. Впервые за две недели она посмотрела на меня по-настоящему, а не как на пункт в планшете.

– Оставьте, – сказала она. – Это лучшее, что тут висит.

Куратор из Нью-Йорка что-то записал. Огилви кивнул. Сорок минут прошли, как пять.

Я сняла отпечатки. Сложила в папку. И только тогда вспомнила, зачем я здесь, и сердце у меня ударило в горло так, что стало трудно дышать.

Пиджак Линдквист висел на спинке её стула. Тёмно-серый, твидовый. Из нагрудного кармана торчал край белой пластиковой карты.

– Мисс Линдквист, – сказала я. Голос, к моему удивлению, звучал нормально. – Можно вопрос? Про кадрирование. Вот этот. – Я достала из папки снимок с трубами. – У окна, против света. Я не понимаю, оставить ли тут край рамы.

Она вздохнула. Посмотрела на часы.

И встала.

Я не помню, что она говорила у окна. Что-то про воздух в кадре. Про то, что рама – это не ошибка, а граница, и надо решить, по какую сторону я стою. Я кивала. Я смотрела на её губы и ничего не слышала.

Потом она вернулась к столу, а я пошла к двери. Мимо её стула. Папка в левой руке. Правая опущена. Прямо над карманом твидового пиджака.

Я не знаю, как я это сделала. Я никогда в жизни ничего не крала. Даже медиатор я, по правде говоря, не украла – просто подобрала с сиденья.

Карта была тёплой.

Я вышла в коридор. Он стоял у стены, с папкой под мышкой. Посмотрел на меня. Я ничего не сказала. Просто прошла мимо.

Он вошёл в зал. Дверь за ним закрылась.

– Мистер Камерон, – услышала я голос Линдквист. – Удивите нас.

– Я начну с камня, – сказал он.

* * *

Третий этаж был пуст. Все были внизу: кто на просмотре, кто в гостиной, ждал своей очереди.

Я шла по коридору мимо мастерских, и каждый мой шаг звучал так громко, будто я шла по металлу. Его мастерская – наша – в торце. Мимо. Дальше. Тяжёлая дверь. Табличка. Электронный замок. И над ним красный огонёк, который мигал раз в четыре секунды.

Я стояла под камерой и думала: она меня видит. Прямо сейчас. Девушку в его перчатках с чужой картой.

Записи никто не смотрит, если ничего не пропало.

Я приложила карту.

Замок пискнул. Зелёный огонёк.

Я вошла.

* * *

Архив пах так, как пахнут старые книги в библиотеке, только сильнее. Пыль, бумага, клей, немного плесени. И холод: здесь не топили, чтобы не портились документы. Я выдохнула, и изо рта пошёл пар.

Стеллажи стояли рядами, от пола до потолка, металлические, серые. На каждой полке – картонные коробки с годами, выведенными чёрным маркером. 1998. 1999. 2000. Дальше в темноту.

Я включила фонарик на телефоне. Свет лёг на корешки узкой полосой. Правую перчатку пришлось снять: экран её не чувствовал. Я сунула её под мышку и дальше листала папки левой рукой.

Стипендиальная программа, было написано на торцах коробок. *Заявки. Принятые. Отклонённые.*

И на некоторых – третья надпись. Мелко, от руки, другим почерком. *О. Р.*

Отдельное рассмотрение.

Я сняла с полки первую такую коробку. 2007. Внутри было шесть папок. В каждой – заявка, слайды, эссе. Чужие имена. Чужие лица на маленьких фото в углу анкеты. Молодые. Испуганные. Все до одного – с адресами в тех частях города, куда не ездят на такси.

И на каждой папке, на обложке, одна и та же пометка. *Передать Р. У.*

Р. У.

Ричард Уитмор.

Я открыла вторую коробку. 2009. *Передать Р. У. Передать Д. П.-ст.* Третью. 2011. *Передать по запросу.* Подпись. *А.*

Я фотографировала. Обложку, анкету, пометку. Обложку, анкету, пометку. Руки дрожали, фонарик прыгал, кадры выходили смазанными, и я переснимала. Двадцать кадров. Сорок.

Я думала, что меня ограбили. Меня одну. Что я – неудачница, которой не повезло. Что Селесте просто понравились мои фотографии, и Хейл просто сделал подарок дочке друга.

А это была система. Двадцать лет. Каждый год – одна, две, шесть папок. Мальчики и девочки, которые отправили в фонд лучшее, что у них было, и получили письмо из трёх строчек. *Благодарим за интерес к программе.*

Мне хотелось кричать. Я стояла в холодном архиве, в его перчатке, и прикусила губу так, что почувствовала кровь.

Я посмотрела на часы. Прошло девятнадцать минут.

Надо было уходить. Я сфотографировала достаточно. Даже больше, чем достаточно.

Я поставила последнюю коробку на место. И тогда фонарик скользнул по нижней полке, по коробке без надписи *О. Р.*, с маркером, выцветшим до серого. 2004. *Отклонённые.*

Я не знаю, почему я остановилась. Я могу врать себе, что это было профессиональное. Что я привыкла смотреть туда, куда никто не смотрит. Но это неправда.

Из коробки торчала папка. Одна, не до конца задвинутая, как будто её кто-то доставал, а потом сунул обратно второпях. На корешке – наклейка. Фамилия.

Камерон, К.

* * *

Я села на пол. Прямо на холодный бетон, между стеллажами. Положила папку на колени.

Распространённая фамилия, сказал Адам Хейлу в галерее. Я помнила это из видео, которое крутили в институте неделю. *Знакомая фамилия*, сказал Хейл. *Распространённая*, сказал Адам.

Я открыла папку.

Клэр Камерон. 22 года. Живопись. Милуоки, Висконсин.

Анкета, заполненная от руки. Почерк быстрый, наклонный, с длинными хвостами у «у» и «д». Список работ. Слайды – старые, в пластиковых рамках, с синевой по краям.

Я подняла один против фонарика.

Портрет. Женщина у окна, в синем платье. Синее было такое, что у меня перехватило дыхание. Не синее из тюбика. Живое. Глубокое. Такое синее, какое я видела только один раз в жизни – на стеклянной плите в мастерской на четвёртом этаже, под курантом в его руке.

Ультрамарин. Настоящий. Из лазурита.

Я подняла второй слайд. Третий. Все портреты. Все в синем.

Потом я перевернула страницу анкеты и увидела её фотографию.

Маленькую, три на четыре, приклеенную в углу. Чёрно-белую. Молодая женщина с тёмными волосами, собранными кое-как, с выбившимися прядями. Острые скулы. Прямой нос с горбинкой. Тёмные брови, одна чуть выше другой, как будто она всегда немного сомневается в том, что видит.

И рот. Упрямый. Сжатый. Такой, будто она готова не опускать глаза, даже если весь мир будет смеяться.

Я знала это лицо.

Я рисовала его глазами две недели. Каждое утро, через синюю ленту. Каждую ночь, в свете свечей. Я видела это лицо над собой, когда он смотрел на меня и говорил *тихо, я запоминаю*.

Это было его лицо. Только женское. Только моложе, чем он сейчас, – ей было двадцать два, мне восемнадцать, ему двадцать один.

У меня похолодели руки.

Под фотографией, на полях, кто-то написал размашисто, чернилами. *Отклонить. Не регистрировать.* И две буквы.

В. Х.

Я смотрела на эти буквы, пока фонарик не начал дрожать у меня в руке.

В конце папки было ещё две вещи.

Первая – фотография. Не из анкеты. Глянцевая, цветная, с жёлтым отливом, какие бывают у снимков двадцатилетней давности. Какой-то приём. Белые скатерти, бокалы, люстры. На переднем плане двое. Молодой мужчина в смокинге, высокий, с тёмными волосами, ещё без седины, с улыбкой, в которой было правильное количество зубов. И рядом с ним – она. Клэр. В простом чёрном платье, без украшений. Она смеялась, запрокинув голову. А его рука лежала у неё на талии. Не по-отечески. Совсем не так, как он кладёт руку на плечо Селесте.

На обороте – карандашом. *Гала фонда. Октябрь 2004.*

Вторая вещь была конвертом.

Обычный белый конверт, плотный, пожелтевший. Адрес написан тем же быстрым почерком с длинными хвостами. *Виктору Хейлу. Лично.* Обратный адрес – Милуоки. Марка с флагом. Штемпель – март 2005-го.

И поперёк, красными чернилами, штамп. *Возвращено отправителю.*

Конверт был запечатан. Его никто никогда не открывал.

Я держала его в руках, и мне казалось, что он тяжёлый. Что там внутри не бумага, а камень.

Я могла его открыть. Тут никого не было. Никто бы не узнал.

Я положила его обратно в папку.

Не моё. Это было не моё, и я это знала так же точно, как знала, что мои двенадцать кадров – мои. Есть вещи, которые человек должен открыть сам. Или не открывать никогда.

Я сфотографировала анкету. Слайды. Надпись *В. Х.* Конверт – только снаружи, адрес и штамп.

А фотографию с приёма я сфотографировать не смогла. Подняла телефон – и опустила.

Я подумала: у него нет этой фотографии. Я знала это откуда-то из живота, как знают, что сейчас пойдёт дождь. У него нет ни одного снимка, где эти двое – вместе. Где она смеётся.

Ничего не бери. Ни листа.

Я сунула фотографию во внутренний карман куртки.

И в ту же секунду за дверью пискнул замок.

* * *

Я выключила фонарик.

Темнота упала сразу, плотная, холодная. Я сидела на полу между стеллажами, с папкой на коленях, и не дышала.

Дверь открылась. Полоса света из коридора легла на пол – длинная, жёлтая, – и в ней тень. Невысокая. В юбке. Каблуки.

Свет зажёгся.

Не весь – одна лампа над входом, далеко от меня, за шестью рядами стеллажей. Я видела её сквозь полки, сквозь щели между коробками. Тёмные волосы, гладко зачёсанные назад. Серый костюм. Планшет под мышкой.

Аннабель Восс.

Она прошла мимо первого ряда. Второго. Её каблуки стучали по бетону ровно и уверенно, как стучат каблуки человека, который знает, куда идёт.

Третьего ряда.

Я медленно, по сантиметру, задвинула папку Клэр Камерон обратно в коробку 2004 года. Сжалась. Подтянула колени к груди. Если она свернёт в мой ряд – всё. Никакого плана. Никакого объяснения. Девушка в его перчатке, на полу архива, с чужой картой в кармане.

Аннабель остановилась у четвёртого ряда. Того, где стояли новые коробки. 2020. 2023. 2026.

Я слышала, как она снимает коробку с полки. Как шуршат папки. Как она что-то ищет, быстро, пальцами, перебирая корешки.

– Вот ты где, – сказала она себе под нос.

Шорох. Коробка вернулась на место. Шаги. Не к выходу – к столу у двери, под лампой. Я увидела, как она кладёт на стол папку. Тонкую. Синюю.

На корешке – белая наклейка с номером. Я не видела цифр. Я и так знала.

0347.

Она открыла папку. Достала эссе. Две страницы, которые я переписывала одиннадцать раз. Мои двенадцать кадров на тонкой бумаге.

И сунула всё в шредер.

Он стоял под столом. Я его не заметила, когда вошла. Машина взвыла, зажевала первый лист, и я услышала, как моё эссе превращается в лапшу. *Я хочу, чтобы кто-нибудь однажды посмотрел на меня так же внимательно...* Хруст. Вой. Тишина. Следующий лист.

Я сидела в темноте, прижав ладонь ко рту, и смотрела, как она уничтожает меня. Меня из марта. Девочку, которая верила, что если сделать что-то по-настоящему хорошо, это кто-нибудь заметит.

Аннабель достала телефон.

– Да, Виктор. – Голос у неё был ровный, деловой, как у человека, который заказывает такси. – Забрала. Да. В шредер, при мне. Копий в системе нет, экспорт Уитмор я тоже почистила.

Пауза.

– Нет, никто не видел. Все на просмотре.

Пауза.

– Да, и Камерон. – Она обернулась к стеллажам. Посмотрела прямо в мою сторону, сквозь шесть рядов, и мне показалось, что она видит меня. Я перестала дышать. Она смотрела в темноту ещё секунду, потом отвернулась. – Я подняла его анкету из архива. Мать – Клэр Камерон, Милуоки. Медсестра. – Пауза. Длинная. – Да. Та самая. Я тоже не сразу поняла. Фамилия распространённая.

У меня внутри всё стало ледяным.

– Хорошо. Завтра в девять. Я передам.

Она убрала телефон. Подхватила с пола корзину шредера, высыпала полосы бумаги в пакет, завязала узлом. Выключила свет.

Дверь закрылась. Замок пискнул.

Я сидела в темноте ещё долго. Минуту. Две. Пять. Изо рта шёл пар, и я смотрела, как он растворяется в черноте, и не могла встать.

Да. Та самая.

Потом я посмотрела на часы.

Тридцать шесть минут.

* * *

Я бежала по лестнице, перепрыгивая через ступеньки. Перчатку – в карман. Карта – в кулак. Куртка расстёгнута, и я прижимала локтем внутренний карман, в котором лежала фотография, как будто она могла выпасть и закричать.

Дверь зала была закрыта. Я остановилась перед ней, задыхаясь, и прислушалась.

– ...и вот поэтому, – говорил он, – у Тициана синий никогда не выцветает. Пятьсот лет. Потому что он платил за него больше, чем за золото, и не экономил. А у современных художников синий через двадцать лет становится серым. Потому что они покупают тюбик за двенадцать долларов и думают, что это одно и то же.

– Мистер Камерон, – сказал голос Линдквист. Устало. Но с удовольствием. – Вы говорите уже почти час.

– Простите. Я увлёкся.

Я открыла дверь.

Он стоял перед своими холстами, спиной ко мне. Не обернулся. Только плечи – я увидела, как с них сошло напряжение, как будто кто-то отпустил натянутую струну.

– Извините, – сказала я. – Я забыла у вас отпечаток. Кажется, у окна.

Линдквист махнула рукой, не поднимая глаз. Я прошла через зал. Мимо стола. Мимо твидового пиджака на спинке стула.

Карта скользнула обратно в карман так же легко, как вышла.

У окна действительно лежал мой отпечаток. Трубы электростанции в метель. Я оставила его там нарочно, когда уходила со своего просмотра, – чтобы потом было зачем вернуться в зал.

Я взяла его и пошла к двери.

– Мисс Беннет, – окликнула меня Линдквист.

Я застыла.

– Край рамы, – сказала она. – Оставьте. Пусть будет видно, где граница.

– Хорошо, – сказала я. – Спасибо.

И вышла.

* * *

Вечером снова пошёл снег.

Не метель – тихий, ленивый, крупными хлопьями, которые падали за окном мастерской так медленно, будто кто-то наверху никуда не торопился. Электричество после метели так и не починили до конца: генератор гудел в подвале уже неделю, и свет в мастерских был жёлтым и тусклым. Адам снова зажёг свечи. Не на ленте. На подоконнике, на полу у дивана, на ступеньках лестницы.

Я рассказала ему про коробки. Показала кадры. Сорок шесть кадров, половина смазанные. *Передать Р. У. Передать Д. П.-ст. Передать по запросу. А.*

Он смотрел молча. Листал. Его лицо становилось всё неподвижнее, всё темнее, как будто кто-то медленно убавлял в нём свет.

Потом я рассказала про Аннабель. Про шредер. Про синюю папку с номером 0347.

– Она уничтожила твою заявку, – сказал он ровно.

– Да.

– При тебе.

– Да.

– Копий нет. Экспорт Уитмор вычищен.

– Так она сказала.

Он встал. Подошёл к окну. Постоял. Я видела его отражение в стекле – тёмное, со светлыми пятнами свечей вокруг.

– У меня есть копии, – сказал он. – Всё, что я снял с сервера в мае. На трёх флешках. В трёх разных местах. Одна у мамы в Милуоки, в коробке из-под её старых туфель. Она даже не знает, что там.

Он обернулся.

– Они думают, что всё стёрли. Пусть думают.

Я смотрела на него и ждала. Что он спросит, что ещё было в архиве. Что ещё сказала Аннабель. Он не спросил. Он не знал, что спрашивать.

А я не сказала. Про *Камерон, К.* Про *та самая*. Про *завтра в девять*.

Не сразу.

Я встала. Подошла к своему рюкзаку. Достала из внутреннего кармана куртки фотографию. Она немного погнулась по краю, пока я бежала по лестнице. Я разгладила её ладонью.

– Я нарушила твоё правило, – сказала я. – Я кое-что взяла.

Он нахмурился.

– Майя, я же сказал...

– Я знаю. – Я протянула ему снимок. Лицом вниз. Карандашная надпись на обороте: *Гала фонда. Октябрь 2004.* – Правило первое. Я не знаю, кто она. Я не спрашиваю. Ты не обязан мне ничего говорить. Но я подумала, что у тебя этого нет.

Он смотрел на надпись. Долго. Потом медленно взял снимок у меня из пальцев.

Перевернул.

Я никогда не видела, как ломается человек. Я снимала усталость, страх, тоску, злость. Женщину в бордовом пальто, которая перестала держать спину. Парня с гитарным кейсом, который закрыл глаза. Я думала, что видела всё.

Я не видела.

Он не изменился в лице. Совсем. Ни один мускул. Он просто стоял и смотрел на фотографию – на женщину, которая смеялась, запрокинув голову, и на мужскую руку у неё на талии, – и у него медленно, очень медленно начали дрожать пальцы.

Снимок задрожал вместе с ними.

– Где? – спросил он. Голос был чужой. Хриплый. Сухой.

– В архиве. Коробка 2004 года. Отклонённые. – Я сглотнула. – Там её заявка. Слайды. Портреты. Все в синем. Настоящем синем, Адам. Таком, как у тебя.

Он закрыл глаза.

– На полях написано «Отклонить. Не регистрировать». И подпись.

– В. Х., – сказал он, не открывая глаз.

– Да.

– Что ещё?

Я помолчала.

– Конверт. Письмо ему лично, из Милуоки, март пятого года. С красным штампом «Возвращено отправителю». Запечатанный. – Я посмотрела на его руки. – Я не открывала. Он не мой. Он остался там.

Он стоял неподвижно. Потом медленно сел на пол, прямо где стоял, на ковёр, спиной к дивану. Положил снимок на колено. Смотрел.

Я села рядом. Не касаясь. Просто рядом.

Свечи потрескивали. Снег падал.

– Это мама, – сказал он наконец.

Два слова. Так тихо, что я скорее увидела их, чем услышала.

– Я знаю, – сказала я. – У вас одно лицо.

Он кивнул. Провёл большим пальцем по краю снимка. Не по ней. По краю. Как будто боялся её задеть.

– Она никогда не говорила, что рисовала, – сказал он. – Я нашёл кисти, когда мне было восемь. В кладовке, в коробке. Старые, засохшие. Колонковые, дорогие. И пузырёк с синим порошком. Я спросил, что это. Она сказала: «Ничего. Глупость». И выбросила при мне.

Он помолчал.

– Я достал его из мусорного ведра ночью. Пузырёк. Он до сих пор у меня. Пустой. Я так и не узнал, где она его взяла.

Он посмотрел на меня. Глаза у него были сухие. Это было хуже, чем если бы он плакал.

– Она работает в ночную смену двадцать лет. В больнице в Милуоки. Она приходит домой в восемь утра и ставит чайник. Так, будто это первое, что нужно сделать в жизни.

Я молчала.

– Двадцать два года, – сказал он. – Ей было двадцать два. Как мне через год.

Он снова опустил глаза на снимок. На мужскую руку на её талии.

Я видела, что он хочет сказать что-то ещё. Видела, как слова поднимаются у него в горле – и застревают. Как камень. Как тогда, в новогоднюю ночь, когда я спросила, кто ему Хейл.

Да. Та самая.

Я знала. Я не знала наверняка, но знала – так же, как знала, что он под маской, ещё до того, как сорвала её. По мелочам. По тому, что пряталось за главным. По руке на талии в октябре и штемпелю в марте. По его лицу на её фотографии. По тому, как он стоит в галерее рядом с Хейлом: рука в кармане, подбородок вверх.

Я не сказала ни слова.

– Майя, – начал он. И замолчал.

– Не надо, – сказала я.

Он посмотрел на меня.

– Правило первое, – сказала я. – Ты сказал, что не можешь. Значит, не можешь. Я не спрашиваю. – Я осторожно положила ладонь ему на руку. На ту, что держала снимок. – Ты скажешь сам. Когда сможешь. А если не сможешь никогда – значит, никогда.

Он смотрел на мою руку на своей. Долго.

– Ты не понимаешь, – сказал он глухо. – Если я скажу, ты будешь смотреть на меня по-другому.

– Я уже смотрю на тебя по-другому. Каждый день. С ноября. – Я сжала его пальцы. – Сначала я смотрела на тебя, как на мудака. Потом – как на психа. Потом – как на человека в маске, которого я не знаю. Потом – как на того, кто врал мне с первого дня. – Я помолчала. – А теперь я смотрю на тебя, и ты сидишь на полу с фотографией мамы и боишься её задеть пальцем.

У него дрогнула челюсть.

– Это тоже по-другому, Адам. И мне нравится.

* * *

Он аккуратно положил снимок на подоконник. Лицом вверх. Поставил рядом свечу, так, чтобы свет падал на смеющееся лицо, но не слишком близко. Постоял.

Потом подошёл к проигрывателю. Перебрал пластинки. Достал одну, долго держал в руках, будто сомневался.

Поставил.

Radiohead. «Reckoner». Я узнала с первых тактов: тарелки, лёгкие, как дождь по жестяной крыше, и голос, высокий, ломкий, который не поёт, а будто зовёт кого-то, кто ушёл слишком далеко.

Он вернулся ко мне. Сел на ковёр, напротив. Близко. Колени к коленям.

– Можно? – спросил он.

Он никогда не спрашивал. Под аркой, в лаборатории, в новогоднюю ночь – он говорил *скажи*. Требовал. Ждал, что я скажу вслух. А сейчас спрашивал сам. Как будто это он стоял на краю, а не я.

– Да, – сказала я.

Он взял моё лицо в ладони. Без перчаток. Тёплые, шершавые, с синим под ногтями. Держал так, будто я была тем самым снимком на подоконнике – хрупким, единственным, который нельзя повредить.

И поцеловал.

Не так, как в новогоднюю ночь. Не зло, не жадно, не стирая чужую помаду. Медленно. Так медленно, что я успевала почувствовать каждое прикосновение отдельно. Нижнюю губу. Верхнюю. Уголок рта. Он целовал меня так, как пишут подмалёвок: широко, бережно, слой за слоем, никуда не спеша, потому что знают – впереди ещё много часов.

Я положила руки ему на плечи. Потом на шею. Пальцы нашли четыре полоски от моих ногтей под воротом футболки, и я провела по ним, и он вздохнул мне в губы.

– Больно? – спросила я.

– Нет. – Он прижался лбом к моему лбу. – Оставь их. Я хочу, чтобы они были.

Я стянула с него футболку. Он поднял руки, помогая. В новогоднюю ночь я рвала на нём пуговицы, злая, торопливая, не попадая пальцами в петли. А сейчас раздевала его медленно, будто у нас впереди вся ночь, – и от этого мне вдруг стало так страшно и так хорошо, что задрожали пальцы. Я смотрела на него в свете свечей. Плечи. Ключицы. Шрам на левом плече, белый, старый. Дорожка тёмных волос вниз по животу.

Я наклонилась и поцеловала шрам.

Он вздрогнул всем телом.

– Откуда? – прошептала я ему в кожу.

– Забор. Мне было двенадцать. Я лез на крышу школы, чтобы посмотреть, видно ли оттуда озеро.

– И как? Видно?

– Нет. – Он засмеялся. Тихо, хрипло. – Только парковку. Но я долго сидел там. Мне понравилось, что никто не знает, где я.

Я поцеловала шрам ещё раз. Потом ключицу. Потом ямку у основания шеи, где бился пульс, быстро, неровно. Я чувствовала, как он дышит. Как напрягаются мышцы под моими губами. Как он держит руки на коленях – сжатыми в кулаки, – и не трогает меня. Даёт мне.

– Сегодня ты, – сказал он тихо. – Если хочешь.

Я подняла голову. Посмотрела на него.

Никто никогда не говорил мне «сегодня ты». Ни дома. Ни в школе. Ни в институте. Всю жизнь кто-то другой решал, где мне стоять, когда говорить, сколько места занимать. Даже он. Особенно он. Под аркой, в лаборатории, на диване с руками над головой.

– Хочу, – сказала я.

Я толкнула его в грудь. Несильно. Он поддался сразу, лёг на спину, на густой шерстяной ковёр, и смотрел на меня снизу вверх. Свечи отражались у него в глазах.

Я стянула свитер через голову. Потом майку. Потом расстегнула джинсы и сняла их вместе с бельём, медленно, стоя над ним на коленях, и не прятала лицо. Он смотрел. Не отрываясь. И в его взгляде было что-то, от чего у меня горела кожа везде, куда он смотрел, – как будто он трогал меня глазами.

Я расстегнула его джинсы. Руки дрожали, пуговица не поддавалась. Он не помог. Лежал и ждал, и я видела, как ходит у него грудь. Я справилась. Стянула джинсы вниз, по бёдрам, вместе с бельём.

И остановилась.

Я никогда не смотрела на него так. При свете. Близко. Не в темноте, не в спешке, не когда он нависает надо мной. Я смотрела, и мне было неловко, и любопытно, и жарко, и я не знала, что с этим делать.

– Можно? – спросила я. Теперь я.

Он сглотнул.

– Да.

Я коснулась его члена. Сначала кончиками пальцев – осторожно, едва-едва, как он касался меня в переулке, когда пробовал первый мазок. Горячий. Твёрдый. Гладкий. Он втянул воздух сквозь зубы. Я обхватила его ладонью. Провела вверх. Медленно. Вниз.

Он закрыл глаза. Откинул голову на ковёр.

– Майя.

Я провела ещё раз. И ещё. Я смотрела на его лицо, ловила, что с ним происходит: как сходятся брови, как приоткрываются губы, как напрягается горло. Я снимала людей полтора года. Я умела смотреть. И я никогда не видела ничего красивее, чем Адам Камерон, который лежит подо мной на ковре и не может говорить.

Я наклонилась. Поцеловала его в живот, ниже пупка. Ещё ниже. Почувствовала, как у него напряглись бёдра.

– Майя, – сказал он снова. Голос сорвался. – Ты не обязана...

– Я знаю, – сказала я. – Я хочу.

И взяла его в рот.

Я не знала, как. Я никогда этого не делала. Я просто делала то, что казалось правильным: медленно, осторожно, слушая его. Губами. Языком. Он вскрикнул – коротко, глухо, – и его рука легла мне на затылок. Не надавила. Просто легла. Пальцы запутались в волосах и сжались, и я почувствовала, как он держит себя, как каждый мускул в нём натянут до предела.

– Боже, – выдохнул он. – Майя. Боже.

Я двигалась медленно, и он стонал – низко, сдавленно, как будто ему было больно, – и я поняла, что ему не больно. Что это то же самое, что было со мной под аркой, когда я кричала под грохот поезда. Что я делаю с ним то, что он делал со мной.

Это было как власть. Тихая, тёплая, странная. Я никогда в жизни не держала ничего подобного в руках.

Его пальцы сжались у меня в волосах сильнее.

– Майя, – прошептал он. Голос срывался. – Хватит. Я сейчас... Если не остановишься, я...

Я подняла на него глаза. Не выпуская его изо рта. И не остановилась.

Он понял. Я видела, как он понял, – по тому, как расширились его зрачки, как он перестал дышать.

– Майя...

Я взяла его глубже. Медленнее. Его бёдра дрогнули подо мной, пальцы впились мне в волосы, и он запрокинул голову и застонал – долго, низко, сломанно, так, как не стонал ещё ни разу. Я почувствовала, как его член вздрагивает у меня во рту – раз, другой, третий, – горячо, солоно, и не отстранилась. Держала его, пока его не перестало трясти. Пока пальцы у меня в волосах не разжались и не стали просто гладить.

Потом я медленно выпустила его и подняла голову.

Он лежал на ковре и смотрел на меня так, будто видел впервые. Растрёпанный, с приоткрытыми губами, со свечами в глазах. Грудь ходила тяжело и быстро.

Я вытерла губы тыльной стороной ладони. Щёки горели. Я не знала, что сказать, и не знала, правильно ли я всё сделала, и вдруг мне стало страшно – как той девочке на лестнице, которая не знает, похвалят её или отправят к себе.

– Иди сюда, – сказал он хрипло.

Он притянул меня к себе. Уложил рядом, на ковёр, и поцеловал – сразу, глубоко, не морщась, не отстраняясь, как будто ему было всё равно, какой вкус у моих губ. Или как будто именно этот вкус ему и был нужен.

Поцелуй не кончался. Он становился глубже, жаднее, злее. Его рука легла мне на затылок, вторая – на бедро, и он вжал меня в себя так, что я почувствовала: он и не думал остывать. Твёрдый, горячий, прижатый к моему животу.

– Ты... – выдохнул он мне в губы. – Ты хоть понимаешь, что ты со мной делаешь?

Я не успела ответить. Он перевернул меня на спину одним движением, навис сверху, и свечи на полу качнулись от этого рывка. Его колено раздвинуло мои бёдра. Он потянулся к джинсам, к карману – и остановился. Отбросил их в сторону.

– Нет, – сказал он. Голос был низкий, хриплый, совсем чужой. – Без него. Хочу чувствовать тебя. Всю. Без ничего между нами.

Это был не вопрос.

У меня перехватило дыхание. *Таблетки*, мелькнуло где-то на самом краю. *Я пью таблетки.* И сразу исчезло.

Я обхватила его ногами и притянула к себе.

Он вошёл в меня одним длинным движением, до конца, – и мы оба вскрикнули. Без ничего. Кожа к коже. Я чувствовала его по-другому – каждый сантиметр, каждую вену, жар, которого раньше не было, – и он тоже чувствовал. Я видела по его лицу. Он замер, закрыв глаза, и выдохнул сквозь зубы так, будто ему было больно.

– Господи, – прошептал он. – Майя. Какая ты горячая... Мокрая, горячая, вся моя.

Он начал двигаться. И сразу – не медленно. Глубоко, сильно, до упора, так, что меня сдвигало по ковру с каждым толчком. Он поймал мои запястья и прижал их к полу над головой, одной рукой, как в новогоднюю ночь, а второй подхватил меня под бедро и задрал ногу выше, себе на плечо.

– Глубже, – выдохнул он. – Хочу глубже. Хочу, чтобы ты меня чувствовала. Везде.

Он вбивался в меня жёстко, ритмично, и каждый толчок доставал так глубоко, что у меня темнело в глазах. Ковёр жёг спину. Свеча на полу у дивана опрокинулась и погасла, и ни один из нас не обернулся. Я кричала. Я не могла не кричать. Мне было всё равно, слышат ли нас в коридоре, на первом этаже, на другом конце Пилсена.

– Громче, – прорычал он мне в шею. – Пусть слышат. Пусть все знают, чья ты.

– Твоя, – выдохнула я. Слово вырвалось само. – Твоя. Адам. Твоя.

Он застонал так, будто я ударила его. Отпустил мои запястья. Подхватил меня под спину и рывком поднял, сел, привалившись спиной к дивану, не выходя из меня, – и я оказалась у него на коленях, верхом, лицом к лицу, насаженная на него так глубоко, что я задохнулась.

Его руки легли мне на бёдра. Сжали. Он поднимал меня и опускал на себя – сильно, резко, держа так крепко, что завтра на коже останутся следы его пальцев. Я цеплялась за его плечи. За шею. За волосы. Мои ногти снова нашли те четыре полоски на его шее и прошлись по ним, и он зашипел и толкнулся в меня ещё глубже.

– Смотри на меня, – сказал он. – Майя. Смотри.

Я смотрела.

Его лицо было в десяти сантиметрах от моего. Мокрое от пота. Злое, голодное, отчаянное. И в нём всё, что он сегодня не смог сказать. Мама. Фотография. Рука на талии. Конверт с красным штампом. Он трахал меня так, будто хотел выбить из себя всё это. Будто только здесь, во мне, ему не нужно было ничего держать.

Его рука скользнула вниз, между нами. Нашла клитор. Пальцы задвигались в том же бешеном ритме, и всё внутри меня сжалось в одну раскалённую точку – и взорвалось.

Я закричала его имя. Меня выгнуло, затрясло, я сжималась вокруг него волнами, одна за другой, так сильно, что он выругался сквозь зубы и вжал меня в себя обеими руками.

– Майя, – выдохнул он. – Майя...

Он толкнулся ещё раз. Ещё. И кончил – глубоко во мне, с глухим, сорванным стоном, уткнувшись лицом мне в шею. Я чувствовала это. Всё. Жар внутри, его дрожь, то, как он вцепился в меня, будто я могу исчезнуть.

Мы не двигались.

Песня кончилась. Игла зашуршала по пустой дорожке, и в мастерской стало тихо. Только снег за окном и наше дыхание.

Он не отпускал меня. Сидел на ковре, со мной на коленях, уткнувшись лицом мне в шею. Я гладила его по затылку. Медленно. Вниз и вверх.

Его плечи затряслись.

Сначала я подумала, что он смеётся. Потом почувствовала на своей коже мокрое.

Я ничего не сказала. Просто держала. Как он держал меня, когда меня трясло под аркой. Как держат то, что очень долго носили в себе и наконец отпустили.

Он плакал беззвучно. Совсем. Ни одного всхлипа. Только плечи и мокрое у меня на шее.

Я смотрела через его плечо на подоконник. На фотографию в свете свечи. На женщину, которая смеялась, запрокинув голову, двадцать два года назад, и ещё не знала, что будет дальше.

– Спасибо, – прошептал он наконец мне в кожу. Хрипло. Едва слышно.

– За что?

Он долго молчал.

– За то, что не открыла конверт.

* * *

Мы уснули наверху, на антресоли. Он лёг на спину, а я – у него на груди, и он держал меня одной рукой, а другой – водил пальцами по моему плечу, медленно, рассеянно, как рисуют, когда думают о другом.

Я почти спала, когда у кровати коротко зажужжал телефон.

Его телефон. Он взял его с собой наверх и положил на пол антресоли, рядом с кроватью, экраном вниз. Рука на моём плече замерла. Он долго не двигался, будто надеялся, что ему показалось. Потом всё-таки свесил руку с края матраса, нащупал телефон и перевернул.

Экран загорелся у него в руке, прямо над нами, и белый свет лёг ему на лицо. Я лежала у него на груди и видела всё: его застывшие глаза и белые буквы на чёрном.

Аннабель Восс: *Мистер Хейл ждёт вас завтра в 9:00 в офисе. Один. Пожалуйста, не опаздывайте.*

Я почувствовала, как у него под моей щекой перестало биться сердце. На секунду. Потом пошло снова – быстро, неровно.

Хорошо. Завтра в девять. Я передам.

Я лежала и молчала. Я знала, о чём будет этот разговор. Знала больше, чем он. Я могла сказать ему прямо сейчас: Аннабель подняла твою анкету. Она знает, кто твоя мама. *Та самая.* Они знают, Адам.

Но если я скажу это, мне придётся сказать и остальное. Что я поняла. Что я знаю, кто он ему. И тогда он никогда не скажет мне сам.

Он опустил телефон. Посмотрел на меня. Понял, что я видела.

– Правило первое, – сказал он тихо. – Я не знаю, чего он хочет.

– Я знаю, – сказала я.

Он нахмурился.

– Знаешь, что он хочет?

Я помолчала. Свет экрана погас, и антресоль снова утонула в темноте. Только снег за окном светился сам по себе, синевато-белый.

– Знаю, что ты не знаешь, – сказала я. – Это не ложь.

Он долго смотрел на меня в темноте. Потом притянул к себе ближе. Поцеловал в макушку. И сказал так тихо, что я едва расслышала:

– Что бы он ни сказал завтра. Я вернусь.

Я закрыла глаза.

Это было не обещание. Это было правило. Номер четыре. Он придумал его сам, только что, в темноте, – и я поняла, что он будет его держать, даже если это его убьёт.

За окном падал снег. На подоконнике внизу, в последнем свете догорающей свечи, смеялась женщина с его лицом.

А в кармане моей куртки, на крючке у двери, лежала его перчатка. Одна.

Вторую я, кажется, оставила в архиве.

Глава 12. Адам

Предложение отца

В восемь пятьдесят две я стоял в лифте и смотрел, как над дверью меняются цифры.

Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцатого этажа в этом здании не было – Хейл суеверен, хотя никогда в этом не признается. Пятнадцать.

Я надел чистую рубашку. Белую. Майя застёгивала мне пуговицы в шесть утра, сидя на краю кровати на антресоли, и пальцы у неё были холодные, и она ничего не говорила. Застегнула последнюю, у горла. Поправила воротник. Положила ладонь мне на грудь, туда, где сердце, и подержала.

– Правило четыре, – сказала она.

– Я вернусь.

– Я не про это. – Она подняла на меня глаза. – Что бы он ни сказал – это не про тебя. Это про него.

Я тогда не понял. Кивнул и ушёл.

Двадцать. Двадцать один.

Синее под ногтями я отмывал полчаса. Скипидаром, потом мылом, потом щёткой. Не отмыл.

Двадцать шесть.

Двери открылись.

* * *

Аннабель Восс сидела за стеклянным столом в приёмной, и на ней был тот же серый костюм, что и вчера в архиве. Я этого не знал. Майя рассказала. Я смотрел на этот костюм и думал о шредере.

– Мистер Камерон. – Она улыбнулась. Улыбка у неё была как у стюардессы на рейсе, который вот-вот упадёт. – Проходите. Он вас ждёт.

Она не встала. Не открыла мне дверь. Просто кивнула в её сторону – и вернулась к планшету.

Я взялся за ручку.

– Мистер Камерон, – сказала она, не поднимая глаз.

Я обернулся.

– Ваша мама, – сказала Аннабель. – Она до сих пор пишет?

У меня в груди что-то остановилось.

Она подняла глаза. Посмотрела на меня – спокойно, внимательно, почти с жалостью.

– Хорошие были портреты, – сказала она. – Я помню. Я тогда только пришла в фонд. Мне было двадцать четыре. – Пауза. – Идите. Он не любит ждать.

* * *

Озеро за окном было белым. Не серым, как в ноябре, – белым, замёрзшим у берега, с чёрной полосой открытой воды вдалеке, там, где лёд не выдержал.

Хейл стоял у окна. Спиной ко мне. Руки в карманах.

Подбородок вверх.

Я остановился у порога. Дверь за мной закрылась сама, бесшумно, как закрываются двери в дорогих зданиях.

– Садитесь, мистер Камерон.

Я не сел.

Он обернулся. Посмотрел на меня. Посмотрел на низкое кожаное кресло, в котором я сидел три раза и каждый раз смотрел на него снизу вверх. Посмотрел снова на меня.

И улыбнулся. Той самой настоящей улыбкой, без лака.

– Правильно, – сказал он. – Я бы тоже не сел.

На столе лежали три вещи.

Тонкая папка. Планшет с застывшим кадром на экране. И чёрная кожаная перчатка – правая, мягкая, потёртая на кончиках пальцев.

Моя.

Я смотрел на неё и чувствовал, как холодеют руки.

– Аннабель нашла её вчера вечером, – сказал Хейл. – В архиве. На полу между стеллажами, ряд шестой. Там, где хранятся отклонённые заявки за две тысячи четвёртый год.

Он подошёл к столу. Коснулся экрана планшета. Кадр ожил.

Чёрно-белая запись. Камера над дверью архива. Время в углу – 15:04. Коридор, пустой. Потом в кадр входит девушка. Тёмные волосы. Куртка. Папка под мышкой. Она останавливается под камерой и смотрит прямо в неё. Секунду. Две.

На руках у неё мои перчатки.

Она прикладывает карту. Дверь открывается. Она входит.

15:41. Дверь открывается снова. Девушка выходит. Быстро. Правая рука голая. Она прижимает локтем куртку, как будто прячет что-то во внутреннем кармане.

Хейл остановил запись.

– Записи никто не смотрит, – сказал он, – если ничего не пропало. – Он поднял на меня глаза. – Вы ведь так рассуждали? Вы работали у нас в архиве. Вы знаете, как всё устроено.

Я молчал.

– Пропало, – сказал Хейл. – Одна фотография из папки «Камерон, К.». Снимок с осеннего гала. Октябрь две тысячи четвёртого.

Он сел в своё кресло. Сложил пальцы домиком.

– Мне кажется, мистер Камерон, нам пора поговорить честно. Как вы считаете?

* * *

Я двадцать один год репетировал этот разговор.

В десять лет – перед зеркалом в ванной, шёпотом, чтобы мама не услышала. В пятнадцать – в автобусе, по дороге в школу, глядя на своё отражение в грязном стекле. В девятнадцать – пьяный, на крыше общежития, вслух, в чёрное небо над Милуоки.

Я знал каждое слово. Я знал, что скажу, когда он поймёт. Я знал, как он побледнеет. Как у него задрожат руки. Как он сядет, потому что ноги не будут держать.

Он сидел в кресле. Руки не дрожали. Лицо было спокойное, внимательное, чуть усталое – как у человека, который решает задачу, давно решённую в уме.

– Я узнал вас в галерее, – сказал он.

У меня в ушах зашумело.

– Не сразу. Секунды через две. Когда вы сказали «распространённая». – Он чуть наклонил голову. – Вы стояли у колонны, рука в кармане, подбородок вверх. Я тридцать лет вижу этого человека в зеркале по утрам, мистер Камерон. Вы думали, я его не узнаю?

– Вы сказали «знакомая фамилия», – выдавил я. – И ушли к следующему гостю.

– Я сказал ровно то, что нужно было сказать при сорока свидетелях с телефонами. – Он пожал плечами. – А потом попросил Аннабель поднять ваши документы. Она это сделала. В тот же вечер. – Пауза. – Вчера она просто подтвердила то, что я знал с ноября.

С ноября.

Рукопожатие во второй раз. Кабинет. Двенадцатая пустая строчка. *Держите меня в курсе.*

Он знал. Всё это время. Каждый раз, когда я сидел в этом кресле и смотрел на него снизу вверх. Каждый раз, когда говорил «да, сэр».

Он знал – и ничего не сделал. Ничего не сказал. Просто смотрел, как я стою перед ним, его сын, и вру ему в лицо, и ждал, что из этого выйдет. Как смотрят на шахматную доску.

– Почему? – спросил я. Голос был чужой. – Почему вы ничего не сказали?

– Мне было интересно, – сказал Хейл просто. – Что вы будете делать. Чего вы хотите. Зачем пришли. – Он откинулся в кресле. – Месть? Деньги? Признание? Люди вашего возраста обычно хотят чего-то одного, и это всегда видно. А вы... – Он улыбнулся. – Вы оказались интереснее. Вы пришли за мной, а нашли девочку с фотоаппаратом. И теперь не можете решить, кто из нас вам важнее.

Я стоял посреди его кабинета, и у меня горели щёки, как у мальчишки, которого поймали на вранье.

– Письмо, – сказал я. – Март две тысячи пятого. «Возвращено отправителю». Вы его читали?

Он нахмурился. Как будто вспоминал что-то очень далёкое.

– Нет, – сказал он. – Я не читал её писем. Аннабель возвращала их, не вскрывая. Это было моё распоряжение.

– Почему?

– Потому что я знал, что в них. – Он посмотрел на меня поверх сложенных пальцев. – Мистер Камерон. Ваша мать была очень талантливой женщиной. И очень наивной. Она думала, что одна ночь после гала что-то значит. Что если в ней кто-то увидел художника, то увидел и всё остальное. – Пауза. – Я не женился на ней, потому что у меня уже была жена. И репутация. И фонд, который только начинал работать. Ребёнок от двадцатидвухлетней стипендиатки, которой я отказал, – это был бы конец всему. Вы понимаете?

– Вы отказали ей, потому что она была беременна.

– Я отказал ей, потому что это было разумно, – сказал Хейл. – И я платил. Каждый год. Чек приходил без подписи, потому что подпись – это доказательство. Я не исчез, мистер Камерон. Я обеспечивал.

Чек, который приходил раз в год. Без подписи. Без единого слова.

Я вспомнил маму у почтового ящика. Как она открывала конверт. Как смотрела на сумму. Как убирала его в ящик с документами и потом долго стояла у окна. Мне было семь. Я думал, это от бабушки.

– Вы обеспечивали, – повторил я.

– Да.

– Ей было двадцать два. Она бросила живопись. Она двадцать лет работает в ночную смену в больнице, потому что за ночь платят больше. Она выбросила свои кисти при мне, когда мне было восемь, и сказала, что это глупость.

– Это был её выбор.

– Её выбор? – Я сделал шаг к столу. – Вы написали на её заявке «отклонить, не регистрировать». Вы.

Он ничего не ответил. Просто смотрел на меня. Спокойно. Ровно.

Я понял, что он не чувствует ничего. Совсем. Ни вины, ни стыда, ни сожаления. Для него это было как старая сделка, давно закрытая, с правильно оформленными документами.

И я понял ещё одно. Хуже.

Я ждал, что он побледнеет. Двадцать один год ждал. Я думал, что если он узнает, кто я, – в нём что-то сломается. Что у него внутри есть то место, которое можно сломать.

Его не было.

* * *

– Теперь о деле, – сказал Хейл.

Он открыл тонкую папку. Развернул ко мне.

Внутри был документ. Несколько страниц. На первой – логотип юридической фирмы и моё имя. Полное. *Адам Кристофер Камерон.*

– Это соглашение, – сказал Хейл. – О признании отцовства. Мои юристы подготовили его ещё в декабре. После подписания вы получаете право носить мою фамилию. Долю в трастовом фонде – такую же, как у моих дочерей. Место в совете фонда, когда вам исполнится двадцать пять. И – что, мне кажется, для вас важнее всего – персональную выставку в моей галерее. Весной. С моим именем на афише рядом с вашим.

Я смотрел на бумагу и не мог дышать.

Адам Хейл.

Двадцать один год я был сыном человека, у которого нет имени. Пустая строчка в свидетельстве о рождении. Мальчик, у которого спрашивают в школе: «А папа кем работает?» – и он врёт что-нибудь, каждый раз разное.

А теперь это лежало передо мной. На столе. В папке. Всё, чего я хотел. Всё, ради чего приехал в этот город.

Он смотрит на меня. Он знает, кто я. И он говорит: *мой*.

– Что взамен? – спросил я. Голос сел.

Хейл улыбнулся. Он ждал этого вопроса.

– Вы умный человек, мистер Камерон. Вы же понимаете, что ничего не бывает бесплатно.

Он повернул планшет. Ткнул в экран. Застывший кадр: Майя под камерой, в моих перчатках, смотрит прямо в объектив.

– Завтра вечером – закрытие резиденции. Будет пресса, будут коллекционеры, будет половина попечительского совета. Будут Ричард и его дочь. – Он сделал паузу. – Вы встанете рядом с Селестой и скажете, что мисс Беннет все эти месяцы преследовала её. Что она одержима. Что она проникла в архив фонда, чтобы подделать доказательства, и вы видели это своими глазами. Что вы пытались её остановить. Что вы сожалеете, что не сказали раньше.

Я молчал.

– После этого мы спокойно передаём запись и перчатку в полицию. Кража со взломом, проникновение на частную территорию, уничтожение архивных документов. – Он постучал пальцем по папке. – Аннабель подтвердит, что из архива пропала заявка номер ноль триста сорок семь. Мисс Беннет украла её, чтобы уничтожить следы своей собственной лжи. Её отчислят. Возможно, будет суд. Возможно, условный срок. Ей восемнадцать, мистер Камерон, она переживёт.

– Это вы её уничтожили. Заявку. Аннабель. В шредере.

Хейл поднял брови. Почти весело.

– Докажите.

Я смотрел на него. На его гладкий подбородок. На серые глаза, которые я каждое утро вижу в зеркале.

– А фотографии? – спросил я. – Двенадцать кадров. «Тишина между вдохами». Это вы отдали их Селесте?

– Конечно, я. – Он даже не стал делать вид, что удивился. – Селеста – дочь моего партнёра. Ей нужна была персональная выставка, чтобы попасть в магистратуру в Йеле. У неё хороший вкус, но нет глаза. У мисс Беннет – глаз, но нет ничего больше. Ни связей, ни имени. Родители в Эванстоне, которые даже не позвонят, если с ней что-нибудь случится. Я проверял. – Он развёл руками. – Хорошие вещи должны принадлежать тем, кто умеет их показать. Я так работаю двадцать лет, мистер Камерон. Это не кража. Это перераспределение.

Передать Р. У. Передать Д. П.-ст. Передать по запросу.

Сорок шесть кадров на телефоне Майи. Двадцать лет. Мальчики и девочки, которые получили письмо из трёх строчек.

– А если я откажусь?

Улыбка Хейла не изменилась. Только глаза стали чуть холоднее. Как вода в озере, у самой кромки льда.

– Тогда запись и перчатка всё равно уйдут в полицию. Только перчатка будет уже не её. Ваша. Мисс Беннет будет соучастницей, а вы – организатором. Вас обоих отчислят. – Пауза. – А больница Святой Марии в Милуоки, где ваша мать работает ночной медсестрой, получает от моего фонда два миллиона в год на новое отделение. Я вхожу в совет попечителей. Было бы очень жаль, если бы при сокращении штата пришлось выбирать, кого оставить.

Тишина.

Я стоял посреди кабинета на двадцать шестом этаже, над белым замёрзшим озером, и смотрел на своего отца.

– Вы угрожаете моей матери, – сказал я.

– Я никому не угрожаю. – Он закрыл папку. Аккуратно, двумя пальцами. – Я предлагаю вам выбор. Фамилия, деньги, будущее – или девочка, которую вы знаете два месяца. – Он встал. Подошёл ко мне. Близко. Мы были одного роста. Я никогда этого не замечал. – Вы мой сын, Адам. Я знаю, что вы выберете. Потому что я бы выбрал так же.

Он впервые назвал меня по имени.

Он протянул руку.

Я смотрел на неё. Ухоженная. Сухая. Без единого пятна краски.

Я пожимал её три раза. Три раза – ничего.

Я не взял её.

Он не обиделся. Опустил руку. Улыбнулся.

– До завтрашнего вечера, – сказал он. – Подумайте.

* * *

В лифте я не прислонялся лбом к стене.

Я стоял прямо, смотрел на цифры над дверью и считал. Двадцать шесть. Двадцать пять. Двадцать четыре.

На двенадцатом меня вырвало. Прямо в угол лифта, на мраморный пол. Я стоял, согнувшись, держась рукой за поручень, и меня выворачивало кофе и пустотой, и я думал: *он сказал «Адам»*.

Двадцать один год я ждал, что он скажет моё имя.

Он сказал. И предложил мне за это продать её.

* * *

Я ехал в Пилсен на автобусе, хотя мог взять такси. Мне нужно было время. Сорок минут. Снег. Грязные окна. Чей-то ребёнок на соседнем сиденье ел картошку фри из бумажного пакета и смотрел на меня так, как дети смотрят на взрослых, которые вот-вот заплачут.

Я достал телефон. Открыл переписку с мамой.

Я написал: *Мам, ты помнишь гала фонда Хейла в октябре 2004?*

Стёр.

Написал: *Мам, ты писала ему письма?*

Стёр.

Написал: *Мам, у тебя всё нормально на работе?*

Отправил.

Ответ пришёл через минуту. Она, наверное, только легла после смены.

Мама: *Нормально. Устала. А что?*

Я: *Ничего. Просто так.*

Мама: *Адам. Ты никогда не пишешь «просто так».*

Я смотрел на экран, пока автобус не тряхнуло на повороте.

Я: *Я тебя люблю.*

Долгая пауза. Три точки. Исчезли. Появились.

Мама: *Что он сделал?*

Я выключил телефон.

* * *

Майя ждала меня на лестнице в мастерской. На нижней ступеньке, в моём свитере, обхватив колени. Как утром первого января, только наоборот: тогда сидел я, а она смотрела на мой затылок.

Она подняла голову, когда я вошёл. Посмотрела мне в лицо.

И встала.

Ничего не спросила. Подошла и обняла меня. Крепко. Обеими руками, вокруг пояса, прижавшись щекой к белой рубашке, которую застёгивала утром.

Я стоял и не мог пошевелиться.

– Ты вернулся, – сказала она мне в грудь.

– Правило четыре.

Она подняла голову.

– Что он сказал?

Правило первое. Никакой лжи. Если есть вещи, о которых ты не можешь говорить, – так и скажи.

Я посмотрел на неё. На серо-карие глаза с жёлтой крапинкой у левого зрачка. На кривой нос, мой любимый кусок её лица.

– Он нашёл перчатку, – сказал я. – И запись с камеры. Он знает, что ты была в архиве.

Она побледнела. Но не отступила.

– И?

– И хочет, чтобы завтра на закрытии резиденции я встал рядом с Селестой и сказал, что ты больная, одержимая, что ты её преследовала. Что ты влезла в архив и украла собственную заявку, чтобы замести следы. Что я это видел.

Она молчала.

– Если я скажу – тебя отчислят. Может, будет суд. – Я сглотнул. – Если не скажу – отчислят нас обоих. И... – Я замолчал.

– И? – тихо спросила она.

– И кое-что ещё. С моей мамой. Её работой.

Она смотрела на меня. Долго. Я видел, как в ней идёт эта работа – как она перебирает слова, взвешивает, ищет то, что я не сказал. И находит.

– А что он предложил? – спросила она. – Если ты скажешь.

Я закрыл глаза.

– Не могу сказать, – сказал я.

Тишина.

Я открыл глаза. Она смотрела на меня, и в её лице не было ни злости, ни обиды. Только что-то очень тихое и очень печальное.

– Хорошо, – сказала она. – Правило первое.

Она отпустила меня. Отошла к окну. Постояла, глядя на белые крыши Пилсена.

– Ты будешь думать до завтра? – спросила она, не оборачиваясь.

– Да.

– Тогда думай. – Она обернулась. – Я не буду тебя просить. Ни о чём. Ты мне ничего не должен, Адам. Если ты скажешь завтра то, что он хочет, – я пойму. Наверное. Не сразу. Но пойму.

– Майя...

– Правило третье, – сказала она. – Я могу выйти в любой момент. – Она слабо улыбнулась. – А ты можешь меня отпустить. Это тоже правило. Я его только что придумала.

* * *

Я не спал той ночью.

Я сидел внизу, на кожаном диване, и смотрел на мольберт. На тот, повёрнутый к стене. Её лицо в красном свете, с закрытыми глазами. Я писал его в ноябре, когда она ещё не знала, кто я. Когда она приходила ко мне в масках и в темноте, а днём смотрела сквозь меня в коридорах.

Наверху, на антресоли, она спала. Или делала вид. Я слышал, как она иногда переворачивается.

Я думал о фамилии.

Адам Хейл.

Я произносил это про себя и пытался почувствовать что-нибудь. Радость. Торжество. Облегчение. Двадцать один год. Двадцать один год я хотел, чтобы он посмотрел на меня и сказал: *мой*.

Он сказал.

И я ничего не почувствовал. Как тогда, после рукопожатия. Пустая ладонь. Синее под ногтями.

Я думал о маме. О больнице Святой Марии. О том, что она будет делать, если её сократят. Ей сорок три. Она двадцать лет работает в одном отделении. Она знает по именам всех ночных уборщиц.

Я думал о Майе. О том, как она стояла посреди галереи в мокрых кедах и не опускала глаз. О том, как она сказала: *я это не решала, я это ждала*. О том, как она сидела на холодном полу архива и не открыла конверт.

О том, как она сказала: *ты можешь меня отпустить*.

В четыре утра я поднялся наверх.

Она не спала. Лежала на боку, лицом к стене, и я видел по плечам, что она не спит. Я лёг рядом. Не касаясь.

Она повернулась. Посмотрела на меня в темноте.

– Решил? – шёпотом.

– Да.

– Скажешь?

– Нет. – Я протянул руку и убрал прядь с её лица. – Покажу.

* * *

Вечер закрытия резиденции начался в семь.

Здание старой табачной фабрики горело всеми окнами. Генератор наконец выключили – в обед приехали электрики, и свет дали везде, яркий, белый, беспощадный. Внизу, у входа, стояли машины с водителями. По лестницам поднимались люди в пальто, которые стоят больше, чем дом, в котором я вырос. Официанты разносили шампанское. На первом этаже играл диджей – кто-то из друзей Селесты, – и бас поднимался по лестничным пролётам, глухой, медленный.

The Weeknd. «Wicked Games». Я узнал с первых нот и подумал, что Селеста выбирала трек лично.

Двенадцать мастерских. Двенадцать дверей нараспашку. Двенадцать художников у своих работ, с бокалами, с вымученными улыбками.

Я стоял в своей. Угловой, на третьем этаже. Холсты на стенах. Синяя лента на полу – я так и не отклеил её, и гости переступали через неё, не замечая. Мольберт с её портретом стоял в углу, по-прежнему повёрнутый к стене.

Майя была в моей мастерской тоже. Своей у неё так и не появилось после потопа, и Линдквист разрешила ей повесить отпечатки здесь же. На её половине, у окна, по ту сторону синей ленты.

Двенадцать кадров. Трубы в метель. Рыжая вода. Две свечи на синей ленте. Моя рука на колене – я наконец увидел её сегодня утром и долго не мог ничего сказать. И почти чёрный снимок из лаборатории, в самом центре.

Она стояла рядом с ними. В платье, которого я никогда на ней не видел. Синем. Глубоком, тёмном, почти ультрамарин, – из винтажного магазина на Восемнадцатой, куда она сбегала утром, пока я был в душе. Простое, по фигуре, с открытыми плечами. Она ничего мне не сказала. Просто вышла в нём из-за ширмы, и у меня пересохло во рту.

Синее. Моё синее.

Я смотрел на неё через всю мастерскую, и она смотрела на меня, и между нами ходили люди с бокалами, и никто из них не знал, что сейчас будет.

Я и сам не знал. Не до конца.

В половине девятого Хейл поднялся на третий этаж.

С ним – Ричард Уитмор, грузный, краснолицый, в смокинге. Аннабель с планшетом. Двое из попечительского совета. Женщина с бейджем «Chicago Tribune» и фотограф с камерой на плече.

И Селеста.

В красном. Не в серебряном, как на Новый год, – в красном, длинном, с открытой спиной. Губы в цвет платья. Волосы гладко зачёсаны назад, как у Аннабель. Она шла рядом с Хейлом, держа его под руку, и улыбалась, и в руке у неё был не бокал.

Пульт.

Маленький чёрный пульт от проектора.

* * *

Они вошли в мою мастерскую все вместе. Толпа сразу стала гуще – гости потянулись за Хейлом, как железные опилки за магнитом. Через минуту в угловой мастерской было человек сорок.

Сорок. Как в галерее в ноябре.

Хейл остановился посреди комнаты. Посмотрел на мои холсты. Кивнул. Посмотрел на меня.

– Мистер Камерон, – сказал он громко, так, чтобы слышали все. – Прекрасная работа. Вы позволите сказать пару слов?

– Конечно, сэр.

Сэр. Последний раз, подумал я.

Он повернулся к гостям. Поднял бокал.

– Дамы и господа. Две недели назад двенадцать молодых художников вошли в это здание. Сегодня они выходят отсюда... – он сделал паузу, – другими людьми. Это и есть смысл нашей программы. Мы не просто даём им мастерские. Мы даём им шанс понять, кто они на самом деле.

Аплодисменты. Вспышка фотографа из «Трибьюн».

– Но иногда, – продолжил Хейл, и голос у него стал мягче, печальнее, – иногда этот шанс открывает и неприятные вещи. Селеста, дорогая?

Селеста шагнула вперёд. Улыбнулась гостям. Ослепительно.

– Спасибо, Виктор. – Она обвела взглядом мастерскую. Задержалась на Майе. На секунду. Потом – на мне. – Мне очень неловко. Правда. Но я думаю, все здесь имеют право знать, с кем они пьют шампанское.

Она нажала на пульт.

На белой стене – той, где висели мои холсты, между двумя из них, – вспыхнул прямоугольник света. Проектор стоял на подоконнике. Я не заметил, когда его туда поставили.

Чёрно-белая запись. Камера над дверью архива. Время в углу – 15:04.

Девушка в куртке входит в кадр. Останавливается под камерой. Поднимает голову. Смотрит прямо в объектив.

Майя.

Толпа загудела.

– Это мисс Беннет, – сказала Селеста. Голос у неё дрожал – идеально, именно так, как должен дрожать голос жертвы. – Вчера. Она проникла в закрытый архив фонда. С украденной картой. Она уничтожила свою собственную заявку на стипендию, чтобы никто не смог доказать, что она всё это придумала. Всю эту историю с «украденными фотографиями». – Селеста прижала руку к груди. – Она преследует меня с сентября. Она приходила к лофту Джулиана. Она фотографировала мои окна. Я боялась ходить одна.

Кто-то ахнул. Кто-то достал телефон. Красные точки записи – одна, две, пять.

Я посмотрел на Майю.

Она стояла у своих отпечатков. Бледная. Прямая. С камерой у груди, обеими руками. Не плакала. Не опускала глаз.

Как в ноябре.

Только теперь у неё на запястьях были бледные следы моих пальцев, а не Тайлера Брукса.

– И у меня есть свидетель, – сказала Селеста. Повернулась ко мне. Протянула руку – не за мной, а в мою сторону, ладонью вверх, как приглашают на танец. – Адам. Скажи им. Ты же был там. Ты видел.

Сорок лиц повернулись ко мне.

Хейл стоял чуть в стороне. С бокалом. Он не смотрел на меня. Он смотрел на свой бокал. Он был уверен.

Я сделал шаг.

Селеста улыбнулась.

Я прошёл мимо неё.

Мимо протянутой руки. Мимо Хейла. Мимо Ричарда Уитмора с его красным лицом и женщины из «Трибьюн» с её диктофоном. Через всю мастерскую. Через синюю ленту на полу.

К Майе.

Она смотрела, как я иду. Глаза у неё расширились. Она поняла раньше всех. Раньше, чем я сам.

Я остановился перед ней. Взял у неё из рук камеру – осторожно, бережно – и повесил ей на шею. Освободил ей руки.

Потом взял её лицо в ладони.

И поцеловал.

* * *

Не быстро. Не украдкой. Не так, как целуют, когда боятся, что увидят.

Медленно. Глубоко. На глазах у сорока человек, под вспышкой фотографа из «Трибьюн», под красными точками телефонов, под проектором, который всё ещё показывал на стене её лицо под камерой.

Она замерла на секунду. Потом её руки поднялись и вцепились мне в рубашку. В ту, белую, которую она застёгивала вчера утром. И она поцеловала меня в ответ.

В мастерской стало так тихо, что я слышал, как внизу, на первом этаже, всё ещё играет «Wicked Games».

Я оторвался от её губ. Не отпустил. Прижал её к себе – одной рукой за талию, другой за затылок, её лицо у меня на плече. И повернулся к ним.

К сорока лицам. К Селесте с пультом. К Хейлу с бокалом.

– Да, – сказал я громко. – Она была в архиве. Я дал ей перчатки. Я рассказал ей, где карта и как обойти камеру. Это была моя идея.

Хейл медленно поднял голову от бокала.

– Она взяла оттуда одну фотографию, – продолжил я. – Не свою заявку. Её заявку уничтожила Аннабель Восс. В шредере, в три сорок дня, по телефонному распоряжению мистера Хейла. – Я посмотрел на Аннабель. Та стояла у двери, белая, как стена. – Майя сидела в шести рядах от вас, мисс Восс. Она всё слышала. «Да, Виктор. Забрала. Копий нет».

Ропот. Женщина из «Трибьюн» что-то быстро писала в блокнот.

– А фотография, которую она взяла, – сказал я, – принадлежит мне. Это снимок моей матери. С гала этого фонда, октябрь две тысячи четвёртого. Он лежал в архиве, в папке с её отклонённой заявкой. – Я посмотрел прямо на Хейла. – Почему – пусть расскажет мистер Хейл. Если осмелится.

Хейл не шевелился.

Я видел, как у него на скулах проступают два маленьких красных пятна. Впервые. За эти два месяца – впервые. Это было не бледность, которую я ждал двадцать один год. Это было хуже. Это была ярость человека, у которого на глазах у прессы сломали дорогую игрушку.

– Мистер Камерон, – сказал он тихо. Очень тихо. – Вы совершаете ошибку.

– Возможно, сэр, – сказал я. – Но это моя ошибка.

Майя у меня на плече вдруг тихо засмеялась. Почти беззвучно. Я почувствовал это – как вздрогнули её плечи.

– Что? – шепнул я ей в волосы.

– Ты сказал «сэр», – прошептала она. – Даже сейчас.

– Привычка.

Она подняла голову. Посмотрела на меня – и в глазах у неё стояли слёзы, и она улыбалась, и это была та самая пауза, между вдохом и выдохом, когда человек перестаёт притворяться.

Вспышка. Фотограф из «Трибьюн» снял нас.

* * *

Селеста двигалась быстро.

Я не успел. Никто не успел. Она прошла через мастерскую в три шага, красное платье хлестнуло по ногам, и в руке у неё уже был бокал шампанского – чей-то, выхваченный по дороге.

Она выплеснула его Майе в лицо.

Майя ахнула и зажмурилась. Шампанское стекало по её щекам, по шее, по синему платью. Кто-то вскрикнул.

Секунду она стояла неподвижно. Потом медленно провела ладонью по лицу, стирая мокрое. Открыла глаза.

И шагнула к Селесте.

– Ты совсем чокнулась? – Голос у неё звенел так, что его было слышно, наверное, на первом этаже. – Ты украла мои фотографии. Ты повесила их под своим именем. Ты читала моё эссе вслух на вечеринке и смеялась. А теперь стоишь здесь и рассказываешь сорока людям, что это я тебя преследую?

Селеста открыла рот.

– Нет, – отрезала Майя. – Теперь говорю я. Я полтора года ждала солнце на этих платформах. Каждый день. В минус двадцать. Ты хоть раз в жизни чего-нибудь ждала, Селеста? Хоть что-нибудь сделала сама? – Она ткнула пальцем в проектор, в своё лицо на стене. – Хочешь показать запись? Показывай. Покажи им заодно, как ты в два часа ночи выгружала мои файлы из системы фонда. Это тоже записано. С твоим именем пользователя.

В мастерской стало очень тихо.

Я смотрел на неё и не мог отвести глаз. Мокрая, растрёпанная, в синем платье, с камерой на груди. Девочка, которую в ноябре выводили из галереи под локоть, теперь стояла посреди комнаты и не опускала глаз. И голос у неё не дрожал.

Я шагнул и встал рядом с ней. Не впереди. Рядом.

Селеста озверела.

Я видел, как это происходит. Как с её лица слетает всё – улыбка, вежливость, отрепетированная дрожь жертвы. Как оно идёт красными пятнами, от шеи вверх, до самых висков. Как раздуваются ноздри. Как губы в красной помаде растягиваются, оскаливаются, и за ними

видны зубы. Она больше не была похожа на рекламу того, что ты не можешь себе позволить. Она была похожа на зверя, которого загнали в угол на глазах у всех.

– Ты, – прошипела она Майе. – Ты, никто. Ты, нищая сучка из Пилсена. Ты будешь мне указывать?

Она развернулась – резко, на каблуках – и ударила бокалом об угол стола. Стекло брызнуло во все стороны. В руке у неё осталась ножка с острым, зазубренным краем.

Толпа отшатнулась.

– Селеста! – рявкнул Ричард Уитмор. – Что ты...

Она его не слышала. Она смотрела не на меня. Не на Майю.

На мольберт в углу. Повёрнутый к стене.

– Ты не дал мне позировать, – сказала она. Голос был тихий, ровный и страшный. – Помнишь, Камерон? «Я не пишу на заказ». – Она пошла к мольберту. – Интересно, что же ты пишешь.

– Не трогай, – зарычал я.

Она схватила подрамник и развернула мольберт к гостям.

Красный свет. Лицо, поднятое к нему. Закрытые глаза. Приоткрытые губы. Скула, на которую ложится алое. Я писал его три недели, в ноябре, ночами, когда никто не видел. Самое честное, что я когда-либо делал.

Майя за моей спиной перестала дышать. Она никогда его не видела.

Сорок человек смотрели на холст. На её лицо – такое, каким его видел только я. В лаборатории. В темноте. В ту секунду, когда она кончала, и не знала, кто держит её.

– Как мило, – сказала Селеста. – Наша маленькая сталкерша. В красном свете. С открытым ртом. – Она обернулась к гостям. – Это же очевидно, правда? Он спит с ней. Конечно, он её защищает.

И полоснула ножкой бокала по холсту.

Звук был ужасный – сухой треск, как будто рвут кожу. Холст разошёлся от скулы до подбородка. Ещё раз. Через губы. Ещё.

Я перехватил её руку на третьем ударе.

Схватил за запястье и сжал. Сильно. Так, что она вскрикнула и разжала пальцы. Стеклянная ножка упала на пол, на синюю ленту, и откатилась.

Я держал её за запястье. Она смотрела на меня снизу вверх – с ненавистью, с бешенством, с размазанной по подбородку красной помадой.

– Ты пожалеешь, – прошипела она. – Ты даже не представляешь, Камерон. Вы оба.

Я отпустил её. Медленно.

– Я уже пожалел, – сказал я. – Что пустил тебя через эту ленту.

Охранник взял Селесту под локоть. Она вырвала руку. Посмотрела на отца. Ричард Уитмор стоял с багровым лицом и не смотрел на неё.

Она посмотрела на Хейла.

Хейл смотрел на меня.

Потом Селеста развернулась и пошла к двери. Быстро, вздёрнув подбородок, не оглядываясь.

У самого порога каблук зацепился за край синей ленты. Той самой, через которую она в декабре переступила так легко, будто никаких границ здесь не было и быть не могло.

Она полетела вперёд. Нелепо, всем телом, взмахнув руками. Красное платье задралось до бёдер. Она упала на колени, на ладони, прямо в лужицу пролитого шампанского, и туфля слетела с ноги и откатилась под мольберт.

Секунду в мастерской было тихо.

Потом кто-то хмыкнул. Коротко, сухо, как ломают ветку.

Потом ещё кто-то. И ещё. Смех покатился по мастерской, лёгкий, бокальный, – тот самый смех, которым в ноябре в галерее смеялись над девочкой в мокрых кедах. Только теперь он катился в другую сторону.

Селеста подняла голову. Лицо у неё было белое, а помада размазана до подбородка. Она смотрела на сорок человек, которые смеялись над ней, и, кажется, впервые в жизни не понимала, что делать.

Я посмотрел на Майю.

Майя не смеялась. Она стояла, прижав камеру к груди, и смотрела на Селесту так, как смотрят на женщину в бордовом пальто, которая перестала держать спину. Без злорадства. Почти с жалостью.

Селеста поднялась. Не стала искать туфлю. Пошла к лестнице – босая на одну ногу, хромая, – и каблук второй туфли простучал по коридору, по лестнице, вниз. Неровно. Сбиваясь.

* * *

Я стоял перед изрезанным холстом.

Три пореза. Скула. Губы. Подбородок. Лоскуты холста свисали, как кожа, и под ними была серая изнанка, грубая, без грунта.

– Адам, – сказала Майя тихо. Она стояла рядом. Мокрая от шампанского. С камерой на груди. Смотрела на холст. – Это я?

– Это ты.

– Когда?

– В ноябре. Ещё до того, как ты узнала, кто я.

Она подняла руку. Медленно, давая мне время её остановить. Коснулась края разреза. Там, где были губы.

– Ты писал меня, – сказала она. – Каждую ночь. Пока я не знала.

– Да.

Она молчала. Потом повернулась ко мне.

– Ты сможешь его восстановить?

Я посмотрел на холст. На лоскуты.

– Нет, – сказал я. – Но у меня есть другой. Наверху. Тот, где у тебя открыты глаза.

Она смотрела на меня. Долго. И я понял, что в этой мастерской, полной людей, телефонов, вспышек и битого стекла, нас нет. Есть только она и я. И синяя лента у нас под ногами, которую мы давно перешагнули.

Хейл ушёл, не попрощавшись. Я видел, как он выходит в коридор. Аннабель – за ним, почти бегом. Ричард Уитмор – следом, с телефоном у уха.

Гости начали расходиться. Медленно. Оглядываясь. Кто-то подходил ко мне, говорил что-то, хлопал по плечу. Женщина из «Трибьюн» сунула мне визитку.

– Позвоните мне, – сказала она. – Когда будете готовы рассказать остальное.

Я взял визитку. Сунул в карман.

* * *

Мы вышли на улицу в половине одиннадцатого.

Майя хотела подышать. Её всё ещё трясло – мелко, как после холода, хотя в мастерской было жарко. Она переоделась в джинсы и мой свитер, волосы липли к шее от шампанского, камера висела на груди. Мы спустились по боковой лестнице, той, что выходила на парковку за зданием, к железнодорожной насыпи.

Снег перестал идти. Было тихо, морозно, звёздно. Над насыпью шла розовая ветка надземки – стальные опоры, рельсы, далёкий свет станции на Восемнадцатой. Майя стояла, запрокинув голову, и дышала.

– Ты сумасшедший, – сказала она.

– Знаю.

– При всех. При «Трибьюн». При нём.

– Знаю.

– Тебя отчислят.

– Возможно.

Она опустила голову. Посмотрела на меня.

– А твоя мама?

Я помолчал.

– Позвоню ей утром. Расскажу всё. Пусть знает, откуда ждать удара. – Я сглотнул. – Она двадцать лет держала это в себе одна. Хватит.

Майя шагнула ко мне. Положила ладони мне на грудь.

– Что он тебе предложил, Адам? Сегодня утром. Правило первое.

Я посмотрел на неё. На звёзды за её головой. На пар, который шёл у неё изо рта.

– Свою фамилию, – сказал я.

Она замерла.

Я видел, как до неё доходит. Как она понимает, – не то, что она уже знала, а то, что я только что это сказал. Вслух. Сам.

Её пальцы сжались на моей рубашке.

– И ты отказался.

– Я отказался.

Она открыла рот.

И тут что-то врезалось в неё сбоку.

* * *

Тёмная фигура. Капюшон. Он вылетел из-за мусорных контейнеров у стены, на полной скорости, и сшиб Майю с ног плечом. Она отлетела в сугроб, вскрикнула.

Я рванулся к ней раньше, чем успел подумать.

Он уже вцепился в камеру у неё на шее и тащил за ремень – по снегу, по льду. Майя держала камеру обеими руками и не отпускала. Два шага. Один. Я почти схватил его за капюшон.

Он увидел меня. Бросил ремень. Выдернул что-то у неё из кармана куртки – телефон, её телефон, с сорока шестью кадрами из архива, – и побежал.

Он обернулся на бегу. Один раз.

На нём была маска.

Белая. Гипсовая. С прямым носом и спокойными губами. С пустыми прорезями вместо глаз.

Моя маска.

Нет. Не моя. Моя лежала разбитой на скамейке станции «Кларк/Лейк». Это была другая. Такая же.

Я на секунду застыл.

– Адам! – Майя сидела в сугробе, прижимая камеру к груди. – Телефон! Там всё!

Я побежал.

* * *

Он бежал вдоль насыпи. Быстро, но неуклюже – тяжёлый, крупный, ботинки скользили по льду. Я догонял.

Он свернул к лестнице на станцию. Металлические ступени, обледенелые, с жёлтой полосой по краю. Он взлетел по ним, хватаясь за перила, и я слышал, как он дышит – хрипло, с присвистом, как человек, который никогда в жизни не бегал.

Я взлетел за ним.

Платформа на Восемнадцатой была пустая. Ветер. Жёлтые лампы. Табло: *следующий поезд – 1 мин*.

Он побежал по платформе. В конец. Туда, где кончался навес и начиналась открытая площадка над улицей. Дальше бежать было некуда.

Он остановился у края. Обернулся. Маска смотрела на меня пустыми глазами.

– Отдай телефон, – сказал я.

Он попятился. К самому краю. За ним – рельсы, а дальше, в темноте, – свет. Две яркие точки. Поезд.

– Отдай, – повторил я, – и уходи. Я тебя не трону.

Он посмотрел через плечо на свет поезда. Потом на меня. Потом снова на свет.

И я понял, что он сейчас сделает.

Он развернулся и прыгнул.

Не на рельсы. Через рельсы. На противоположную платформу. Полтора метра пустоты и рельсы внизу – и поезд, который уже грохотал, приближаясь, и рельсы под ногами завибрировали.

Он не допрыгнул.

Его ботинок соскользнул с края противоположной платформы. Он упал – грудью на бетонный край, ноги повисли над рельсами. Телефон вылетел у него из руки и улетел куда-то вниз, на шпалы.

Он заорал.

Поезд был в пятидесяти метрах. Сорок. Свет фар заливал платформу, рельсы, его – белую маску, разинутые прорези, руки, скребущие по бетону.

Я не думал.

Я спрыгнул на рельсы.

Полтора метра вниз. Удар в колени. Шпалы, гравий, лёд. Контактный рельс – не трогать, только не трогать, – я перешагнул его. Поезд ревел. Свет бил в глаза. Сорок метров. Тридцать.

Я схватил его за ремень джинсов и толкнул вверх. Всем телом. Он перевалился через край платформы и откатился.

Двадцать метров.

Телефон. Я увидел его – экраном вверх, на шпалах, в метре от меня. Светился. Я нагнулся. Схватил.

Десять метров. Визг тормозов. Машинист увидел меня.

Я подпрыгнул, ухватился за край платформы обеими руками и подтянулся. Колено на бетон. Второе. Кто-то схватил меня за куртку сверху и рванул. Я перекатился.

Поезд пронёсся в сантиметрах от моих ботинок. Ветер ударил в лицо. Грохот, визг, искры из-под колёс.

Я лежал на спине на холодной платформе и смотрел в чёрное небо над Пилсеном.

Живой.

Телефон был у меня в руке. Экраном вверх. Светился.

* * *

Тот, кто схватил меня за куртку, сидел рядом. На бетоне. Тяжело дыша.

Майя.

Она добежала. По насыпи, по обледенелой лестнице, через пути по пешеходному мосту – я не знаю, как. Она сидела рядом со мной, вцепившись в мою куртку обеими руками, и её трясло так, что стучали зубы.

– Ты... – выдохнула она. – Ты... идиот... ты чёртов... идиот...

– Телефон, – сказал я и протянул ей.

Она выбила его у меня из руки. Он упал на бетон. Ей было всё равно.

Она схватила моё лицо обеими ладонями – холодными, мокрыми, дрожащими – и поцеловала. Жёстко. Отчаянно. Зубами о зубы. Так, будто проверяла, живой ли я.

Поезд стоял у платформы. Двери открылись. Из вагона кто-то вышел, посмотрел на нас, на двух людей, целующихся на бетоне посреди пустой станции в одиннадцать вечера, – и пошёл к лестнице.

Майя оторвалась от моих губ. Прижалась лбом к моему лбу.

– Никогда, – прошептала она. – Никогда так больше. Слышишь? Правило пять.

– Хорошо.

– Обещай.

– Обещаю.

Она закрыла глаза. Выдохнула. Пар смешался с моим.

Потом мы оба одновременно повернули головы.

Он сидел у стены навеса. В трёх метрах. Скорчившись, прижав колени к груди. Маска сбилась набок, съехала с лица, и висела на одном ухе.

Под ней было лицо, которое я знал.

Мягкое, огромное, капризное. Нос со свежим шрамом – там, где он встретился со стеной в лофте Прайса.

Тайлер Брукс.

Он смотрел на меня круглыми, мокрыми, перепуганными глазами. Глазами ребёнка, которого никогда не наказывали. И который только что чуть не умер.

– Ты, – сказал я.

Он всхлипнул.

– Она сказала... – Голос у него был тонкий, сорванный. – Селеста сказала, это просто телефон. Забрать и всё. Она сказала, ты не побежишь. Она сказала... – Он судорожно вдохнул. – Она дала мне маску. Сказала надеть. Сказала, ты поймёшь.

У меня внутри всё стало очень тихим.

– Пойму что?

Тайлер смотрел на меня. На Майю. Снова на меня.

– Что она знает, – прошептал он. – Что это был ты. Под маской. Всё это время. Она сказала, что у неё есть доказательства. Фотографии. Как ты приходил к Беннет ночью. В маске. Она сказала, что ты её... – Он запнулся. – Что ты её преследовал. По-настоящему. И что если ты не будешь делать, что скажет Виктор, она отнесёт всё в полицию.

Майя у меня на плече окаменела.

Я смотрел на маску, висевшую у Тайлера на ухе.

Гипсовая. Белая. С прямым носом.

Сделанная по той же форме, что и моя. Я знал эту форму. Я сам отливал свою – в ноябре, на следующий день после галереи, ночью, в скульптурной мастерской института, когда там никого не было. Из гипса, который брал с полки Прайса. По форме, которую нашёл у него на стеллаже. Я думал, никто не знает.

Джулиан знал. Конечно, знал. Это был его гипс. Его формы. Его стеллаж.

А Джулиан – крестник Хейла.

* * *

Тайлера увезла полиция. Кто-то из пассажиров вызвал, когда увидел человека на рельсах. Мы сказали, что он пытался перепрыгнуть на другую платформу. Что я его вытащил. Это была правда. Почти.

Про телефон мы не сказали. Про маску – тоже. Маска лежала у меня во внутреннем кармане куртки. Я забрал её с его уха, пока он плакал, и он даже не заметил.

Мы шли обратно к фабрике пешком. По пустым улицам Пилсена. Мимо мексиканской пекарни с жёлтой вывеской. Мимо прачечной миссис Окафор, тёмной, с опущенными жалюзи.

Майя держала меня за руку. Крепко. Не отпускала.

Она молчала всю дорогу. Я тоже.

У переулка за прачечной – того самого, где в ноябре я впервые стоял в темноте и ждал её, – она остановилась.

Фонарь там так и не починили.

– Это правда? – спросила она тихо. – То, что сказал Тайлер. Про фотографии.

Я смотрел в тёмный переулок.

– Не знаю, – сказал я. – Правило первое. Я не знаю, что у неё есть. Если кто-то снимал, как я прихожу к твоему дому в маске – это значит, кто-то следил за мной. Всё это время. Пока я следил за тобой.

Она сжала мою руку сильнее.

– Если она отнесёт это в полицию, – сказала Майя, – что будет?

– То, что я заслужил.

– Нет. – Она развернулась ко мне. – Нет. Ты меня не заставлял. Ни разу. Ты каждый раз давал мне уйти. Я сама приходила. Я скажу им.

– Майя...

– Я скажу им, Адам. – Голос у неё дрогнул. – Я сама приходила. Каждый раз.

Я смотрел на неё. В темноте, у переулка, где всё началось.

Потом обнял. Притянул к себе, уткнулся лицом ей в волосы – они всё ещё пахли шампанским Селесты, сладко и липко, – и держал.

Она держала меня в ответ.

Мы стояли так долго. Пока мимо не проехала машина и свет фар не скользнул по нам и не ушёл дальше.

Когда мы дошли до фабрики, окна уже не горели. Только в нашей мастерской, на третьем этаже, в торце, светился одинокий прямоугольник. Мы забыли выключить свет.

Мой телефон завибрировал в кармане. Я достал его.

Одно сообщение. С номера, который я сохранил ещё в ноябре и ни разу не набрал.

Хейл: *Вы сделали выбор, Адам. Мне жаль. Правда.*

И через секунду – второе.

Хейл: *Передайте мисс Беннет, чтобы не ходила одна.*

Глава 13. Майя

Переулок

Статья вышла в среду, шестого января, в восемь утра.

Я узнала о ней не из телефона. От миссис Окафор. Она постучала в мою дверь в половине девятого, в халате, с газетой в одной руке и пакетом плантанов в другой, и, когда я открыла, сказала:

– Девочка. Ты на первой полосе.

Я стояла на пороге в одной футболке и смотрела на газету.

«Chicago Tribune». Раздел «Искусство». Заголовок на полстраницы: «Тишина, которую купили: бывшая стипендиатка обвиняет фонд Хейла в систематическом присвоении работ» .

И фотография.

Мы. Посреди мастерской, под проектором. Его ладони на моём лице. Мои руки в его рубашке. Синее платье. Шампанское на моей шее блестит в свете вспышки. И на заднем плане, размытый, но узнаваемый, – Хейл с бокалом.

– Это ведь тот мальчик, – сказала миссис Окафор. – Который приходил ночью. Во вторник. С синими руками.

Я подняла на неё глаза.

– Я не сплю по ночам, девочка. Я сушу простыни. – Она сунула мне газету и пакет. – Он хорошо на тебя смотрит. А ты ешь. Совсем исхудала, тебя скоро ветром сдует.

Она ушла вниз по лестнице, шаркая тапочками.

Я закрыла дверь и прислонилась к ней спиной.

Адама дома не было. Он ушёл в шесть утра на смену в кафе на Дивижн – первую за месяц, пропустить её он не мог. Его половина кровати была пустой, но подушка ещё пахла им: скипидаром и снегом.

Я легла на его сторону, положила газету рядом и долго смотрела на нашу фотографию.

* * *

Резиденция закончилась вечером четвёртого января, после той вечеринки. Утром пятого я собрала свои вещи: отпечатки, мокрую плёнку и свитер Адама, который я так и не вернула. И вернулась к себе в Пилсен, в квартиру над прачечной, с воющей батареей и кривым полом в ванной.

Он пришёл в тот же вечер. Без предупреждения. Постучал в одиннадцать, и, когда я открыла, стоял на площадке – в куртке, с рюкзаком на одном плече и с пакетом из той мексиканской пекарни с жёлтой вывеской.

– Хейл сказал не ходить одной, – сказал он. – Я подумал, что раз так, то ты не будешь ходить одна.

– Ты будешь меня провожать?

– Я буду здесь жить. – Он помолчал. – Если ты разрешишь. Правило второе всё ещё твоё.

Я смотрела на него. На пакет с булками. На рюкзак, из которого торчал край свёрнутого холста.

– Это что? – спросила я.

– Тот, где у тебя открыты глаза. Я не хотел оставлять его в фабрике.

Я отошла от двери. Он вошёл. Поставил рюкзак у стены, рядом с моей коробкой из-под чая. Огляделся. Посмотрел на трещину в потолке, похожую на реку. На проигрыватель. На батарею, которая как раз в этот момент взвыла так, будто внутри кого-то убивали.

– У тебя тут уютно, – сказал он серьёзно.

Я засмеялась. И он улыбнулся – той кривой, мальчишеской улыбкой, которую я видела всего несколько раз и каждый раз хотела сфотографировать.

С того вечера он жил у меня. Спал на моей узкой кровати, обнимая меня так, что мы помещались. Ставил чайник по утрам. Растирал свой синий на моём кухонном столе, на куске стекла, который принёс с собой, и я просыпалась от звука куранта по стеклу и думала, что ни разу в жизни не просыпалась так спокойно.

* * *

В тот вечер, когда вышла статья, он вернулся со смены в восемь. Пахнущий кофе и холодом. С газетой под мышкой – он купил её в киоске у станции, хотя у меня уже была одна.

– Ты видела? – спросил он с порога.

– Видела. Миссис Окафор принесла.

– Тебе звонили?

– Три раза из деканата. Два раза – с номеров, которых я не знаю. Один раз – Огден. – Я сглотнула. – Он сказал: «Беннет, я горжусь тобой. И я, кажется, всё-таки съем свой штатив».

Адам засмеялся. Поставил газету на стол. Снял куртку.

– А тебе? – спросила я.

– Мама. – Он помолчал. – Я позвонил ей во вторник утром. Рассказал всё. Она молчала минут пять. Потом сказала: «Ну наконец-то». И ещё сказала, что если её сократят, она пойдёт работать в больницу Фроедтерт, там давно зовут. – Он посмотрел на меня. – Она хочет с тобой познакомиться.

У меня что-то сжалось в груди.

– Со мной?

– С девочкой, которая не открыла конверт.

Я подошла к нему. Положила руки ему на грудь. Под футболкой билось сердце – ровно, спокойно, совсем не так, как в ту ночь под аркой.

– Иди в душ, – сказала я. – От тебя пахнет кофе.

– Тебе не нравится?

– Нравится. – Я потянула его футболку вверх. – Поэтому иди в душ. Я с тобой.

* * *

Душ у меня крошечный. Кабинка, в которой с трудом поворачивается один человек. Вода то кипяток, то лёд, и кран надо держать в определённом положении, иначе он плюётся. Пол наклонён к двери, и вода стекает в угол, где отклеилась плитка.

Мы поместились.

Он стоял под струёй спиной к стене, с закрытыми глазами, и вода текла по его лицу, по шее, по плечам. Я смотрела, как она стекает по его груди, по животу, ниже. Как блестит синее под ногтями на пальцах, которыми он убирал мокрые волосы со лба. Пар поднимался к потолку, оседал на зеркале, и в этом белом тумане он был похож на что-то, что мне снится.

Я взяла мыло. Провела по его груди. Медленно. По плечам. По рёбрам, где под кожей перекатывались мышцы. По животу.

Он открыл глаза.

– Майя.

– Тихо, – сказала я. – Я запоминаю.

Его зрачки расширились. Он узнал свои слова.

Я опустила руку ниже. Обхватила его член, скользкий от мыла, твёрдый уже, – и провела вверх. Медленно. Вниз. Он втянул воздух сквозь зубы и упёрся затылком в кафель.

Я делала это медленно, долго, глядя ему в лицо. Вода била мне в спину, горячая, почти обжигающая. Он стоял, опустив руки, сжав кулаки, и позволял мне. Дышал всё тяжелее. Его бёдра начали подаваться навстречу моей руке, сначала едва заметно, потом сильнее.

А потом он перехватил моё запястье.

– Хватит, – сказал он хрипло.

Развернул меня. Одним движением, легко, как разворачивают холст на мольберте. Я оказалась лицом к стене, ладонями на мокром кафеле. Холодный кафель. Горячая вода. Его грудь у меня на спине.

– Руки не убирай, – сказал он мне в ухо.

Я не убирала.

Его ладони легли мне на бёдра. Сжали. Потом скользнули вперёд, вверх, по животу, накрыли грудь. Он сжал соски пальцами – сильно, почти больно, – и я застонала, и стон отразился от кафеля и вернулся ко мне, громкий, бесстыдный.

– Тише, – сказал он. – Миссис Окафор не спит по ночам.

– Она сушит простыни, – выдохнула я.

– Вот пусть и сушит.

Он раздвинул мои ноги коленом. Шире. Я прогнулась, выставляя себя ему навстречу, прижалась щекой к кафелю. Вода текла по моей спине, по ложбинке позвоночника, туда, где он стоял.

Его пальцы скользнули между моих ног. Проверили. Нашли меня мокрой – и не от воды.

– Ты всё это время, – прошептал он, – пока гладила меня... ты уже была такая?

– Да.

– Блять, – выдохнул он мне в шею. Хрипло, низко. – Ты гладила меня, а сама уже текла. Вся. Для меня.

И вошёл в меня сзади. Резко. Глубоко. До конца, одним толчком, так что меня вжало в стену и ладони соскользнули по мокрому кафелю. Я вскрикнула. Он поймал меня – одной рукой под живот, другой за плечо – и держал.

– Руки, – напомнил он.

Я вернула ладони на кафель. Упёрлась.

И он начал двигаться.

Жёстко. Глубоко. Каждый толчок вжимал меня в стену, и я чувствовала его целиком – как он входит, как выходит почти до конца, как снова врезается в меня, и вода между нами хлюпала, и звук этого был такой непристойный, что у меня горели уши. Его рука на моём животе спустилась ниже, нашла клитор, и пальцы задвигались в том же ритме, быстро, жёстко, без жалости.

– Адам... – Я не узнавала свой голос. – Адам, я сейчас...

– Не сейчас. – Его пальцы замерли. Он тоже замер – глубоко во мне. – Подожди.

– Я не могу...

– Можешь. – Он прикусил мне плечо. – Подожди меня.

Я ждала. Дрожала, прижавшись лбом к холодной стене, и ждала, пока он снова начнёт двигаться – медленно, мучительно медленно, так, что я чувствовала каждый сантиметр. Потом быстрее. Потом ещё быстрее. Его пальцы снова нашли меня. Дыхание у моего уха стало рваным, хриплым.

– Теперь, – выдохнул он. – Теперь можно.

И я сорвалась. Закричала, уже не думая о миссис Окафор, о простынях, о соседях за стеной. Меня трясло, я сжималась вокруг него волнами, и он вжал меня в кафель всем телом и застонал мне в шею – глухо, низко, – и я почувствовала, как он кончает в меня, горячо, толчками, глубоко.

Мы стояли так долго. Вода остывала. Становилась тёплой. Потом прохладной. Потом совсем холодной.

– Кран, – сказала я, не открывая глаз.

– Знаю.

Он не пошевелился.

– Адам. Ледяная.

– Знаю. – Он поцеловал меня в мокрое плечо. Туда, где только что укусил. – Ещё секунду.

* * *

В четверг меня вызвали к декану.

Я ждала худшего. Ждала, что меня отчислят. Что фонд подал иск. Что Хейл позвонил кому надо, и всё закончится, не успев начаться.

Декан сидел за своим столом, тем же самым, за которым в сентябре закрыл папку с моим делом, как крышку гроба. Только теперь на столе лежала газета. И рядом с ним сидела женщина, которую я никогда не видела, – в строгом костюме, с бейджем университетской юридической службы.

– Мисс Беннет, – сказал декан. Голос у него был совсем другой. Мягкий. Осторожный. Как у человека, который понял, что ошибся, и боится, что это заметят. – Присаживайтесь. Мы бы хотели... поговорить. О ваших фотографиях.

Я села.

Они говорили час. Юристка задавала вопросы. Я показывала исходники. Метаданные. Распечатку, которую Адам дал мне на платформе. Сорок шесть кадров из архива. Декан молчал и только всё больше бледнел.

В конце юристка закрыла свой блокнот.

– Институт инициирует независимую проверку, – сказала она. – Если ваши слова подтвердятся, мы поддержим вас в любых дальнейших действиях против фонда. – Она помолчала. – И мисс Беннет. Пока идёт проверка – будьте осторожны.

Я вышла из кабинета на ватных ногах.

Он ждал меня в коридоре. Сидел на подоконнике у лестницы, в куртке, с капюшоном на плечах. Встал, когда увидел моё лицо.

– Ну?

– Независимая проверка, – сказала я. И засмеялась. И у меня задрожали губы, и я не знала, плачу я или смеюсь. – Адам. Они мне поверили.

Он ничего не сказал. Просто сгрёб меня в охапку посреди коридора, при всех, при каких-то первокурсниках с тубусами, и прижал к себе так, что затрещали рёбра.

* * *

Вечером я затащила его в фотолабораторию.

На пятом этаже было пусто – каникулы ещё не кончились, студенты разъехались. Мистер Деламар на вахте посмотрел на нас поверх газеты, на меня, на Адама, на мою руку в его руке, – и только хмыкнул.

– Юная леди, – сказал он. – Я в двенадцать закрываю. Как всегда.

– Я знаю, мистер Деламар.

– Я обхожу пятый этаж в одиннадцать сорок, – добавил он, снова уткнувшись в газету. – Как всегда.

Адам рядом со мной издал звук, похожий на сдавленный кашель.

Я хотела напечатать один кадр. Тот, с платформы. Вспышка, поезд, его лицо без маски, с отпечатком моей ладони на щеке. Я проявила плёнку ещё в резиденции, но так и не решилась сделать отпечаток.

Я провела его через вращающуюся дверь, через чёрный барабан. Щёлкнула задвижкой изнутри.

И включила красный свет.

Он стоял у двери и смотрел, как я двигаюсь по лаборатории. Как наливаю проявитель. Как ставлю негатив в увеличитель, кручу ручку резкости, щурюсь. Он ничего не говорил. Красный свет лежал на нём, на его скулах, на шее, на руках.

В последний раз, когда мы были здесь вдвоём, я не знала, кто он.

– Тебе нормально? – спросила я, не оборачиваясь. – Здесь?

– Не знаю, – сказал он честно. – Я думал об этом месте каждую ночь. Я думал, что больше никогда сюда не войду.

– Почему?

– Потому что я был здесь в маске. – Он помолчал. – Я делал тебе хорошо и думал: если ты узнаешь, ты меня возненавидишь.

Я обернулась.

– Я узнала.

– И возненавидела.

– На неделю. – Я подошла к нему. Близко. – Потом передумала.

Включила таймер на увеличителе. Свет через негатив упал на бумагу – десять секунд. Потом погас. Я опустила лист в кювету с проявителем.

Белое. Пустое.

– Иди сюда, – сказала я.

Он подошёл. Встал у меня за спиной. Как тогда.

Только теперь я взяла его руки – голые, без перчаток, с синим под ногтями – и положила себе на живот. Сама.

– Смотри, – сказала я.

Мы смотрели вместе. Как из белого начинает выступать серое. Тени. Контуры. Скула. Растрёпанные волосы. Рот, приоткрытый, будто он хотел что-то сказать. Глаза – прямо в объектив, прямо на меня, на нас. Отпечаток ладони на щеке, тёмный, как синяк.

Человек, который никогда не выдыхал. Выдохнул.

Его руки на моём животе сжались.

– Это я? – прошептал он.

– Это ты.

Он молчал. Долго. Я чувствовала, как колотится его сердце у меня за спиной.

– Я никогда себя таким не видел, – сказал он наконец.

– Я знаю. – Я вынула снимок пинцетом и опустила в стоп-ванну. Потом в фиксаж. – Я видела. Тогда, на платформе. Поэтому и нажала на спуск.

Он развернул меня к себе.

И поцеловал так, что я перестала понимать, где верх, где низ, где я, где он.

* * *

Он посадил меня на стол.

Тот самый. Длинный, металлический, холодный, с кюветами вдоль края. Отодвинул их ладонью, не глядя, – фиксаж плеснул, стоп-ванна звякнула. Мне было всё равно. Ему тоже.

Он стянул с меня свитер. Майку. Расстегнул джинсы и стянул их вместе с бельём, одним рывком, до щиколоток, и дальше, на пол. Я сидела на холодном металле голая, в красном свете, и дрожала – не от холода.

Он стоял между моими коленями. Одетый. В джинсах, в футболке, с ремнём. Смотрел на меня. Красный свет делал его глаза почти чёрными.

– Ляг, – сказал он.

Я легла. Спиной на холодный стол. Металл обжёг лопатки, и я выгнулась, и он положил ладонь мне на живот и прижал обратно.

– Лежи.

Он опустился на колени. Между моих ног. Взял меня под колени и закинул мои ноги себе на плечи. Медленно. Широко. Так, что я была перед ним вся – открытая, беззащитная, в красном свете, на столе, где месяц назад он держал меня, зажав мне рот ладонью.

– Помнишь? – спросил он. Его дыхание коснулось меня там, горячее. – Охранник за дверью. Моя рука у тебя на губах.

– Помню, – выдохнула я.

– Тогда я трогал тебя пальцами. В перчатке. – Он провёл губами по внутренней стороне моего бедра. – А хотел вот так.

И накрыл меня ртом.

Не медленно. Не дразня. Сразу, целиком, жадно, – язык снизу вверх, широко, тяжело, и сразу к клитору. Втянул его губами так, что я вскрикнула и вцепилась в край стола. Он держал мои бёдра, вдавливая пальцы, не давая сдвинуться. Его язык двигался быстро, жёстко, без пауз, кругами, потом вверх-вниз, потом снова кругами, и я не успевала дышать.

Красный свет. Запах проявителя, кислый, сладковатый. Металл под спиной, холодный. Его рот на мне – горячий. И где-то в кювете, в фиксаже, плавало его лицо, с отпечатком моей ладони, и смотрело на нас.

Он вошёл в меня двумя пальцами. Согнул их внутри. Нашёл то место. Нажал.

Я закричала.

Он не остановился. Пальцы и язык, в одном ритме, быстро, глубоко, безжалостно, – и меня подбросило над столом, выгнуло дугой, и я кончила так, что ноги у него на плечах задрожали и пальцы на краю стола свело судорогой.

Он не отпустил. Продолжал – мягче, медленнее, – пока я не начала скулить и отталкивать его голову ладонью.

Тогда он поднялся.

Расстегнул ремень. Я смотрела снизу вверх, задыхаясь, как он расстёгивает джинсы. Как спускает их. Его член, твёрдый, тёмный в красном свете.

– Развернись, – сказал он.

Ноги не держали. Он помог – снял меня со стола, развернул, и я встала на дрожащих ногах, лицом к столу, животом к холодному металлу. Он положил ладонь мне между лопаток и надавил. Медленно. Я легла грудью на стол. Щекой на металл. Прямо перед глазами, в двадцати сантиметрах, – кювета с фиксажем. И его лицо в ней.

– Смотри на него, – сказал Адам.

Я смотрела. На его лицо на снимке. Растрёпанное. Голое. Без маски.

И он вошёл в меня сзади.

Медленно. Глубоко. Так глубоко, что я ахнула и вцепилась пальцами в край стола. Он замер. Держал меня за бёдра. Дышал.

– Ты знаешь, – сказал он хрипло, – сколько раз я представлял это? Здесь? Тебя на этом столе?

– Сколько? – выдохнула я.

– Каждую ночь. С ноября.

И начал двигаться.

Сильно. Глубоко. Стол дрожал под нами, кюветы звенели, жидкость плескалась через край. Каждый толчок вжимал меня в металл, и я чувствовала, как трутся соски о холодную поверхность, и это было почти больно и так хорошо, что темнело в глазах. Он держал меня за бёдра, насаживал на себя, жёстко, ритмично, и я слышала, как он дышит – хрипло, сквозь зубы, – и как стонет моё имя.

Потом его рука легла мне на затылок. Собрала волосы в кулак. Потянула. Не больно – но так, что я подняла голову от стола и выгнулась, и он вошёл ещё глубже.

– Скажи, – прорычал он. – Скажи, что тебе нравится.

– Нравится, – выдохнула я. – Адам. Нравится. Не останавливайся.

Он не остановился.

Где-то в коридоре, далеко, звякнули ключи. Мистер Деламар. Одиннадцать сорок. Как всегда.

Адам не остановился. Наоборот – вбивался в меня быстрее, жёстче, и его вторая рука скользнула вперёд, под меня, нашла клитор. Шаги в коридоре – всё ближе. Тяжёлые, медленные, шаркающие.

– Он услышит, – прошептала я.

– Пусть, – сказал Адам. – Пусть слышит, юная леди.

Я засмеялась – сорванно, хрипло, – и смех перешёл в стон, а стон в крик, и я кончила второй раз, прямо на столе, с его рукой в моих волосах и его пальцами между моих ног, и шаги за дверью остановились.

Он догнал меня через секунду. Вжался в меня до конца, навалился грудью мне на спину и застонал мне в шею – долго, глухо.

Тишина.

За дверью кашлянули.

– Одиннадцать сорок, – сказал голос мистера Деламара. Невозмутимый. – Я пошёл на шестой этаж. Вернусь в двенадцать.

Шаги удалились.

Адам уткнулся лбом мне в плечо. Его трясло. Я не сразу поняла, что от смеха.

– Он знал, – прошептал Адам. – С самого начала знал.

– Он всегда приносит мне кофе, – сказала я в металл стола. – И называет меня «юная леди».

– Я куплю ему бутылку виски.

– Купи две.

* * *

Мы ехали домой на последнем поезде.

Розовая ветка в половине первого ночи – это пустые вагоны, жёлтый свет, гул колёс и чьи-то забытые газеты на сиденьях. Мы сели в последний вагон. Совсем пустой. Только мы двое и отражения в чёрных окнах.

Я сидела у него на коленях боком, привалившись плечом к его груди. Не помню, как так получилось. Просто села, когда поезд тронулся, и он обнял меня, и мы ехали так, качаясь вместе с вагоном.

Он достал телефон. Наушники. Один вставил себе в ухо, другой – мне.

– Что это? – спросила я.

– Слушай.

Labrinth. «Still Dont Know My Name». Голос, сначала тихий, хриплый, почти шёпот, потом поднимающийся, срывающийся, – как будто человек поёт кому-то, кто его так и не узнал. Я знала эту песню. Я слушала её прошлой зимой, на платформе, и думала, что она про меня.

– Ты слушал это, когда... – начала я.

– Когда сидел у тебя за спиной на семинаре. – Он смотрел в окно, на наше отражение. – Каждый день. Ты меня так и не узнала.

– Узнала.

– Через месяц.

– Через месяц, – согласилась я. И развернулась к нему лицом: перекинула ногу через его колени и села на него верхом.

Он поднял брови.

– Майя. Мы в поезде.

– Я знаю.

– Тут камеры.

Я посмотрела вверх. В углу вагона, над дверью, висела маленькая чёрная полусфера. Без огонька.

– Она не работает, – сказала я. – Посмотри. Нет красного.

– Откуда ты...

– Я полтора года ездила в этих вагонах. – Я расстегнула его куртку. – Я знаю, в каких камеры работают, а в каких нет. В последнем вагоне розовой ветки они не работают с прошлого марта.

Он смотрел на меня. Долго. В его глазах было что-то похожее на восхищение. И на страх. И на голод.

– Ты сумасшедшая, – сказал он.

– Это ты научил меня смотреть, где не горит красный огонёк, – сказала я.

Я расстегнула свои джинсы. Он помог – стянул их вниз, до колен, вместе с бельём, ровно настолько, насколько было нужно. Накрыл мои бёдра полами своей куртки. Длинной, тёмной, тяжёлой.

Поезд качнулся на повороте. Я схватилась за его плечи.

Он расстегнул ремень. Молнию. Я почувствовала его – горячего, твёрдого – между своих бёдер, под курткой, в темноте, где никто не видел.

Следующая станция – через две минуты.

Я опустилась на него.

Медленно. До конца. Он выдохнул – долго, сквозь зубы, – и откинул голову на спинку сиденья. Его руки легли мне на бёдра, под курткой.

Мы не двигались. Поезд двигался за нас. Качался, вздрагивал на стыках рельсов, и каждый толчок отдавался во мне, глубоко, неожиданно, – то слабее, то сильнее. Я сидела на нём, держась за его плечи, и смотрела ему в лицо, а за его головой, в чёрном окне, проносились огни Пилсена.

В наушниках Labrinth поднимался всё выше, срываясь.

Я начала двигаться сама. Медленно. Вверх-вниз, в такт поезду. Он сжал мои бёдра сильнее.

– Майя, – выдохнул он. – Станция.

Поезд тормозил. Огни платформы вплыли в окна – жёлтые, яркие, безжалостные. Я замерла. На нём, с ним внутри, под курткой. Двери открылись.

На платформе стоял человек. Пожилой, в оранжевом жилете, с термосом. Он посмотрел на нас – на девушку, сидящую на коленях у парня, в обнимку, в пустом вагоне.

И отвернулся. Как отворачиваются от влюблённых.

Двери закрылись. Поезд тронулся.

Адам смотрел на меня широко открытыми глазами.

– Это был... – начал он.

– Да, – сказала я. – Тот самый. С «Кларк/Лейк». Из первой ночи.

– Он нас видел.

– Он видел двоих, которые обнимаются. – Я наклонилась к нему. – Он всегда смотрит на рельсы так, будто ждёт не поезд, а что-то гораздо важнее. Я так и не узнала, что.

И начала двигаться снова.

Быстрее. Жёстче. Он больше не просил меня остановиться. Его руки под курткой сжимали мои бёдра, насаживали меня на себя, всё сильнее, всё глубже. Поезд грохотал. Колёса стучали. Огни мелькали в окне. Я кусала губы, чтобы не кричать, и он смотрел, как я кусаю губы, и одной рукой притянул мою голову к себе и поцеловал, и я застонала ему в рот.

Его рука скользнула между нами. Под курткой. Нашла меня.

– Вместе, – прошептал он мне в губы. – Ещё раз. Вместе.

– Да...

Поезд нырнул под мост. Темнота. Грохот, отражённый от бетона, такой громкий, что я не слышала собственного крика. И в этой темноте, в этом грохоте, я кончила, сжимаясь вокруг

него, и он вскинул бёдра мне навстречу и кончил вместе со мной, глубоко, вцепившись в меня так, будто поезд мог сбросить меня с него.

Поезд вынырнул из-под моста. Огни. Тишина. Стук колёс.

Я сидела на нём, уткнувшись лицом ему в шею, и дышала. Labrinth в наушнике доиграл последнюю ноту и замолчал.

– «Восемнадцатая», – объявил механический голос.

Я засмеялась ему в шею. Не могла остановиться.

– Наша, – сказала я.

– Наша, – согласился он. И не пошевелился.

Двери открылись. Закрылись. Поезд пошёл дальше.

Мы проехали свою станцию.

* * *

Мы вышли на следующей и пошли пешком. Полчаса. Через снег, через пустые улицы, через перекрёсток у мексиканской пекарни. Я держала его за руку и не чувствовала холода. Он нёс в другой руке конверт с отпечатком – его лицо с платформы, ещё влажное от фиксажа, обёрнутое в мой шарф.

Было без двадцати два.

У переулка за прачечной я замедлила шаг. Как всегда. Фонарь там так и не починили. Темнота стояла плотная, густая, как в ту первую ночь.

Адам почувствовал, как я замедлилась.

– Пойдём через улицу, – сказал он. – Обойдём.

– Это пять минут лишних.

– Пусть.

Я посмотрела на него. На его лицо в свете фонаря на углу. Он смотрел в переулок. И что-то в его лице было не так.

– Что? – спросила я.

– Ничего. – Он не отводил глаз от темноты. – Просто давай обойдём.

Я посмотрела туда, куда смотрел он.

Мусорные баки. Решётка вентиляции прачечной, из которой всегда тянуло тёплым паром. Пожарная лестница. Капель – кап, кап.

И у баков, в тени, – там, где в ноябре стоял он, в маске, – что-то шевельнулось.

Не одно. Два.

Две фигуры отделились от стены. Широкие, в тёмных куртках, в чёрных вязаных балаклавах с прорезями для глаз. Не гипс. Не белая маска.

Они вышли на свет. Медленно. Как будто никуда не торопились.

Адам отпустил мою руку. Шагнул вперёд. Встал между мной и ними.

– Майя, – сказал он, не оборачиваясь. Тихо. Ровно. – Иди к прачечной. Стучи в дверь миссис Окафор. Громко.

– Адам...

– Иди.

Я не пошла.

* * *

Первый был выше Адама на полголовы. Второй – ниже, но шире, с плечами, как у грузчика. У второго в руке что-то блеснуло. Коротко, металлически.

– Мы за камерой, – сказал высокий. Голос был скучный, как у человека, который выполняет работу. – И за телефоном девочки. Отдайте – и разойдёмся.

– Кто вас прислал? – спросил Адам.

– Санта-Клаус. – Высокий шагнул ближе. – Камеру, пацан. Не усложняй.

Камера висела у меня на шее. Под курткой. Моя старая плёночная камера с потёртым ремнём. В ней была плёнка, которую я ещё не проявила – трубы в метель, его рука на колене, свечи на синей ленте.

– Нет, – сказала я.

Высокий посмотрел на меня поверх плеча Адама. Удивлённо. Как будто мебель заговорила.

– Чего?

– Нет, – повторила я. Голос дрожал. Но я договорила. – Не отдам.

Высокий пожал плечами.

– Как хочешь.

И ударил Адама.

* * *

Он бил коротко, без замаха, снизу – в челюсть. Профессионально. Так бьют люди, которые делают это за деньги.

Адам ушёл. Не до конца – кулак скользнул по скуле, рассёк кожу, – но ушёл, развернулся на пятке и вбил локоть высокому в солнечное сплетение. Тот согнулся с хрипом. Адам схватил его за затылок и с размаху ударил лицом о своё колено.

Хруст. Мокрый, тошнотворный. Высокий отлетел назад, на мусорные баки. Баки загрохотали. Он сполз по ним, держась за лицо, и между пальцами у него хлестала кровь – чёрная в темноте.

Широкий не стал ждать.

Он бросился на Адама сбоку. То, что блестело у него в руке, – я увидела теперь – был нож. Короткий, широкий, с зубцами у рукояти.

– Адам! – закричала я.

Он обернулся. Нож прошёл мимо живота – в сантиметре, – и полоснул по предплечью. Куртка разошлась. Адам зашипел. Перехватил запястье широкого обеими руками, вывернул, и они вдвоём врезались в кирпичную стену.

Нож не выпадал. Широкий был сильнее. Тяжелее. Он прижал Адама к стене всем весом и давил, давил, и лезвие медленно ползло к лицу Адама. Сантиметр за сантиметром. Адам держал его руку, и у него на шее вздулись жилы, и кровь из распоротого предплечья текла по его пальцам на запястье широкого, и пальцы скользили.

Высокий за моей спиной поднимался с земли. Держась за баки. С разбитым носом, захлёбываясь кровью.

Он посмотрел на меня.

И пошёл ко мне.

Я отступила. Спиной к стене. Кирпич, холодный, мокрый. Как в ноябре. Как в ту первую ночь.

Только теперь передо мной не было белой маски. Была чёрная балаклава, и кровь, текущая из-под неё на подбородок, и рука, тянущаяся к моей шее. К ремню камеры.

– Отдай, сука, – прохрипел он.

Я сорвала камеру с шеи.

Перехватила за ремень. Обеими руками. Как пращу.

И ударила его.

Изо всех сил. Наотмашь. Камерой – тяжёлой, металлической, старой «Пентакс», которую я купила на блошином рынке на деньги с первой подработки, – в висок.

Звук был глухой. Как будто уронили камень в мокрый песок.

Высокий качнулся. Постоял секунду. И упал на колени, прямо в грязный снег, держась за голову.

Камера в моих руках развалилась.

Объектив отлетел и покатился по асфальту. Задняя крышка распахнулась. Плёнка – моя плёнка, трубы в метель, его рука на колене, две свечи на синей ленте – вывалилась наружу, длинной блестящей лентой, прямо на свет из окна прачечной.

Засвечена. Вся.

Я стояла с ремнём в руках и смотрела на неё.

* * *

За моей спиной кто-то закричал.

Адам.

Я обернулась. Он всё ещё был у стены. Широкий навалился на него. Нож был в десяти сантиметрах от его лица. В пяти.

И тогда Адам сделал то, чего широкий не ждал.

Он отпустил его руку.

Нож рванулся вперёд – и Адам ушёл вниз, под лезвие, и лезвие с визгом чиркнуло по кирпичу там, где только что была его голова. Широкого по инерции бросило на стену. Лбом. Адам вынырнул у него из-под руки, схватил за запястье, вывернул его за спину – и ударил локтем назад. В почку. Один раз. Второй. Третий.

Широкий заорал. Нож упал на асфальт. Адам отбросил его ногой – далеко, под мусорные баки.

Широкий развернулся. Попытался ударить. Адам поймал кулак ладонью и ударил его в ответ – в горло. Не сильно. Ровно настолько, чтобы тот захрипел, схватился за шею и сел на землю, хватая воздух.

Адам стоял над ним. Тяжело дыша. С окровавленной рукой, с рассечённой скулой, с разорванной курткой. Он занёс ногу – и я видела, что он сейчас ударит, в лицо, в голову, со всей силы, и что он не остановится.

– Адам! – крикнула я.

Он замер.

Обернулся ко мне. И я увидела его глаза. Пустые. Чёрные. Как прорези маски.

Секунду он смотрел на меня и не узнавал.

Потом узнал.

Опустил ногу.

* * *

Над головой загорелся свет. Окно второго этажа. Потом третьего. Потом дверь прачечной распахнулась, и на пороге появилась миссис Окафор. В халате. С бейсбольной битой в одной руке и телефоном в другой.

– Полиция уже едет, – сказала она громко. Спокойно. – Я им сказала, что тут двое белых мужиков с ножом напали на детей. Они очень быстро едут. Так что я бы на вашем месте бежала.

Высокий поднялся первым. Шатаясь. Схватил широкого за шиворот. Они побежали – вдвоём, спотыкаясь, держась друг за друга, – в конец переулка, в темноту, туда, откуда в ноябре уходил он, в маске.

Где-то вдалеке завыла сирена.

Адам стоял посреди переулка. Потом медленно сел. Прямо в снег. Прислонился спиной к стене.

Я подбежала к нему. Упала на колени рядом.

– Адам. Адам, посмотри на меня.

Он посмотрел. Глаза были его. Серые. Живые. Усталые.

– Ты цела? – спросил он.

– Я? – Я засмеялась. Сорванно. – Ты истекаешь кровью, идиот.

Он посмотрел на свою руку. Рукав куртки был распорот от локтя до запястья, и под ним было мокрое, красное, много красного. Кровь капала с пальцев на снег – кап, кап, – в такт капели с пожарной лестницы.

– А, – сказал он. – Да.

И его голова медленно опустилась мне на плечо.

* * *

Больница Святого Антония на Девятнадцатой. Приёмное отделение в три часа ночи. Жёлтый свет, пластиковые стулья, автомат с водой, который никто не чинил. Мужчина с перебинтованной головой спит, уронив подбородок на грудь. Женщина с ребёнком на руках, укачивает, напевает что-то по-испански.

Я сидела на пластиковом стуле с его курткой на коленях. Разорванной, чёрной от крови. Ремень от моей камеры был намотан у меня на запястье. Остальное – объектив, корпус, засвеченная плёнка – лежало в пакете, который миссис Окафор сунула мне в руки, когда я садилась в скорую.

– Вот, – сказала она тогда. – Собрала. Может, ещё починишь.

Я не починю. Я знала. Корпус треснул пополам.

Три года у меня была эта камера. Три года я смотрела через неё на мир. Через неё я увидела женщину в бордовом пальто, парня с гитарным кейсом, старика с газетой. Через неё я впервые увидела себя – в стекле поезда, на «Кларк/Лейк», в ту первую ночь. Через неё я увидела его. Без маски. На платформе. В ту секунду, когда он выдохнул.

И я разбила её о голову человека, который пришёл за ней.

Я сидела и ждала, что заплачу. Не плакала.

Было странно. Пусто. Как будто кто-то вынул у меня из груди какую-то деталь, которая там всегда стояла, а на её месте – ничего. Только холодный воздух.

Дверь в смотровую открылась. Вышла медсестра – молодая, уставшая, с волосами, собранными в узел.

– Беннет? Вы с Камероном?

Я вскочила.

– Как он?

– Четырнадцать швов на предплечье. Трещина в ребре – видимо, приложился о стену. Рассечение на скуле, три шва. Сотрясения нет. – Она посмотрела на меня. – Ему повезло. Ещё сантиметр – и задели бы сухожилие. Он бы больше не держал кисть.

У меня подогнулись колени. Я схватилась за спинку стула.

– Можно к нему?

– Можно. Пять минут. Потом полиция хочет поговорить с вами обоими.

* * *

Он сидел на краю кушетки. Без футболки. Рука забинтована от локтя до запястья, плотно, белым. На скуле – пластырь. На рёбрах слева уже наливался синяк – огромный, чёрно-лиловый, как ночное небо над озером.

Он поднял голову, когда я вошла.

Я остановилась на пороге.

Мы смотрели друг на друга. Через всю маленькую смотровую. Как через всю галерею в ноябре. Как через всю мастерскую в новогоднюю ночь.

– Твоя камера, – сказал он.

– Её больше нет.

Он закрыл глаза.

– Майя. Я...

– Не надо. – Я подошла к нему. Встала между его коленями. Осторожно, чтобы не задеть рёбра. – Это я её разбила. О его голову. Это было моё решение.

Он открыл глаза. Посмотрел на меня снизу вверх.

– Ты его ударила?

– Камерой. В висок.

Что-то медленно поменялось в его лице. Сначала недоверие. Потом – что-то похожее на гордость.

– Ты, – сказал он, – девочка, которая в ноябре не могла удержать выдержку в одну тридцатую.

– Я и сейчас не могу. – Я взяла его лицо в ладони. Осторожно. Обходя пластырь на скуле. – Руки трясутся. Смотри.

Они действительно тряслись.

Он накрыл мои руки своими. Здоровой рукой и забинтованной.

– Я куплю тебе новую, – сказал он.

– Не надо.

– Куплю. Плёночную. Старую. Как была.

– Адам. Не надо. Правда. – Я прижалась лбом к его лбу. – Я не хочу новую. Я хочу... – Я не знала, как сказать. – Я хочу, чтобы ты держал кисть. Вот и всё. Ещё сантиметр, и ты бы больше никогда...

Голос у меня сломался.

И вот тогда я заплакала.

Не из-за камеры. Не из-за плёнки. Из-за сантиметра. Из-за того, что он стоял между мной и ножом, и что он мог больше никогда не растирать свой синий, и что он сделал это, не задумавшись ни на секунду.

Он притянул меня к себе. Одной рукой. Здоровой. Прижал к голой груди, туда, где не было синяка. Я плакала ему в плечо, и он гладил меня по волосам и молчал.

– Правило пять, – сказала я наконец, сквозь слёзы. – Ты обещал. Никогда так больше.

– Я обещал не прыгать под поезд, – сказал он мне в макушку. – Про ножи ничего не было.

Я засмеялась и заплакала одновременно. Потом стукнула его кулаком в здоровое плечо.

– Правило шесть, – сказала я. – Никаких ножей.

– Хорошо.

– И никаких поездов.

– Это правило пять.

– Значит, правило пять расширенное.

Он засмеялся. Тихо, морщась от боли в рёбрах.

– Ты невозможная, – сказал он.

– Ты меня такой сделал.

* * *

Полиция задавала вопросы сорок минут. Детектив – немолодая женщина с короткой стрижкой и усталыми глазами, представилась Гарсиа – записывала всё в блокнот. Сколько их было. Во что одеты. Какой нож. Что именно сказали.

– «Мы за камерой и за телефоном», – повторила она, глядя в записи. – Значит, им нужна была не просто камера. Им нужно было то, что на ней. – Она подняла глаза. – Вы знаете, кто мог их прислать?

Адам посмотрел на меня. Я посмотрела на него. Доказательств у нас не было. Только одно сообщение.

– Знаем, – сказала я.

Гарсиа отложила ручку.

Я достала телефон. Открыла сообщения Адама. Показала ей последнее. Ночное, четвёртого января.

Хейл: *Передайте мисс Беннет, чтобы не ходила одна.*

Гарсиа долго смотрела на экран. Потом на нас.

– Виктор Хейл, – сказала она медленно. – Тот самый Виктор Хейл?

– Тот самый, – сказал Адам.

Она закрыла блокнот.

– Это не доказательство, – сказала она. – Вы понимаете. Его адвокаты скажут, что это была забота. Что он беспокоился о вашей безопасности после той сцены на вечеринке.

– Мы понимаем, – сказала я.

– Но я это сфотографирую. – Она достала свой телефон. – И найду этих двоих. С таким носом, как вы ему сделали, мистер Камерон, он придёт в какую-нибудь больницу. А у второго нож остался под вашими мусорными баками. С отпечатками.

Она встала. Сунула нам по визитке.

– И ещё, – сказала она уже в дверях. – Мисс Беннет. То, что вы сделали с камерой. – Она чуть улыбнулась. – Хороший удар.

* * *

Нас отпустили в пять утра.

Ния приехала за нами на такси. В пижаме, в пуховике поверх, с растрёпанными сливовыми кудрями и в очках, перекошенных на одну сторону. Она влетела в приёмное отделение, увидела нас – меня с ремнём от камеры на запястье, его с перевязанной рукой и пластырем на скуле – и остановилась как вкопанная.

– Господи, – сказала она. – Господи боже.

Потом посмотрела на Адама. Долго. Сверху вниз и снизу вверх.

– Ты, – сказала она. – Мудак из галереи.

– Да, – сказал Адам.

– Который сделал ей больно.

– Да.

– Который потом дрался за неё ножом.

– Против ножа, – поправил Адам. – Я был без ножа.

Ния смотрела на него ещё секунду. Потом шагнула и обняла – осторожно, сбоку, чтобы не задеть рёбра.

– Пепельницу я тебе всё-таки сделаю, – сказала она ему в плечо. – Только не роняя.

Адам посмотрел на меня поверх её головы. Растерянно. Как будто его никогда в жизни никто не обнимал, кроме мамы и меня.

Наверное, так и было.

* * *

Такси ехало по пустому городу. Светало. Небо над озером было серым, потом бледно-розовым, холодным, как внутренность раковины. Ния спала на переднем сиденье, уронив голову на стекло.

Я сидела сзади. Адам рядом. Его голова у меня на плече. Он заснул почти сразу, как только мы тронулись, – тяжело, глубоко, как засыпают после боли.

Я держала его забинтованную руку у себя на коленях. Осторожно. Как держат то, что могло разбиться.

Ремень от камеры всё ещё был намотан у меня на запястье. Потёртый. Пустой. Ни к чему не прикреплённый.

Телефон в кармане завибрировал.

Я достала его одной рукой, чтобы не разбудить Адама. Посмотрела на экран.

И перестала дышать.

На экране было имя, которое я не видела там с августа. С того дня, когда уехала из Эванстона с одним рюкзаком, и никто не вышел меня проводить.

Мама.

Сообщение. Одна строчка.

Майя, мы видели газету. Приезжай в воскресенье. Нам нужно поговорить.

Я смотрела на эти слова, пока экран не погас.

Потом посмотрела на Адама. На его спящее лицо, на пластырь на скуле, на ресницы, которые вздрагивали во сне.

Потом в окно. На город, просыпающийся под снегом.

Восемнадцать лет я ждала, что она напишет. Что кто-нибудь выйдет из-за закрытой двери и спросит, почему я не сплю.

Она написала.

И мне стало страшно так, как не было страшно в переулке. Ни перед ножом. Ни перед чёрной маской. Ни перед человеком, который тянулся к моей шее.

Глава 14. Адам

Отказ

Я проснулся от боли в руке.

Обезболивающее из больницы перестало действовать. Предплечье под бинтом горело и пульсировало, будто там, под швами, кто-то стучал маленьким молотком. Каждый вдох отдавался в рёбрах слева.

Было одиннадцать утра, пятница, восьмое января. Мы спали почти шесть часов.

Майя лежала рядом, лицом ко мне, свернувшись на краю узкой кровати так, чтобы не задеть мой бок. Она спала в одежде – в джинсах и моём свитере. На запястье у неё всё ещё был намотан ремень от разбитой камеры. Она так и не сняла его.

Я смотрел на неё и думал о сантиметре. О том, что сказала медсестра: ещё сантиметр – и я бы больше не держал кисть.

Я не боялся за руку. Это было странно, но я правда не боялся. Я думал о другом. Что если бы я тогда бросился вперёд на долю секунды позже – нож попал бы не в меня. Широкий шёл на Майю. Я видел это. Он смотрел на её камеру, а не на меня.

Я осторожно дотронулся здоровой рукой до её волос.

Она открыла глаза. Сразу, без перехода, как просыпаются люди, которые спали вполуха.

– Болит? – спросила она.

– Немного.

– Правило первое.

– Сильно, – сказал я.

Она встала, нашла в куртке пузырёк с таблетками, налила воды и принесла мне. Дождалась, пока я выпью таблетку. Потом села на край кровати.

– Мама написала, – сказала она. – Ночью. В такси. Ты спал.

Она протянула мне телефон.

Майя, мы видели газету. Приезжай в воскресенье. Нам нужно поговорить.

Я прочитал дважды.

– Ты поедешь?

– Не знаю. – Она смотрела на ремень у себя на запястье. – Они не писали мне с августа. Ни разу. Даже на день рождения. А теперь – «нам нужно поговорить». Как будто я сотрудник, которого вызывают в отдел кадров.

– Хочешь, я поеду с тобой?

Она подняла на меня глаза.

– С тобой? В Эванстон? С пластырем на лице и рукой в бинтах?

– Подожду в машине. Или на углу. Где скажешь.

Она долго молчала. Потом покачала головой.

– Нет. Я поеду одна. Если я приеду с тобой, они будут смотреть на тебя. А мне нужно, чтобы они хоть раз посмотрели на меня.

Я кивнул. Это было честно.

– Но ты будешь на телефоне, – добавила она. – Всё время. Если я напишу «забери меня» – ты приедешь. Даже без машины. Даже пешком.

– Это двадцать километров.

– Я знаю.

– Хорошо, – сказал я. – Даже пешком.

* * *

В час дня я пошёл на смену.

Майя не хотела меня отпускать. Сказала, что с такой рукой я не могу носить подносы. Я сказал, что могу стоять за кассой, а кассу можно держать одной рукой. Мне нужны были эти деньги. Аренда квартиры над пекарней никуда не делась, а я уже неделю там не жил.

Кафе на Дивижн называлось «Синяя дверь». Там действительно была синяя дверь, и хозяйка, пожилая полька по имени Ядвига, каждую весну перекрашивала её заново. Она увидела мою руку и пластырь, перекрестилась и поставила меня на кассу без единого вопроса.

В три часа дня дверь открылась, и вошёл человек, которого я раньше не видел.

Лет пятьдесят пять. Седые волосы, зачёсанные назад. Тёмно-синее пальто из такой ткани, что хотелось потрогать. В руке – тонкий кожаный портфель. Он огляделся – на столики, на витрину с пирожными, на Ядвигу за кофемашиной – так, как смотрят на место, куда попали по ошибке.

Потом посмотрел на меня. И подошёл к кассе.

– Мистер Камерон, – сказал он. Не спросил. Сказал. – Гордон Питт. Я представляю интересы мистера Хейла. Можем мы поговорить? Пять минут.

– Я на работе.

– Я закажу кофе. – Он положил на стойку стодолларовую купюру. – Самый дорогой, какой у вас есть. Сдачу оставьте себе.

Я не взял купюру.

– У нас самый дорогой стоит шесть долларов. Латте с лавандой.

– Прекрасно. – Он не моргнул. – Латте с лавандой. И пять минут вашего времени.

Ядвига смотрела на нас из-за кофемашины. Я кивнул ей. Она молча сделала латте и поставила на стойку. Я отсчитал сдачу с сотни – девяносто четыре доллара – и положил перед ним. Он посмотрел на деньги, потом на меня. И впервые чуть улыбнулся.

– Вы на него похожи, – сказал он. – Больше, чем он думает.

Мы сели за дальний столик у окна.

* * *

Питт открыл портфель и выложил на стол три документа.

– Буду краток, – сказал он. – Мистер Хейл огорчён тем, что произошло прошлой ночью. Он категорически отрицает, что имеет отношение к нападению на вас и мисс Беннет. Он искренне надеется, что вы быстро поправитесь.

– Передайте ему спасибо, – сказал я.

Питт не обратил внимания на тон.

– Тем не менее, – продолжил он, – ситуация вышла из-под контроля. Статья в «Трибьюн». Проверка в институте. Полиция задаёт вопросы. Это никому не выгодно. Ни мистеру Хейлу. Ни фонду. Ни вам. Ни – особенно – мисс Беннет.

Он пододвинул ко мне первый документ.

– Соглашение о признании отцовства. То же самое, что вы видели неделю назад. Фамилия, доля в трасте, место в совете. Ничего не изменилось.

Второй документ.

– Соглашение с мисс Беннет. Фонд признаёт, что при подготовке выставки «Паузы» были использованы её материалы. Официально. Письменно. Её имя будет указано как соавтора. Она получает компенсацию – двести тысяч долларов. И гарантированное место в стипендиальной программе на следующий год.

Двести тысяч.

Я думал о квартире над прачечной. О батарее, которая воет. О том, что у Майи нет камеры. О том, что консультация юриста стоила как три месяца её аренды.

Третий документ.

– И ваше заявление, – сказал Питт. – Короткое. Для «Трибьюн». Что ваши слова на вечеринке были сказаны в состоянии эмоционального возбуждения. Что вы не располагаете дока-

зательствами причастности мистера Хейла к уничтожению каких-либо документов. Что вы не имеете претензий к фонду.

Он сложил руки на столе.

– Подпишете – и всё закончится. Мисс Беннет получит деньги и признание. Вы получите фамилию отца. Мисс Уитмор уедет в Йель. Полиция закроет дело о нападении за отсутствием подозреваемых. Ваша мать спокойно доработает до пенсии. – Пауза. – Все довольны.

Я смотрел на три листа бумаги.

Это было хорошее предложение. Лучше, чем неделю назад. Тогда он хотел, чтобы я уничтожил Майю. Теперь он предлагал ей деньги и её имя на её фотографиях. Всё, ради чего она стояла посреди галереи в мокрых кедах.

Почти всё.

– А остальные? – спросил я.

Питт приподнял бровь.

– Какие остальные?

– В архиве лежат коробки. С две тысячи четвёртого года. Папки с пометкой «О. Р.» и «Передать Р. У.». Двадцать лет. Десятки людей. Их тоже признают соавторами? Им тоже заплатят?

Питт не ответил сразу. Он взял латте, отпил. Поставил чашку.

– Эти дела не имеют отношения к нашему разговору, – сказал он.

– Имеют.

– Мистер Камерон. – Голос у него стал мягче. Так говорят с ребёнком, который не понимает. – Вы молодой человек. У вас талант. Не тратьте его на крестовые походы за людей, которых вы никогда не видели. Они давно забыли о своих заявках. У них своя жизнь.

– Моя мать не забыла, – сказал я.

Питт замолчал.

– Она отправила заявку в две тысячи четвёртом, – сказал я. – Портреты. Ультрамарин. Мистер Хейл написал на ней «отклонить, не регистрировать». А потом переспал с ней на гала. А потом вернул её письмо нераспечатанным. Она двадцать лет работает в ночную смену и ни разу не взяла в руки кисть. – Я посмотрел ему в глаза. – Она тоже «давно забыла»?

Питт смотрел на меня долго. Что-то изменилось в его лице. Не испуг. Скорее усталость. Как у человека, который двадцать лет закрывал за кем-то двери и вдруг увидел, что одна из них открыта.

– Значит, нет? – спросил он.

Я взял третий документ. Своё заявление. Сложил пополам. Потом ещё раз. И разорвал. Аккуратно, медленно, на четыре части.

Первые два я пододвинул обратно к нему. Не тронул.

– Соглашение для мисс Беннет – это её решение, не моё, – сказал я. – Передайте его ей сами. Её адрес вы знаете. Ваши люди были там прошлой ночью.

– Мистер Хейл не имеет отношения к...

– А своё я подписывать не буду. Ни заявление. Ни признание отцовства. – Я встал. Рёбра отозвались болью, и я на секунду задержал дыхание. – Мне не нужна его фамилия. У меня есть своя. Её мне дала мама.

Питт медленно собрал документы. Обрывки моего заявления тоже. Аккуратно положил всё в портфель.

– Мне жаль, – сказал он. И, кажется, сказал искренне. – Вы понимаете, что после этого он перестанет предлагать?

– Понимаю.

– У мисс Уитмор есть фотографии, мистер Камерон. Очень неприятные фотографии. Мистер Хейл их пока сдерживает. – Он застегнул портфель. – Пока.

Он встал. Оставил на столе девяносто четыре доллара сдачи. Кивнул Ядвиге. Вышел.

Ядвига подошла к столику. Посмотрела на деньги. Потом на меня.

– Кто это был? – спросила она.

– Адвокат моего отца.

Она подняла брови. За восемь месяцев работы я ни разу не говорил ей про отца.

– И что он хотел?

– Купить меня.

Ядвига собрала деньги со стола. Сунула мне в карман фартука.

– Значит, вот твоя премия, – сказала она. – Иди домой. Ты белый, как стена.

* * *

В семь вечера Селеста выложила фотографии.

Я узнал об этом не сразу. Я сидел у Майи на кухне и растирал синий одной рукой – медленно, неудобно, – а она печатала что-то на ноутбуке. Её телефон зажужжал. Потом ещё раз. Потом ещё и ещё, без остановки, как будто его включили в розетку.

Майя посмотрела на экран. И побледнела.

– Адам, – сказала она.

Она развернула ко мне ноутбук.

Это был аккаунт в инстаграме. Новый. Без имени. Без аватара. Пустая белая сетка – и девять фотографий. Все выложены час назад.

Я узнал этот приём. Я сам так сделал в ноябре. Аккаунт file_0347.

На первой фотографии – переулок за прачечной. Ночь. Фонарь не горит. У мусорных баков – фигура в капюшоне и белой маске.

На второй – та же фигура. Под окнами дома Майи. Смотрит вверх.

На третьей – арка под надземкой на Уэллс. Фигура в маске. И девушка рядом с ним. Её лица не видно – она стоит спиной к камере, прижатая к кирпичной стене. Но видно чёрное платье. И видно, где у неё его рука.

Я перестал дышать.

Четвёртая, пятая, шестая – вход в корпус института, лестница на пятый этаж, дверь фотолаборатории. Фигура в маске заходит. Время на снимке – 23:47.

Седьмая – станция «Кларк/Лейк». Ночь. Фигура в маске стоит на платформе. Перед ним – девушка с поднятой камерой.

Восьмая – тот же кадр, секундой позже. Маска уже сорвана. Лицо видно чётко. Моё лицо.

Девятая – фотография из «Трибьюн». Мы с Майей посреди мастерской. Его ладони на её лице. Её руки в его рубашке.

И подпись под всеми девятью. Одна на весь аккаунт:

Он ходил за ней три месяца. В маске. По ночам. Под её окнами, в переулке, в закрытой лаборатории. Теперь он целует её на камеру и называет себя героем. Вы правда думаете, что она по своей воле? @saic_official, вы знаете, кто учится у вас на живописи?

Девятьсот репостов. Через минуту – тысяча двести.

Майя смотрела на экран. Её руки лежали на клавиатуре и не двигались.

– Это снимали, – сказала она тихо. – Всё это время. Кто-то ходил за тобой, пока ты ходил за мной. Как ты и сказал.

– Да.

– Каждый раз. Переулок. Арка. Лаборатория. – Голос у неё дрогнул. – Кто-то стоял в темноте и снимал нас. Меня. Когда ты... когда я...

Она не договорила. Закрыла ноутбук. Резко, со стуком.

Я протянул к ней здоровую руку. Она не отстранилась. Но и не подалась ко мне. Сидела неподвижно, глядя на закрытую крышку ноутбука.

– Её лица не видно, – сказал я. – На арке. Только спина. Никто не узнает, что это ты.

– Узнают, – сказала она. – Весь институт видел меня в этом платье. На похоронах бабушки. На вечеринке у Прайса. Это моё единственное чёрное платье, Адам. Его знают все.

* * *

Через час позвонил декан.

Он звонил мне, не ей. Голос у него был сухой, официальный, совсем не такой, каким он говорил с Майей в четверг.

– Мистер Камерон. В связи с публикацией в социальных сетях, содержащей материалы, которые могут свидетельствовать о преследовании студентки, институт вынужден временно отстранить вас от занятий до окончания внутреннего расследования. Вам запрещено находиться на территории кампуса. Вам запрещено контактировать с мисс Беннет.

Я молчал.

– Мистер Камерон, вы меня слышите?

– Я сейчас у неё на кухне, – сказал я.

Тишина в трубке.

– Тогда я настоятельно рекомендую вам покинуть её квартиру, – сказал декан. – Для вашего же блага. И для её.

Он отключился.

Майя смотрела на меня через стол. Она слышала всё – голос декана был громкий.

– Он запретил тебе приближаться ко мне, – сказала она.

– Временно.

– Из-за неё. Из-за этих фотографий. – Она встала. Стул скрипнул по полу. – Он запретил тебе приближаться ко мне, а меня даже не спросил. Он даже не позвонил мне.

– Майя...

– Я пойду к нему. – Она схватила куртку с крючка. – Прямо сейчас. Я скажу, что я сама приходила. Каждый раз. Что ты каждый раз давал мне уйти. Что я сама надела это платье и сама пошла под эту арку.

Я встал. Перехватил её за запястье – здоровой рукой, мягко.

– Нет.

Она обернулась. В глазах у неё было бешенство.

– Что значит «нет»?

– Это значит, что ты не обязана никому это объяснять, – сказал я. – Ни декану, ни Селесте, ни интернету. То, что было под аркой, – это твоё. Только твоё. Если ты пойдёшь к нему и начнёшь рассказывать, что ты хотела, что тебе нравилось, – они заберут у тебя и это. Как забрали фотографии. Будут обсуждать. Пересказывать. Смеяться в коридорах.

– А если я не пойду, они выгонят тебя!

– Пусть.

– Нет! – Она вырвала руку. – Нет. Ты не будешь решать за меня, Адам. Ты уже решал за меня. Три месяца. Давал мне улики по кусочку. Выбирал, что мне знать, а что нет. Хватит.

Я замолчал.

Она стояла посреди своей маленькой кухни, в моём свитере, с ремнём от камеры на запястье, и дрожала от злости. И она была права.

– Правило третье, – сказала она тише. – Я сама решаю, когда выходить из игры. И когда в неё входить. И что про меня рассказывать. Тоже я.

Я смотрел на неё долго.

– Хорошо, – сказал я. – Ты решаешь.

Она выдохнула. Плечи опустились.

– Я не пойду к нему сегодня, – сказала она. – Я напишу заявление. Сама. Своими словами. Только то, что я хочу сказать. И отправлю юристке, которая была у декана. – Она посмотрела на меня. – Это моё решение. Не твоё.

– Не моё, – согласился я.

Она подошла ко мне. Осторожно обняла, обходя рёбра. Уткнулась лбом мне в грудь.

– Ты придурок, – сказала она мне в свитер. – Ты стоял перед ножом, а теперь хочешь, чтобы тебя выгнали, лишь бы про меня не судачили.

– Да.

– Это самое глупое, что я слышала.

– Знаю.

– И самое... – Она запнулась. Не договорила.

Я поцеловал её в макушку.

* * *

В час ночи я не спал.

Майя уснула за ноутбуком, на середине своего заявления. Я перенёс её на кровать одной рукой – неловко, стиснув зубы от боли в рёбрах, – и укрыл. Она не проснулась.

Я сидел на кухне в темноте и думал о фотографиях.

Кто-то ходил за мной три месяца. С камерой. Снимал переулок, арку, лабораторию. Значит, этот человек знал, где я живу. Знал про квартиру над пекарней.

А под половицей в той квартире лежала вторая флешка.

Я оделся. Тихо, чтобы не разбудить её. Написал записку и оставил на столе: *Ушёл за флешкой. Вернусь к трём. Правило четыре.*

Декан запретил мне приближаться к Майе. Про мою собственную квартиру он ничего не говорил.

* * *

Такси высадило меня на Чикаго-авеню в половине второго. Пекарня внизу была тёмной. Окна моей квартиры на втором этаже – тоже.

Дверь подъезда была не заперта. Её никогда не запирали – замок сломался ещё летом. Я поднялся по лестнице. Двенадцать ступенек. Девятая скрипит, и я перешагнул через неё по привычке.

Дверь в квартиру была приоткрыта.

На сантиметр. Не больше. Но я всегда запирал её на два оборота. Всегда.

Я остановился на площадке. Прислушался.

Внутри кто-то был.

Я слышал шорох. Звук выдвигаемого ящика. Звук, с которым рвут холст – сухой треск, который я узнал бы из тысячи. Я слышал его на закрытии резиденции, когда Селеста резала мой портрет.

Кто-то резал мои холсты.

Я толкнул дверь.

* * *

В комнате горел только фонарик. Луч метался по стенам, по подрамникам, по полу. Пахло скипидаром, разлитым из опрокинутой банки, – резко, до тошноты.

Всё было перевёрнуто. Мольберты лежали на полу. Ящики стола вывернуты. Скетчбуки разбросаны, страницы выдраны. Рулоны холста вспороты ножом вдоль, как рыбьи брюха. Банки с пигментами разбиты. Мой ультрамарин – три месяца работы, три месяца по воскресеньям в два часа ночи – был рассыпан по полу синей пылью и затоптан ботинками.

Посреди этого стоял человек в чёрном. Спиной ко мне. На коленях. Он поддевал ножом половицы у кровати – одну за другой.

Он искал флешку.

Он нашёл её за секунду до того, как обернулся. Я видел, как он поддел нужную доску. Как сунул руку в щель. Как вытащил маленький чёрный прямоугольник.

Потом он услышал меня. Вскочил. Развернулся. Луч фонарика ударил мне в глаза.

– Положи, – сказал я.

Он не ответил. Сунул флешку в карман куртки. Перехватил фонарик в левую руку. В правой у него был нож – тот, которым он резал холсты. Длинный, тонкий, с узким лезвием.

Я узнал его не по лицу. Лица не было видно – та же чёрная вязаная балаклава. Я узнал его по плечам. Широкие, как у грузчика.

Тот, из переулка. Прошлой ночью я бил его локтем в почку.

– Опять ты, – сказал он. Голос был хриплый. Горло у него, видимо, ещё болело. – С одной рукой. Ну давай.

* * *

Он бросился первым.

В комнате было тесно. Тридцать квадратных метров, заваленных подрамниками и сломанными мольбертами. Негде отступать. Негде уходить в сторону.

Нож прошёл у меня над плечом. Я пригнулся, ударил его здоровым плечом в живот, и мы вместе рухнули на пол, на разбитые банки, на синюю пыль. Стекло хрустнуло под моей спиной. Боль в рёбрах ослепила – белая, как вспышка.

Он оказался сверху. Тяжёлый. Он навалился на меня и замахнулся ножом.

Я выставил левую руку. Забинтованную. Это было глупо. Это было единственное, что я успел.

Лезвие ударило в бинт.

Не проткнуло – бинт был толстый, плотный, – но удар пришёлся точно на швы. Я почувствовал, как они лопаются. Один. Второй. Под бинтом стало горячо и мокро.

Я заорал.

И ударил его головой. Лбом в переносицу. Изо всех сил.

Он отшатнулся, зажимая лицо. Нож выпал. Я вывернулся из-под него, откатился, нащупал рукой на полу что-то тяжёлое, стеклянное.

Курант. Мой курант для растирания пигментов. Толстый стеклянный пестик с плоским дном, весом почти в килограмм.

Он поднимался. Шарил рукой по полу в поисках ножа.

Я встал на колени. Замахнулся курантом. И ударил его по руке, которая искала нож.

Хруст. Он завыл – высоко, по-звериному. Отдёрнул руку. Пальцы торчали под неправильным углом.

Я ударил второй раз. В плечо. Он рухнул на бок.

Я навалился на него. Коленом в грудь. Курант в здоровой руке, занесённый над его головой. Кровь из разошедшихся швов текла по моей руке, капала ему на балаклаву.

– Флешку, – сказал я.

Он смотрел на меня сквозь прорези. Глаза были испуганные. Глаза человека, который понял, что пришёл не к тому.

– Флешку! – заорал я.

Он полез здоровой рукой в карман. Вытащил чёрный прямоугольник. Протянул мне дрожащими пальцами.

Я взял. Сунул в карман джинсов.

Курант всё ещё был у меня в руке. Занесённый. Я смотрел на него. На лицо под чёрной шерстью. Я мог ударить. Один раз. Это было бы просто.

Адам! – крикнула Майя в переулке. И я остановился тогда.

Её здесь не было.

Я опустил курант.

– Кто тебя прислал? – спросил я.

Он молчал.

Я надавил коленом сильнее. Прямо в грудину. Он захрипел.

– Кто?

– Не знаю, – выдохнул он. – Клянусь. Звонок. Наличка в конверте. Сказали – флешка под полом. И холсты порезать. Все. Чтоб ты больше не рисовал.

Чтоб ты больше не рисовал.

Я посмотрел на свои холсты. Вспоротые. Изрезанные. На синюю пыль на полу.

На подоконнике стоял один холст. Нетронутый. Повёрнутый к стене. Он его не заметил в темноте.

Это был не её портрет – тот я увёз к Майе. Это был мамин. Я начал его в декабре, по памяти. Женщина у окна, в синем платье. Как на её старых слайдах.

Он его не тронул.

Я встал. Отошёл от него.

– Уходи, – сказал я. – Через окно. На пожарную лестницу. Пока я не передумал.

Он поднялся, держа сломанную руку у груди. Попятился к окну. Открыл его. Вылез наружу. Я слышал, как он спускается по металлическим ступенькам – быстро, неровно, оступаясь.

Потом что-то упало на ступеньки с металлическим стуком.

Я подошёл к окну. Посмотрел вниз.

На решётке пожарной лестницы лежала пластиковая карта. Выпала у него из кармана, когда он лез.

Я спустился на одну ступеньку и поднял её.

Пропуск. Белый, с синей полосой. Логотип – буква «W» в квадрате.

Whitmore Holdings. Служба безопасности. Временный доступ.

Уитмор. Ричард Уитмор. Отец Селесты.

* * *

Я вернулся к Майе в три двадцать.

Она не спала. Сидела на кухне, в моём свитере, с телефоном в руке. Записка лежала перед ней на столе. Когда я вошёл, она подняла голову – и увидела меня.

Кровь на рукаве куртки. Бинт, насквозь бурый. Синяя пыль на джинсах, на руках, в волосах. Порез на шее от стекла.

Она встала. Медленно.

– Ты обещал, – сказала она. – Правило шесть. Никаких ножей.

– Я не знал, что там будет нож.

– Ты знал. – Она шла ко мне. – Ты ушёл ночью один. Ты знал, что кто-то за тобой ходит. Ты знал.

– Майя...

Она ударила меня. Ладонью в грудь. Несильно. Потом ещё раз. Потом схватила за ворот куртки обеими руками.

– Ты идиот, – сказала она. Голос дрожал. – Ты чёртов идиот. Я проснулась, а тебя нет. И записка. «Правило четыре». Я два часа сидела и смотрела на эту записку. Я думала, что тебя убьют. Я думала, что ты не вернёшься. Как ты мог? Как ты...

Я поцеловал её.

Она замерла на секунду. Потом вцепилась мне в волосы и поцеловала в ответ. Зло. Жадно. Кусая губы. Как в новогоднюю ночь. Как будто хотела наказать меня ртом.

Я прижал её к стене. Здоровой рукой. Её спина ударилась о дверцу холодильника, и магниты посыпались на пол. Она обхватила меня ногой за бедро, притянула ближе. Я чувствовал, как бьётся её сердце – быстро, рвано, у меня под ладонью.

– Ты пахнешь кровью, – выдохнула она мне в губы.

– Знаю.

– И скипидаром.

– Знаю.

– Я тебя ненавижу, – прошептала она. И снова поцеловала. Медленнее. Глубже.

Потом оторвалась от меня. Отступила на шаг. Тяжело дыша.

– Сними куртку, – сказала она. – Садись. Сейчас же.

Я сел. Она стянула с меня куртку. Размотала бурый бинт. Под ним – швы. Два разошлись. Из них сочилась кровь, тёмная, медленная.

Она смотрела на это долго. Губы у неё побелели.

– Нужно в больницу, – сказала она.

– Нет.

– Адам.

– Если я приду в больницу с ножевым второй раз за сутки, они вызовут полицию. А полиция сначала спросит, почему я был в квартире в два часа ночи. – Я помолчал. – Просто перевяжи. Туго. Мама завтра посмотрит.

Она молча достала аптечку. Промыла. Наложила стерильные полоски на разошедшиеся края – аккуратно, сосредоточенно, закусив губу. Перебинтовала. Туго.

Я смотрел, как двигаются её руки. Уверенно. Ровно. Без дрожи.

– У тебя руки не трясутся, – сказал я.

Она подняла на меня глаза.

– Потому что сейчас мне не страшно, – сказала она. – Мне было страшно два часа. Пока тебя не было. А сейчас ты здесь.

Я положил здоровую руку ей на щёку. Она прижалась к ладони. Закрыла глаза.

Я достал из кармана флешку. Положил на стол. Потом – пластиковый пропуск.

Она посмотрела на него. На букву «W» в квадрате.

– Уитмор, – прочитала она вслух. – Отец Селесты.

– Его служба безопасности. – Я сглотнул. – Тот же человек, что в переулке. Широкий. Он сказал, что ему велели порезать все мои холсты. «Чтоб ты больше не рисовал».

Майя долго молчала. Потом взяла пропуск. Перевернула. На обороте, мелко, было напечатано имя.

Д. Коваль.

– Гарсиа найдёт его, – сказала она. – С таким именем. И с этим пропуском. И с переломанными пальцами.

– Откуда ты знаешь про пальцы?

Она посмотрела на мою здоровую руку. На костяшки, синие от пигмента. На курант, который я так и не выпустил из пальцев, – я принёс его с собой, сам не заметив.

– Ты держишь его, как оружие, – сказала она. – До сих пор.

Я посмотрел на свою руку. Медленно разжал пальцы. Курант стукнул о стол.

Майя накрыла мою руку своей.

– Ты не ударил его, – сказала она. – Второй раз. По голове. Я вижу по твоему лицу. Ты мог – и не ударил.

– Я подумал о тебе, – сказал я.

Она смотрела на меня. Потом наклонилась и поцеловала мои костяшки. Синие, разбитые. По очереди. Каждую.

* * *

В субботу утром мы поехали в Милуоки.

Третья флешка лежала у мамы в коробке из-под туфель. Первая была в банковской ячейке, которую я арендовал в мае за двадцать долларов в месяц. Вторая теперь лежала у меня в кармане. После этой ночи я больше не хотел, чтобы что-то оставалось у мамы. Если люди Уитмора нашли мою квартиру, они найдут и её дом.

И мне нужно было её увидеть.

Майя поехала со мной. Я не просил. Она сама купила два билета на поезд, пока я спал, и разбудила меня в шесть утра со словами:

– Поезд в семь двадцать. Твоя мама хотела со мной познакомиться. Значит, познакомимся.

– Ты понимаешь, что после этого тебе ехать в Эванстон? Завтра?

– Понимаю. – Она натягивала свитер. – Сначала посмотрю, как бывает в нормальной семье. Чтобы было с чем сравнивать.

Поезд шёл полтора часа. Вдоль озера, через заснеженные поля, мимо пустых заводов. Майя сидела у окна и смотрела наружу. Под глазами у неё были тени – мы спали три часа. Без камеры. Её руки лежали на коленях, и пальцы иногда шевелились – как будто нажимали на спуск.

– Ты всё равно снимаешь, – сказал я.

Она удивлённо посмотрела на меня. Потом на свои руки.

– Привычка, – сказала она. – Вон там – видишь, старик у переезда с собакой? Я бы его сняла.

– Почему?

– Потому что собака смотрит на поезд, а он смотрит на собаку. – Она снова отвернулась к окну. – И ему всё равно, что поезд едет. Ему важна только собака.

Я смотрел на неё. Потом достал телефон и сфотографировал. Её профиль на фоне окна. Белые поля за стеклом. Её руки на коленях – пальцы, застывшие на невидимой кнопке.

Она услышала щелчок. Повернулась.

– Ты что делаешь?

– Снимаю, – сказал я. – Кто-то же должен.

* * *

Мама жила в Бэй-Вью, на южной стороне. Маленький двухквартирный дом, обшитый серым сайдингом. Её половина была справа. Крыльцо со скрипучими ступеньками. Пожарная лестница сбоку, ведущая к окну на втором этаже – к моей комнате.

Она открыла дверь раньше, чем я успел постучать. Наверное, ждала у окна.

Маленькая. Ниже Майи. В синей больничной униформе – она только что вернулась с ночной смены. Тёмные волосы с проседью, собранные кое-как, с выбившимися прядями. Острые скулы. Брови, одна чуть выше другой.

Майя рядом со мной тихо втянула воздух. Я знал почему. Она видела эту женщину на фотографии три на четыре. Двадцатидвухлетней.

Мама посмотрела на меня. На пластырь на скуле. На бинт, торчащий из рукава куртки. Её лицо не изменилось. Двадцать лет в приёмном отделении – она видела и не такое.

Потом она подняла руку и очень осторожно дотронулась до пластыря кончиками пальцев.

– Сколько швов? – спросила она.

– Три. На лице. Четырнадцать на руке.

– Кто зашивал?

– Святой Антоний. На Девятнадцатой.

– Хорошо зашивают. – Она опустила глаза на мой рукав. Увидела бурое пятно, проступившее сквозь бинт. – А это уже не они. Это кто-то разошёлся. Сегодня ночью.

Я промолчал.

– Потом перебинтую, – сказала она ровно. – Рёбра?

– Трещина.

– Дышать больно?

– Да.

Она кивнула. Потом шагнула вперёд и обняла меня. Крепко. Очень осторожно с левой стороны. Уткнулась лицом мне в куртку.

Я стоял на крыльце дома, где вырос, и обнимал маму, и мне снова было восемь лет.

Потом она отпустила меня. Отступила на шаг. И посмотрела на Майю.

Долго. Внимательно. Сверху вниз и снизу вверх. Так, как смотрит медсестра на пациента, которого привезли без документов.

– Вы Майя, – сказала мама.

– Да. – Майя протянула руку. Голос у неё был тихий. – Здравствуйте, миссис Камерон.

Мама не взяла руку. Вместо этого она взяла Майю за запястье – то, на котором был намотан ремень от камеры. Посмотрела на ремень. Потом Майе в лицо.

– Это от неё? – спросила она. – От камеры?

– Да.

– Адам сказал по телефону, что вы ударили ей человека с ножом.

– Да.

Мама держала её запястье ещё секунду. Потом отпустила.

– Клэр, – сказала она. – Меня зовут Клэр. Не миссис Камерон. Я никогда не была миссис. – Она отошла от двери. – Проходите. Я поставлю чайник.

* * *

Флешка лежала там, где я её оставил. В коробке из-под старых маминых туфель – чёрных лодочек на низком каблуке, в которых она ходила на мой выпускной. Коробка стояла на верхней полке в стенном шкафу в коридоре.

Я сунул флешку в карман.

Когда я вернулся на кухню, мама и Майя сидели за столом друг напротив друга. Чайник шумел на плите. Мама держала в руках фотографию с гала. Ту, из архива. Я отдал её Майе вчера вечером – сказал, что хочу, чтобы мама её увидела, но не знаю, как ей отдать. Майя сказала: «Я отдам».

Мама смотрела на снимок. На себя двадцатидвухлетнюю. Смеющуюся, с запрокинутой головой. С мужской рукой на талии.

– Я не помню, что тогда было смешно, – сказала она тихо. – Совсем не помню. Он сказал что-то. Про мои портреты, кажется. Что синий у меня как у старых мастеров. А я засмеялась. От радости. Я думала, что это начало.

Она положила фотографию на стол.

– Он вернул вам письмо, – сказала Майя. – Нераспечатанным. Я видела его в архиве. Я не открыла.

Мама подняла глаза.

– Адам говорил. – Она помолчала. – Спасибо.

Чайник засвистел. Мама встала, выключила его. Разлила по чашкам. Поставила перед нами. Потом не села обратно – вышла из кухни, и я слышал, как она поднимается по лестнице.

Майя посмотрела на меня через стол.

– Она не сердится? – прошептала она. – Что я его видела? Что я трогала её папку?

– Не знаю, – сказал я честно. – Я никогда не видел, чтобы она сердилась. Она просто уходит наверх.

Мама вернулась через пять минут. В руках у неё был листок бумаги. Старый, жёлтый, сложенный вчетверо. Она положила его на стол передо мной.

– Это черновик, – сказала она. – Того письма. Я писала его три раза. Два выбросила. Этот оставила.

Я смотрел на сложенный листок. Почерк на обороте был тот же – быстрый, наклонный, с длинными хвостами у «у» и «д».

– Ты хотел знать, что там было, – сказала мама. – Читай.

Я развернул.

Виктор.

Я не прошу денег. Я не прошу, чтобы ты признал его. Я знаю, что у тебя жена, и я знаю, что для тебя значит твоё имя. Я не буду мешать.

Его зовут Адам. Он родился 2 марта, в 4:17 утра, весил 3 килограмма 400 граммов. У него твой подбородок и мои руки. Он плачет громче всех в палате.

Я прошу только одно. Когда-нибудь, когда ему будет двадцать или тридцать, и он придёт к тебе – а он придёт, я знаю, он будет упрямый, – посмотри на него. Просто посмотри. Внимательно. Так, как ты смотрел на мои портреты в тот вечер. Больше ничего не надо.

Клэр.

Я прочитал. Потом прочитал ещё раз. Буквы расплывались.

Посмотри на него. Просто посмотри. Внимательно.

Майя сидела напротив и молчала. Я поднял на неё глаза. Она плакала – беззвучно, не вытирая слёз. Она знала эти слова. Они были почти такими же, как последняя строчка её эссе.

Я хочу, чтобы кто-нибудь однажды посмотрел на меня так же внимательно.

– Он посмотрел, – сказал я маме. Голос не слушался. – Он посмотрел на меня, мам. Неделю назад. В своём кабинете. Он знал с ноября, кто я. Смотрел и молчал. А потом предложил мне фамилию, если я уничтожу Майю.

Мама стояла у плиты. Руки у неё были сложены на груди.

– А ты? – спросила она.

– Я отказался. Дважды. Вчера пришёл его адвокат. Я порвал заявление у него на глазах.

Мама долго смотрела на меня. Потом её лицо медленно изменилось. Губы дрогнули. Брови – одна чуть выше другой – поползли вверх.

Она улыбнулась.

Я не помнил, когда в последний раз видел, как она улыбается. Не вежливо. Не устало. По-настоящему.

– Мой мальчик, – сказала она.

* * *

Мама ушла спать в два часа дня. После ночной смены она всегда спала до вечера. В девять ей снова было на работу.

– Ваша комната наверху, – сказала она нам, уже поднимаясь по лестнице. – Адам, постельное бельё в шкафу. Майя, вы можете остаться до завтра, если хотите. Поезд в Чикаго есть в семь утра.

– Мне завтра в Эванстон, – сказала Майя.

Мама остановилась на ступеньке. Обернулась.

– К родителям?

– Да.

– Адам говорил, что они не звонили вам с лета.

– Не звонили.

Мама помолчала.

– Тогда вам тем более нужно выспаться, – сказала она. И ушла наверх.

* * *

Моя комната не изменилась. Узкая кровать у стены. Стол, заваленный старыми скетчбуками. Окно на пожарную лестницу. На подоконнике – пустой пузырёк из-под синего пигмента, тот самый, который я достал из мусорного ведра в восемь лет.

Майя взяла его. Повертела в пальцах. Посмотрела на свет.

– Это он? – спросила она.

– Он.

Она поставила его обратно. Очень аккуратно. Ровно на то место, где он стоял – там, на подоконнике, был светлый круг в пыли.

Потом обернулась ко мне.

– Ты плакал на кухне, – сказала она.

– Ты тоже.

– Я знаю. – Она подошла ближе. – Знаешь, что я подумала, когда читала её письмо?

– Что?

– Что она написала почти то же самое, что я. В эссе. – Она положила ладонь мне на грудь. – И что ты двадцать лет прожил с человеком, который хотел, чтобы на тебя посмотрели. И всё равно сам ни разу не попросил.

Я накрыл её руку своей.

– Я попросил, – сказал я. – Под аркой. «Скажи вслух. Чтобы я знал, что это ты».

Она смотрела на меня. Долго. Я притянул её к себе здоровой рукой и поцеловал. Сначала медленно, потом глубже. Моя ладонь скользнула ей под свитер, по голой спине, вниз, к поясу джинсов.

Она поймала мою руку.

– Нет, – сказала она мне в губы.

– Майя...

– У тебя трещина в ребре. И четырнадцать швов, два из которых ты порвал этой ночью. – Она отстранилась. – И твоя мама за стеной.

– Мама после ночной смены спит так, что не слышит сирен.

– Ты это только что придумал.

– Да.

Она засмеялась. Я потянул её обратно, и рёбра тут же отозвались болью. Я поморщился.

– Вот, – сказала она. – Видишь? Ты даже обнять меня нормально не можешь.

– Могу.

Я поцеловал её в шею. Под ухом, там, где у неё всегда сбивалось дыхание. Она выдохнула и на секунду прижалась ко мне всем телом. Я почувствовал, как она дрожит.

А потом она упёрлась ладонью мне в грудь. Рядом с синяком. Не сильно, но я замер.

– Адам. Нет.

Я смотрел на неё. Она смотрела на меня. Щёки у неё горели, губы были влажные от поцелуя, и я видел, что она хочет не меньше, чем я.

– Ты тоже хочешь, – сказал я.

– Хочу. – Она не отвела глаз. – Я хочу тебя так, что у меня руки трясутся. Но сегодня ночью я перевязывала тебе руку, и с неё капала кровь. Я не хочу, чтобы ты снова разорвал швы. Из-за меня.

– Не разорву.

– Разорвёшь. Ты не умеешь лежать спокойно. Я тебя знаю.

Я молчал. Это была правда.

– Правило первое, – сказала она тише. – Тебе больно, Адам?

Я вздохнул. Рёбра ответили за меня.

– Да, – сказал я.

– Вот и всё.

Она взяла моё лицо в ладони. Поцеловала. Коротко, в губы, как ставят точку.

– Когда снимут швы, – прошептала она мне в губы, – я не дам тебе выйти из комнаты сутки. Обещаю. А сейчас ты ляжешь, и будешь спать, и не будешь ко мне лезть.

– Это нечестно.

– Это правило седьмое. Моё. – Она улыбнулась. – Поломанные не пристают.

Я засмеялся, и рёбра снова отозвались болью.

Она помогла мне лечь. Сама легла рядом, на краю узкой кровати, где я спал с семи до восемнадцати лет. Подушка пахла маминым кондиционером для белья – лавандой. Как в детстве.

Моя здоровая рука лежала у неё на животе. Под свитером. Просто лежала. Она накрыла её своей ладонью и не убрала.

– Ты всё равно пристаёшь, – сказала она сонно.

– Я просто лежу.

– Ты пристаёшь рукой.

– Рука не считается.

Она фыркнула мне в плечо. Через минуту её дыхание стало ровным.

Я лежал и смотрел на пустой пузырёк на подоконнике, синий в сером дневном свете. Хотел её так, что ныло всё тело сильнее рёбер. И впервые за долгое время мне было спокойно.

* * *

Мы уснули. Проснулись, когда уже стемнело. Внизу хлопнула дверь – мама ушла на смену. Записка на кухонном столе: *Еда в холодильнике. Разогрейте. Таблетки – по одной каждые шесть часов, не больше. Майя, не давайте ему врать, что не болит. К.*

Майя прочитала записку, и у неё задрожали губы.

– Что? – спросил я.

– Ничего. – Она положила записку обратно. – Просто мне никто никогда не оставлял записок на кухонном столе.

Мы ели мамин суп. Сидели на кухне, на тех же стульях, что утром. Майя держала ложку и смотрела в окно на тёмный двор.

Мой телефон зажужжал.

Я посмотрел на экран. Сообщение. С незнакомого номера.

Я открыл его.

Фотография. Тёмная, зернистая, снятая издалека, через стекло. Вагон поезда. Пустой. Жёлтый свет. На сиденье – парень, откинувший голову назад. И девушка у него на коленях, лицом к нему, верхом. Его тёмная куртка накрывает её бёдра. Её руки у него на плечах.

Это были мы. В четверг ночью. Последний вагон розовой ветки. За две минуты до станции.

Снимок был сделан со стороны платформы. Через окно. Когда поезд стоял.

Под фотографией – одна строчка.

Неизвестный номер: *Ты думал, в последнем вагоне никто не смотрит? Встретимся во вторник. Один. Иначе следующие снимки будут без куртки. С.*

Майя смотрела на меня через стол. Она видела моё лицо.

– Что там? – спросила она.

Правило первое. Никакой лжи.

Я положил телефон на стол. Экраном вверх. И пододвинул к ней.

Она посмотрела. Я видел, как она узнаёт. Вагон. Куртку. Себя.

Потом медленно подняла на меня глаза.

– Это не камера вагона, – сказала она. – Та висела в углу, под потолком, над дверью. Она сняла бы нас сверху. А тут снято сбоку, на уровне окна. Снаружи, через стекло.

– С платформы, – сказал я. – Пока поезд стоял. А мы оба смотрели только на старика в оранжевом жилете.

Мы сидели на маминой кухне в Милуоки. Суп остывал в тарелках. За окном начинал идти снег.

Майя взяла телефон. Увеличила снимок. Смотрела долго. На зерно, на свет, на угол, под которым он был снят.

– Это снято на длинный объектив, – сказала она тихо. – Не телефоном. Профессиональной камерой. С той стороны платформы. С расстояния метров в двадцать.

Она подняла глаза.

– Селеста не умеет так снимать, – сказала она. – У неё нет глаза. Хейл сам так тебе сказал. Значит, снимала не она.

Глава 15. Майя

Дом, где меня нет

Клэр перебинтовала Адаму руку в шесть утра, сразу после смены. Прямо на кухне, в униформе, под жёлтой лампой над плитой.

Я сидела напротив и смотрела на её руки. Быстрые. Точные. Она сняла мои стерильные полоски, посмотрела на швы, сказала «хм» и наложила новые. Адам ни разу не поморщился. При ней он, кажется, не умел морщиться.

– Кто накладывал ночью? – спросила она, не поднимая головы.

– Я, – сказала я.

Она посмотрела на меня. Потом снова на руку.

– Хорошо наложили. Края свели правильно. – Она затянула бинт. – Если бы не вы, к утру он потерял бы ещё стакан крови.

Я не знала, что ответить. Мне никогда не говорили «хорошо» про то, что я сделала руками. Только Огден. И Адам.

У двери, когда Адам уже спустился с крыльца, Клэр придержала меня за локоть.

– Майя.

Я обернулась.

Она вложила мне в ладонь ключ. Маленький, латунный, на кольце с пластиковой биркой. На бирке её почерком: *Бэй-Вью*.

– Это запасной, – сказала она. – Не для него. У него свой. Это для вас.

– Я не могу...

– Вы сегодня едете к родителям. – Она смотрела прямо, тем же взглядом, каким ночью смотрела на швы. – Я не знаю, какие они. Адам говорил мало. Но если там будет плохо, у вас есть куда ехать. Поезд ходит каждые два часа.

Я сжала ключ в кулаке. Металл был тёплый – она держала его в кармане.

– Спасибо, – сказала я. Вышло шёпотом.

Она кивнула и закрыла дверь.

* * *

В Чикаго мы приехали к девяти. На вокзале Юнион Адам проводил меня до надземки. Дальше ехать со мной он не мог. Декан запретил ему приближаться ко мне, а в Эванстоне его лицо после «Трибьюн» знала половина маминых соседей.

На платформе он поправил мне шарф. Здоровой рукой. Медленно, будто это было важное дело.

– Телефон, – сказал он.

– Заряжен.

– «Забери меня».

– Помню.

– Даже пешком.

– Двадцать километров, – сказала я. – С трещиной в ребре.

– Значит, медленно пешком. – Он не улыбнулся. – Майя. Ты не обязана туда ехать.

– Обязана. – Я смотрела на рельсы. – Не ради них. Ради себя. Восемнадцать лет я сидела на лестнице и ждала, что кто-нибудь выйдет из-за двери. Сегодня я сама постучу.

Подошёл поезд. Я поднялась на носочки и поцеловала его. Коротко. Губы у него были холодные.

– Иди, – сказал он. – Пока я не передумал тебя отпускать.

* * *

До Говарда на красной ветке, там пересадка на фиолетовую. Сорок минут. Я ехала в наушниках. Играла Daughter, «Youth». Я слушала её по кругу в августе, когда уезжала из Эванстона с одним рюкзаком, и с тех пор ни разу не включала.

За окном тянулись кирпичные дома Роджерс-Парка, потом кладбище Калвари, потом начался Эванстон. Широкие улицы. Старые деревья. Дома с верандами. Здесь даже снег лежал аккуратнее.

Станция «Дэвис». Пятнадцать минут пешком.

Дом стоял на Ли-стрит. Двухэтажный, белый, с серыми ставнями и венком из искусственной хвои на двери. Мама вешала венок первого декабря и снимала пятнадцатого января. Ни днём раньше.

Я остановилась на тротуаре.

Здесь я выросла. Здесь была лестница, на которой я сидела по ночам. Здесь была дверь родительской спальни, за которой они ругались шёпотом, чтобы не слышали соседи. Здесь на холодильнике висели магниты из всех стран, куда они ездили без меня.

Я достала телефон.

Майя: *Я у дома.*

Ответ пришёл через секунду.

Адам: *Я у тебя в квартире, жду. Напишешь «забери меня» – сразу выезжаю.*

Я поднялась на крыльцо. И постучала.

Не позвонила. Постучала. Три раза, костяшками.

* * *

Открыла мама.

Линда Беннет. Сорок семь лет. Светлое каре, уложенное волосок к волоску. Бежевый кашемировый свитер. Жемчужные гвоздики в ушах. Она продавала дома в северных пригородах и сама была похожа на дом, выставленный на продажу: чисто, светло, ничего личного.

– Майя, – сказала она. И не обняла.

Она посмотрела на мою куртку. На кеды. На ремень от камеры на запястье. На ремне её взгляд задержался.

– Проходи. Разуйся, пожалуйста. Полы только помыли.

Я разулась. В прихожей пахло освежителем «Свежее бельё». Так пахло всегда.

Папа сидел в гостиной, в кресле, с воскресной газетой. Он сложил её, когда я вошла, и встал.

Грег Беннет. Пятьдесят лет. Бухгалтер в страховой компании. Высокий, сутулый, в очках. Он всегда держался так, будто извинялся за то, что занимает место.

– Привет, Майя, – сказал он.

– Привет, пап.

Он шагнул ко мне. Остановился. Оглянулся на маму. И неловко похлопал меня по плечу. Два раза.

Вот и все объятия.

* * *

Мы сели на кухне. Мама поставила чайник. Достала из жестяной коробки печенье и выложила на тарелку ровным кругом.

Я смотрела на холодильник.

Магниты были на месте. Рим. Париж. Канкун. Лиссабон. Барселона. И новый – Исландия, синий, с китом. В августе его не было. Значит, осенью ездили.

Моих фотографий не было. Я посчитала ещё раз, по привычке. Ни одной.

– Как учёба? – спросила мама, разливая чай.

– В сентябре меня чуть не отчислили, – сказала я. – Потом не отчислили. Сейчас институт проверяет фонд. Из-за моих фотографий.

– Мы читали. – Мама поставила передо мной чашку. Села. Сложила руки на столе. – Об этом мы и хотели поговорить.

Папа смотрел в свою чашку.

– Майя, – сказала мама. – Ты понимаешь, что ты наделала?

Я молчала.

– Твоё лицо на первой полосе «Трибьюн». В обнимку с каким-то парнем. С шампанским на шее. – Она поджала губы. – Мне звонили клиенты. Звонила Кэрол из церкви. Звонила моя начальница и спрашивала, не та ли это Беннет.

Я ждала, что внутри что-нибудь сломается. Ничего не сломалось. Внутри было тихо и пусто, как в квартире после переезда.

– Мне никто не звонил, – сказала я. – С августа.

– Не меняй тему.

– Это и есть тема.

Мама моргнула. Потом продолжила, будто я ничего не сказала:

– Ты связалась с человеком, который тебя преследовал. Мы видели те снимки. Вся улица видела. Маска. Ночь. Твои окна. Какой-то переулок. Майя, он ненормальный. А ты целуешься с ним на камеру.

– Он нормальный.

– Он три месяца ходил за тобой в маске!

– Я знаю, – сказала я. – Я там была.

Мама замолчала. Посмотрела на папу. Папа смотрел в чашку.

– Вот, – сказала она. – Вот поэтому мы тебя и позвали. Ты не понимаешь, что с тобой происходит. Тебе нужна помощь.

Она вышла в гостиную и вернулась с папкой. Голубой, пластиковой, с кнопкой. Положила передо мной.

Я открыла.

Бумага была плотная, кремовая, с водяным знаком. Дома на такой не печатают.

Первый лист – заявление. В деканат и в полицию. От моего имени. Уже напечатанное, с пустой строчкой для подписи.

Я, Майя Беннет, сообщаю, что в период с ноября по январь подвергалась систематическому преследованию со стороны студента Адама Камерона. Мои публичные высказывания в его защиту сделаны под психологическим давлением. Я не имею претензий к фонду Виктора Хейла и отзываю ранее предоставленные материалы.

Второй лист – письмо из Школы дизайна Род-Айленда. Перевод с осеннего семестра. Полная стипендия. Общежитие оплачено.

Я подняла глаза.

– Откуда это?

– Неважно, – сказала мама.

– Важно.

– Майя, это шанс. Прекрасная школа. Далеко отсюда. Далеко от него. Начнёшь с чистого листа. Никто там не видел газету.

Я положила ладонь на папку.

– Ты не умеешь писать такие бумаги. Папа тоже. Кто их принёс?

Тишина.

Папа поднял глаза. Посмотрел на маму.

– Приходила женщина, – сказал он тихо. – В пятницу.

– Грег.

– Она имеет право знать, Линда.

Мама резко отодвинула чашку. Но промолчала.

– Какая женщина? – спросила я.

– Лет пятидесяти, – сказал папа. – Очень ухоженная. Короткие седые волосы. Длинное серое пальто. Сказала, что она из попечительского совета фонда. Что фонд беспокоится о твоей безопасности. Что этот парень опасен и тебе нужно уехать. – Он помолчал. – Она знала про тебя всё. Про бабушку. Про то, что ты с августа не звонишь.

– Это вы мне не звонили, – сказала я.

Папа опустил глаза.

– У неё была камера, – добавил он. – На шее. Большая, чёрная. Не новая. Она попросила показать твою комнату. Сфотографировала её. Сказала – для дела.

У меня похолодели пальцы.

– Как её звали?

– Фамилию она не назвала. – Мама заговорила ровно, по-деловому. – Оставила карточку.

Она достала из кармана свитера визитку и положила на стол.

Та же кремовая бумага. Ни логотипа, ни адреса. Одна буква, тиснённая серебром:

С.

И номер телефона.

Я сфотографировала карточку и отправила Адаму.

Майя: *Этот номер?*

Адам: *Да. С него пришла фотография из вагона.*

Адам: *Майя. Уходи оттуда.*

Я убрала телефон.

– Она оставила ещё кое-что, – сказала мама. – Для тебя.

Белый конверт. Незапечатанный. Внутри фотография.

Арка под надземкой на Уэллс. Кирпичная стена. Чёрное платье. Его рука. Тот же снимок, что в инстаграме, только не обрезанный. Здесь я стояла вполоборота, и свет фонаря падал мне на лицо. Глаза закрыты. Рот приоткрыт.

Моё лицо. Чётко. Не перепутаешь.

На обороте – карандашом, мелким наклонным почерком:

Подпишите. Иначе во вторник это увидят все.

Я смотрела на снимок. Мама смотрела на меня.

– Ты видела, – сказала я. Не спросила.

– Видела. – Голос у неё дрогнул впервые за всё утро. – Мне было стыдно, Майя. Я смотрела на это и не узнавала собственную дочь.

Я медленно положила фотографию на стол. Лицом вверх. Между печеньем и сахарницей.

– Ты меня никогда не узнавала, – сказала я.

* * *

Она открыла рот. Я не дала ей ответить.

– Ты не узнала меня в пятом классе. Вы забыли забрать меня с выпускного, и я два часа сидела на крыльце школы. Учительница отвезла меня домой. А ты сказала: «Мы думали, тебя подвезут». Кто подвезёт, мама? Кто?

– Майя...

– Ты не узнала меня на похоронах бабушки. Я стояла рядом с тобой в чёрном платье, которое купила сама, на свои деньги. А ты весь день принимала соболезнования и ни разу на меня не посмотрела.

Мама побледнела.

– Это были похороны моей матери. Мне было не до тебя.

– Тебе всегда было не до меня.

Голос у меня не дрожал. Я заметила это как будто со стороны. Руки лежали на столе, и они тоже не дрожали.

– Я сидела на лестнице, – сказала я. – Каждую ночь. Вы ругались за дверью, а я сидела на третьей ступеньке и ждала, что кто-нибудь выйдет и спросит, почему я не сплю. Никто не вышел. Ни разу. За восемнадцать лет.

Папа снял очки и закрыл глаза ладонью.

– А теперь пришла чужая женщина с камерой, – сказала я. – Принесла бумажку. И вы позвали меня домой. Впервые за пять месяцев. Не потому, что соскучились. Потому, что она вас попросила.

– Неправда, – сказала мама. – Мы волнуемся.

– Вы волнуетесь, что скажет Кэрол из церкви.

Мама встала. Стул скрипнул по плитке.

– Хватит. Ты сейчас подпишешь это заявление, поедешь в Род-Айленд и забудешь этого парня. Это не обсуждается.

Я посмотрела на неё. На жемчужные гвоздики. На каре, которое не растрепалось даже сейчас.

Потом достала телефон.

Сфотографировала заявление. Лист за листом. Письмо из Род-Айленда. Визитку. Фотографию с аркой – с лица и с оборота. Медленно. Резко. С правильным светом из окна.

– Что ты делаешь? – спросила мама.

– Снимаю, – сказала я. – Для полиции. Детектив Гарсиа очень хочет знать, кто ходит за нами с камерой.

Я взяла со стола мамину ручку. Перламутровую, с логотипом агентства недвижимости. Написала поперёк заявления, крупно, через весь текст:

НЕТ. М. Б.

Положила ручку рядом. Конверт с фотографией сунула во внутренний карман куртки. Встала.

– Если ты сейчас уйдёшь, – сказала мама тихо, – можешь не возвращаться.

Я надела кеды. Завязала шнурки. Двойным узлом. Выпрямилась.

– Я и не возвращалась, – сказала я. – Ты просто не заметила, что меня нет.

* * *

Наверх я поднялась сама. Мне нужно было увидеть.

Третья ступенька скрипнула. Как раньше.

Моей комнаты больше не было.

Стены перекрасили из голубого в бежевый. Вместо моей кровати стоял велотренажёр. Вместо стола – гладильная доска. На подоконнике – мамины орхидеи в одинаковых белых горшках.

На стене, над велотренажёром, остался светлый прямоугольник. Там висела моя пробковая доска с вырезками и билетами. Обои под ней не выгорели.

Вот что она сфотографировала, эта женщина с камерой. Пустой прямоугольник на стене.

Я стояла и смотрела на него.

За спиной скрипнула третья ступенька.

Папа остановился в дверях. В руках у него был бумажник. Старый, коричневый, с потёртыми углами.

– Майя, – сказал он. – Подожди.

Он открыл бумажник. Достал что-то из отделения за прозрачным окошком, где обычно держат водительские права. Протянул мне.

Маленький снимок, напечатанный в аптеке. Мятый по углам. Тёмная лестница. На третьей ступеньке спит девочка лет семи. В пижаме с зайцами, обхватив колени, щекой на перилах.

Я.

– Я видел тебя, – сказал папа. – Каждую ночь. Ты думала, никто не знает. Я знал. Однажды я тебя сфотографировал. Сам не знаю зачем. Хотел запомнить. – Он смотрел на снимок, не на меня. – Он одиннадцать лет лежит у меня в бумажнике.

Когда-то я придумала для Адама бабушку с «Полароидом». Придумала снимки, которых никогда не было. А настоящий снимок всё это время лежал у папы в бумажнике.

Я взяла его. Пальцы не слушались.

– Ты видел, – сказала я. – И не вышел.

– Не вышел.

– Почему?

Папа долго не отвечал.

– Потому что я трус, Майя, – сказал он наконец. – Если бы я вышел, пришлось бы объяснять, почему мы кричим. А я не умел. Я и сейчас не умею. Я всегда сижу в кресле с газетой.

Я смотрела на него. На сутулые плечи. На очки, которые он так и не надел обратно.

– Ты сказал ей, – сказала я. – Сегодня. «Она имеет право знать».

– Впервые за двадцать лет.

Я шагнула к нему. И обняла. Неловко, крепко. Он замер. Потом обнял в ответ. Осторожно, будто боялся, что я рассыплюсь.

– Та женщина, – сказал он мне в волосы. – Майя, она меня напугала. Она так смотрела на твою комнату. Как будто примеряла, куда тебя положить.

* * *

Я вышла из дома в четыре. Солнце уже садилось. Небо над Ли-стрит было оранжевым, снег – синим.

Венок на двери провожал меня пластиковыми иголками.

Майя: *Вышла. Всё. Еду домой.*

Адам: *Как ты?*

Я остановилась на тротуаре. Подумала.

Майя: *Свободна.*

Адам: *Встречу на Говарде. Уже еду.*

Я пошла к станции.

Через два квартала я заметила машину.

Чёрный внедорожник. Тонированные стёкла. Он ехал за мной вдоль тротуара медленно, со скоростью пешехода. Когда я останавливалась, он останавливался тоже.

Я не обернулась. Я посмотрела в витрину аптеки на углу. В стекле отражалась улица: я, снег, фонарь. И чёрная машина у обочины. Заднее стекло было опущено наполовину. Из щели торчало что-то длинное, чёрное, круглое.

Объектив.

Меня снимали. Прямо сейчас. Как два месяца снимали Адама.

Я перестала дышать. Потом заставила себя дышать.

Ты научил меня смотреть, где не горит красный огонёк.

Я достала телефон. Включила камеру. Включила вспышку. Развернулась на каблуках – резко, всем телом. И нажала на спуск.

Вспышка ударила в опущенное стекло.

Объектив дёрнулся и исчез. Стекло поехало вверх. Но за полсекунды до этого я успела увидеть лицо. Вернее, не лицо – камеру, закрывающую лицо. Руку на объективе. Женскую. С тонким серебряным кольцом. И седые волосы, коротко остриженные.

Машина рванула с места.

Не прочь от меня. Ко мне. Взвизгнула шинами, вывернула к тротуару и встала поперёк дорожки впереди. Передняя дверь открылась.

Я побежала.

* * *

Станция «Дэвис» была в ста метрах. Я бежала по скользкому тротуару, и кеды разъезжались на льду. Сзади хлопнула дверь. Тяжёлые шаги. Мужские. Быстрые.

Я влетела на станцию. Турникет. Карта. Не та карта – чек из аптеки. Я выронила его, нашла проездной, приложила. Зелёный. Лестница наверх, к платформе. Двадцать восемь ступенек. Я считала их на бегу, как в детстве.

Сзади грохнул турникет. Он перепрыгнул.

На платформе было пусто. Воскресенье, вечер, Эванстон. Табло: *На Говард – 1 мин.*

Одна минута.

Я обернулась.

Он поднимался по лестнице. Высокий, в чёрной куртке, в вязаной шапке, натянутой до бровей. Без маски. Лицо обычное, незапоминающееся. Таких лиц тысячи в каждом вагоне.

– Телефон, – сказал он. Спокойно, даже вежливо. – Отдайте телефон, мисс Беннет. И я уйду.

Он знал моё имя.

Я отступила к краю платформы. Рельсы внизу загудели. Поезд шёл.

– Нет, – сказала я.

– Мисс Беннет. Не надо.

Он пошёл ко мне. Неторопливо. Как ходят люди, которым некуда спешить, потому что деваться тебе некуда.

Я сунула руку в карман куртки. Пальцы нащупали ключ. Маленький, латунный. Тёплый.

Если там будет плохо, у вас есть куда ехать.

Я зажала его в кулаке. Бородкой наружу, между указательным и средним. Так показывала нам тренер по самообороне на первом курсе. Я тогда смеялась и думала, что мне это никогда не понадобится.

Поезд вылетел из-за поворота. Свет фар ударил по платформе.

Он схватил меня за капюшон. Дёрнул к себе. Я развернулась и ударила.

Кулаком. С ключом. В лицо.

Ключ вошёл ему в щёку под глазом. Он заорал и отпустил капюшон. Схватился за лицо. Между пальцами потекло красное.

Двери поезда открылись.

Я прыгнула внутрь.

Он рванулся следом. Сунул руку в закрывающиеся двери. Створки ударили его по запястью и разошлись снова. Его пальцы вцепились мне в рукав.

Я ударила ещё раз. По пальцам. Ключом. Изо всех сил.

Он отдёрнул руку.

Двери закрылись. Поезд тронулся.

Он стоял на платформе, прижав ладонь к лицу, и смотрел на меня через стекло. Потом платформа уплыла назад, и его не стало.

* * *

Я села на пол вагона. Прямо у дверей. Ноги не держали.

В вагоне было двое: старушка с тележкой для продуктов и подросток в огромных наушниках. Подросток смотрел на меня круглыми глазами. Старушка сделала вид, что ничего не видела.

Я разжала кулак.

Ключ был в крови. На бирке, на её почерке – *Бэй-Вью* – темнело пятно.

Я вытерла его о джинсы. Медленно. Тщательно. Потом спрятала во внутренний карман, к фотографии. И только тогда начали трястись руки.

Я достала телефон. Пальцы попадали мимо букв.

Майя: *Забери меня.*

Ответ пришёл сразу.

Адам: *Подъезжаю к Говарду. Что случилось?*

Майя: *Потом. Просто будь там.*

Адам: *Буду на платформе «Говард». Встречу тебя у вагона.*

Я открыла галерею. Последний снимок. Тот, со вспышкой.

Он получился смазанным. Вспышка отразилась от тонированного стекла белым пятном. Но в нижнем углу, чётко, был виден номер машины. Иллинойс. Семь знаков.

А в щели над опущенным стеклом – камера. Старая плёночная «Лейка». И рука на объективе. С серебряным кольцом на безымянном пальце.

* * *

Он стоял на платформе «Говард» у самого края. В расстёгнутой куртке, без шапки. Забинтованная рука висела вдоль тела.

Когда поезд остановился, он увидел меня через стекло. Увидел, что я сижу на полу. И побежал вдоль вагона, к моей двери, с трещиной в ребре, не обращая внимания на людей.

Двери открылись.

Он не сказал ни слова. Опустился на колени прямо в вагоне. Здоровой рукой притянул меня к себе.

Я уткнулась ему в шею. Он пах морозом и маминым кондиционером для белья – свитер был ещё из Милуоки.

– Ты ранена? – спросил он.

– Нет.

– Это кровь.

– Не моя.

Он чуть отстранился. Посмотрел на мою руку. На костяшки, красные от чужой крови.

– Чья?

– Того, кто хотел мой телефон, – сказала я. – Я ударила его ключом твоей мамы.

Адам смотрел на меня. Долго. Двери поезда закрывались, открывались снова – кто-то держал кнопку. Машинист что-то сказал по громкой связи.

– Пойдём, – сказал Адам. – Расскажешь дома.

Он поднял меня одной рукой. Я не знаю, как. С его рёбрами это было невозможно. Он поднял.

* * *

Дома я рассказала всё.

Про маму и папку. Про заявление и Род-Айленд. Про женщину с камерой, которая фотографировала мою пустую комнату. Про папин бумажник. Про машину, объектив, вспышку. Про ключ.

Адам слушал молча. Сидел на кухонном стуле напротив меня. Не перебивал. Только один раз встал, налил мне воды и снова сел.

Когда я закончила, он долго смотрел на фотографию из бумажника. Девочка на лестнице. Спит, обхватив колени.

– Третья ступенька, – сказал он.

– Третья.

– Значит, он всё-таки выходил, – сказал Адам тихо. – Пусть на секунду. Пусть только с камерой.

Он положил снимок на стол. Рядом с фотографией арки. Девочка на лестнице и девушка у стены. Обе с закрытыми глазами.

– Ты сказала ей «нет», – сказал Адам.

– Да.

– Ты написала «нет» поперёк их бумажки.

– Маминой ручкой. С логотипом агентства.

Он откинулся на спинку стула. Посмотрел на меня. И в его глазах было что-то, от чего у меня потеплело внизу живота. Тёмное. Голодное. Гордое.

– Иди сюда, – сказал он.

– Адам. Правило седьмое.

– Правило седьмое – чтобы я не приставал. – Его голос стал ниже. – Я сижу на стуле. Я не двигаюсь. Рёбра в этом не участвуют.

– А что участвует?

– Иди сюда, – повторил он. – Сядь на стол. Передо мной.

Я не двинулась.

– Майя. – Он смотрел на меня снизу вверх, и я вдруг поняла, что за весь этот день он ни разу на меня не надавил. Ни разу. Ни в Милуоки, ни на вокзале, ни на Говарде. Он ждал. – Ты весь день была сильной. Для них. Для себя. Для того урода на платформе. Хватит. Сейчас ты сядешь на стол и разрешишь мне сделать тебе хорошо. И ничего не будешь решать.

Внутри меня что-то медленно разжалось. Что-то, что было стиснуто с той минуты, как я постучала в мамину дверь.

Я встала. Обошла стол. Села на край, прямо перед ним. Кухонный стол был старый, деревянный, с кругами от чашек и синими пятнами пигмента.

– Хорошая девочка, – сказал Адам.

* * *

Он расстегнул мои джинсы одной рукой. Медленно. Пуговицу. Молнию. Я приподнялась, и он стянул их вниз, вместе с бельём, до колен. Дальше не стал. Мои колени оказались связаны джинсами. Я не могла их развести.

– Адам...

– Тихо.

Он положил здоровую ладонь мне на бедро. Погладил. Вверх, вниз. Сжал. Потом снял с меня джинсы до конца и бросил на пол. Взял меня под колено и поставил мою ступню на край своего стула, рядом со своим бедром. Потом вторую. Я сидела на краю стола, раскрытая перед ним, а он сидел на стуле и смотрел.

Просто смотрел.

У меня горели щёки. Свет над столом был жёлтый, яркий, безжалостный. Ни красного фонаря, ни темноты, ни куртки, под которой можно спрятаться.

– Не закрывайся, – сказал он, когда я потянулась прикрыться ладонью. – Я хочу тебя видеть. Всю. При свете.

– Зачем?

– Затем, что сегодня тебя весь день снимали чужие люди, – сказал он. – Через стекло. Тайком. Пусть хоть раз на тебя посмотрит кто-то, кто тебя любит.

Я перестала дышать.

Он сказал это так просто. Будто знал давно и только сейчас решил произнести вслух.

Я подалась к нему, схватила его лицо обеими руками и поцеловала. Жадно. Глубоко. Мы стукнулись зубами. Я целовала его губы, скулу над пластырем, закрытые веки, снова губы и не могла остановиться.

– Повтори, – выдохнула я ему в рот.

– Я тебя люблю.

– Ещё.

– Люблю, – сказал он. – Тебя, Беннет. С той ночи на платформе.

По щекам у меня текли слёзы, и я их не вытирала. Я прижалась щекой к его щеке.

– Я тоже, – прошептала я ему на ухо. – Слышишь? Я тоже тебя люблю. Я никому этого не говорила. Ни разу в жизни.

Он замер. Я почувствовала, как под моими ладонями дрогнуло его лицо. Как сбилось дыхание. Он закрыл глаза и несколько секунд сидел неподвижно, будто боялся пошевелиться и спугнуть.

– Скажи ещё раз, – попросил он хрипло. Теперь просил он.

– Люблю тебя.

Он выдохнул. Долго, рвано. Как человек, который очень долго нёс что-то тяжёлое и наконец поставил на землю.

Потом открыл глаза. В них было столько тёмного и голодного, что у меня сжалось внизу живота.

Он мягко толкнул меня ладонью в грудь, обратно на стол.

– Ложись, – сказал он. – Теперь я покажу.

Первое прикосновение его рта было медленным. Широким. Он провёл языком снизу вверх, от входа до клитора, плоско, тяжело, не торопясь. Я вздрогнула всем телом и вцепилась пальцами в край стола.

– Блять, – выдохнул он мне в бедро. – Ты уже мокрая. С какого момента?

– Не знаю...

– Знаешь. Скажи.

– С «хорошей девочки», – прошептала я.

Он засмеялся – низко, хрипло, прямо в меня, и от вибрации этого смеха у меня поджались пальцы на ногах.

Потом он перестал смеяться. Накрыл меня ртом целиком. Втянул клитор губами. Обвёл языком. Отпустил. Снова втянул. Медленно. Потом быстрее. Его здоровая рука держала моё бедро, не давая сдвинуться, а забинтованная лежала у меня на колене. Неподвижно. Он помнил про швы. Я – уже нет.

Я откинулась назад на локти. Чашка с остывшим чаем опрокинулась, чай потёк по столу и закапал на пол. Никто из нас не обратил внимания.

– Адам... Адам, пожалуйста...

– Что «пожалуйста»?

– Тебя. Хочу тебя. Внутри.

– Попроси нормально.

– Пожалуйста, – выдохнула я. – Трахни меня. Я хочу твой член. Сейчас.

Он оторвался от меня. Губы у него блестели. Секунду он смотрел на меня снизу вверх. Потом встал и отодвинул стул ногой.

– Адам, рёбра...

– Плевать на рёбра.

Он расстегнул ремень одной рукой. Джинсы съехали с бёдер. Его член был твёрдый, тяжёлый, горячий, с каплей на головке. Он взял меня здоровой рукой под колено, притянул к самому краю стола и провёл головкой по мне. Снизу вверх. По клитору. Медленно. Я застонала.

– Смотри, – сказал он. – Смотри, как я в тебя вхожу.

Я приподнялась на локтях и посмотрела вниз. Он входил медленно. Сантиметр за сантиметром. Растягивал меня. Большой, горячий, он заполнял меня всю, до самого конца, так глубоко, что у меня перехватило дыхание.

– Блять, – выдохнул он. – Какая ты горячая внутри. Я сейчас с ума сойду.

Он замер. Здоровая ладонь лежала у меня на бедре. Забинтованной рукой он упёрся в стол рядом с моим плечом.

– Скажи ещё раз, – попросил он.

– Люблю тебя.

И он начал двигаться.

Сначала медленно. Выходил почти до конца и входил снова, глубоко, тяжело, и стол скрипел под нами при каждом толчке. Потом быстрее. Жёстче. Он держал меня за бедро и вбивался в меня, чашки на столе дребезжали, а я лежала под ярким жёлтым светом, раскрытая, и смотрела, как он в меня входит. Отвести глаза я не могла.

– Посмотри на меня, – сказал он хрипло. – Майя. Смотри на меня, когда кончаешь.

Его большой палец нашёл мой клитор и задвигался в одном ритме с толчками.

Я подняла глаза. На его лицо. На стиснутые зубы, на капли пота на висках, на глаза – серые, почти чёрные, неотрывно на моём лице.

И кончила.

Глядя на него. Не отводя глаз. Меня выгнуло над столом, бёдра свело судорогой. Я сжималась вокруг него волнами, сильно, долго, и выкрикивала его имя, а он вбивался в меня всё быстрее. Потом застонал сквозь зубы, глухо, низко, и кончил в меня, глубоко, толчками, вжимаясь до упора.

Он навалился на меня. Уткнулся лбом мне в плечо. Тяжело дышал.

И зашипел от боли.

– Рёбра, – выдохнула я.

– Знаю.

– Я же говорила.

– Знаю, – сказал он мне в плечо. – Оно того стоило.

Я обняла его за шею. Осторожно, обходя бок.

– Ты разлила чай, – сказал он через минуту.

– Это ты разлил.

– Ты. Локтем.

– Значит, ты меня довёл.

Он засмеялся. Тихо. И тут же застонал – рёбра.

* * *

Детектив Гарсиа позвонила в девять вечера.

Я переслала ей всё ещё с поезда: заявление, письмо, визитку, номер машины. Фотографию арки отправлять не стала. Это было моё. Правило третье.

– Мисс Беннет, – сказала Гарсиа. Голос был усталый, но собранный. – У меня новости. Хорошие и странные.

Я включила громкую связь. Адам сел рядом.

– Хорошие: Дмитрий Коваль сегодня в четыре утра обратился в приёмное отделение больницы Норвестерн. Три сломанных пальца, перелом переносицы. – Пауза. – Мистер Камерон, вы ничего не хотите мне сказать?

– Нет, – сказал Адам.

– Так я и думала. – Кажется, она улыбнулась. – Коваль задержан. Молчит. Через сорок минут после задержания к нему приехал адвокат. Очень дорогой. Кто его нанял, адвокат не говорит.

– А странные? – спросила я.

– Странные. Пропуск, который вы мне прислали. Я позвонила в службу безопасности «Уитмор Холдингс». Пропуск настоящий. Временный. Выдан четвёртого января – в день, когда у вас была вечеринка в резиденции. Выдан по служебной заявке.

– Чьей? – спросил Адам.

– Заявка подписана одной буквой, – сказала Гарсиа. – «С.». И фамилией. Уитмор.

Мы с Адамом посмотрели друг на друга.

– Селеста, – сказала я.

– Возможно, – сказала Гарсиа. – Только мисс Уитмор четвёртого января с девяти утра до вечеринки была в Нью-Хейвене, на собеседовании в Йеле. У неё двенадцать свидетелей и билеты на самолёт. Подпись поставил кто-то другой. Кто-то, кто хотел, чтобы мы подумали на неё.

Она помолчала.

– И номер машины, который вы сфотографировали в Эванстоне. Он зарегистрирован на компанию в Делавэре. У компании нет сотрудников, нет офиса, нет сайта. Есть только почтовый ящик. И одна доверенность на управление. Выписана на женщину. – Шелест бумаги. – Имя я пока не могу вам назвать. Но инициал вы угадаете.

– «С.», – сказал Адам тихо.

– Будьте осторожны, – сказала Гарсиа. – Оба. Я серьёзно. Не встречайтесь ни с кем, кто пишет вам с незнакомых номеров. Особенно во вторник.

Она отключилась.

* * *

Адам уснул в полночь. На моей узкой кровати, на спине, потому что на боку не мог. Забинтованная рука лежала поверх одеяла.

Я не спала.

Сидела на подоконнике, завернувшись в плед, и смотрела на две фотографии в руках. Девочка на лестнице в Эванстоне. Девушка у стены под аркой.

Первую снял папа. Тайком, из темноты. Потому что любил меня и боялся это сказать.

Вторую сняла чужая женщина с седыми волосами и серебряным кольцом. Тоже тайком. Тоже из темноты. Чтобы меня уничтожить.

Вторая фотография была хорошей. Я видела это профессиональным глазом, и меня от этого тошнило. Свет на арке был поставлен идеально: фонарь сзади, отражение от мокрого кирпича сбоку. Чтобы снять так, нужно было стоять в темноте долго. Ждать. Знать, куда мы придём.

Кто-то знал, куда мы придём.

На тумбочке зажужжал телефон Адама. Экран загорелся.

Я посмотрела. Сообщение. С того самого номера.

С.: *Вторник. 22:00. Чикагский институт искусств, зал 262. Он закрыт на реконструкцию. Охрана вас пропустит. Один.*

Зал 262. Я знала этот зал. Там висели импрессионисты. И там, на дальней стене, в углу, где почти никто не останавливается, висел маленький портрет. Женщина у окна в синем.

Я посмотрела на Адама. На его лицо, разгладившееся во сне. На ресницы. На пластырь на скуле.

Один, сказала она.

Я выключила экран.

Во вторник он пойдёт туда один. Так сказано в сообщении.

А я пойду следом. Так решила я.

Глава 16. Адам

Шантаж

Селеста вошла в «Синюю дверь» во вторник, в одиннадцать утра.

Я узнал её не сразу. Без макияжа. В огромном сером худи с капюшоном, в тёмных очках, с волосами, стянутыми в небрежный хвост. Она выглядела так, будто не спала трое суток. Наверное, так и было.

Она подошла к кассе. Сняла очки. Глаза были красные, опухшие.

– Камерон, – сказала она.

– Уитмор.

– Латте. Большой. С двойным эспрессо.

Я пробил. Ядвига молча сделала латте и поставила на стойку, не сводя с Селесты глаз. Ядвига видела её фотографию в «Трибьюн» рядом с моей. Ядвига ничего не забывала.

Селеста взяла стакан. Сняла крышку. Посмотрела на меня.

И выплеснула латте мне в лицо.

Горячий. Не кипяток, но горячий. Молоко потекло по щекам, по пластырю на скуле, за воротник. Двое студентов у окна застыли с ноутбуками.

– Это за мою жизнь, – сказала Селеста. – Которую ты сломал.

Я вытер лицо рукавом. Медленно. Положил полотенце на стойку. И вышел из-за кассы.

Ядвига шагнула из-за кофемашины со шваброй в руке. Я поднял ладонь: не надо.

Селеста отступила. Я подошёл ближе.

– Твою жизнь? – спросил я тихо. – Давай посчитаем, Уитмор. Что в твоей жизни было твоего.

– Не смей...

– Серия «Паузы» – не твоя. Её украли у Майи и сунули тебе в руки, потому что у тебя нет глаза. Ты не можешь снять даже собственную тень. Это знают все. Даже Хейл.

Её щёки пошли красными пятнами.

– Ты надела на Тайлера маску, снятую с моего лица, – продолжил я. – Сказала ему, что Майя не побежит. Она побежала. Он чуть не остался на рельсах под поездом. Ты хоть раз позвонила ему в больницу?

Она молчала.

– Ты порезала мой портрет. При двухстах людях. Потом споткнулась о синюю ленту, упала, и весь зал смеялся. Это единственное, что люди запомнят о тебе. – Я наклонился к ней. – Ты не художник, Селеста. Ты кошелёк своего отца в платье. Йель это понял. Наконец-то.

– Заткнись, – прошептала она. Губы у неё тряслись.

– Ты назвала её нищей сучкой из Пилсена. – Я не повышал голоса. – У неё нет денег. Нет семьи. Теперь нет даже камеры. И она стоит больше, чем ты, твой отец и весь ваш дом вместе взятые. Потому что у неё есть то, чего тебе не купят. Ей есть что сказать.

Студенты у окна перестали делать вид, что печатают.

Селеста вдруг рванула что-то из кармана худи. Белый конверт. Швырнула его на стойку.

– Вот! – выкрикнула она. – Вот откуда фотографии! Я их не снимала! Мне их принесли!

Я взял конверт. Пустой. Плотная кремовая бумага. Водяной знак.

Та же бумага, что была в папке у родителей Майи.

– Кто принёс?

– Женщина. – Она говорила быстро, глотая слова. – В субботу перед Новым годом. Приехала к отцу. Они долго сидели у него в кабинете. Потом она нашла меня на кухне и сказала: «Мисс Уитмор, у меня есть кое-что, что вам понравится». Девять фотографий. Сказала – делайте, что хотите. – Она сглотнула. – Я сделала.

– Как она выглядела?

– Старая. Лет пятьдесят. Седая, короткая стрижка. Серое пальто. Камера на шее, древняя. – Селеста скривилась. – Отец называл её «миссис Х.». Просто «миссис Х.». Как будто остальное нельзя произносить вслух.

– Почему ты рассказываешь это мне?

– Потому что я тебя ненавижу, Камерон. Тебя и твою фотографиню. Но её я ненавижу больше. Она меня использовала. А меня никто не использует.

– Тебя используют все, Селеста, – сказал я. – Отец. Хейл. Эта женщина. Ты просто впервые заметила.

Она замахнулась. Хотела ударить меня по лицу.

Я перехватил её запястье. Она дёрнулась и не смогла вырваться.

– Отец её боится, – прошипела она мне в лицо. – Слышишь? Я видела. Он её боится. И ты тоже будешь бояться.

Я отпустил её запястье. И взял её за волосы. За хвост на затылке. Намотал на кулак.

Она вскрикнула.

– Это за человека в маске, которого ты прислала к ней, – сказал я.

Я повёл её через всё кафе. Мимо столиков. Мимо студентов с ноутбуками. Мимо Ядвиги со шваброй. Селеста шла согнувшись, на цыпочках, вцепившись обеими руками мне в запястье, и шипела ругательства. Я толкнул синюю дверь плечом. Колокольчик звякнул.

И вышвырнул её на улицу.

Она не удержалась на ногах и села в сугроб у тротуара. Очки слетели. Капюшон съехал на затылок. Прохожий с собакой остановился и уставился на неё.

– Ещё раз подойдёшь к ней, – сказал я с порога, – и узнаешь, каково это, когда на тебя смотрит весь город. Я тебе это устрою. Бесплатно.

И закрыл дверь.

Ядвига прислонила швабру к стене и протянула мне чистое полотенце.

– Я хотела сама, – сказала она.

– Знаю.

– Твоя девушка лучше.

– Знаю.

– Эта – злая. Но несчастная. – Ядвига пожала плечами. – Злые всегда несчастные.

* * *

Майя вернулась с занятий в пять.

Ей разрешили ходить в институт. Мне нет. Декан продлил моё отстранение до конца проверки, а в понедельник прислал письмо: «Любые попытки контакта с мисс Беннет будут рассматриваться как нарушение». Я прочитал его у Майи на кухне, пока она варила мне овсянку.

Я рассказал ей про Селесту. Про конверт. Про «миссис Х.».

Майя слушала, сидя на подоконнике. Потом долго молчала.

– Х., – сказала она. – Как Хейл.

– Да.

– Жена.

– Не знаю. – Я смотрел на свои руки. – Я ничего про неё не знаю. Я видел её один раз в жизни. На фотографии в его кабинете. В серебряной рамке. Он стоит с ней на каком-то приёме. Я тогда смотрел только на него.

– У неё седые волосы? На фотографии?

Я закрыл глаза. Вспомнил. Кабинет на двадцать шестом этаже. Стол. Рамка.

– Тёмные, – сказал я. – Длинные. Но фотографии лет пятнадцать.

Майя спрыгнула с подоконника.

– Ты пойдёшь сегодня, – сказала она. Не спросила.

– Да.

– Гарсиа сказала не ходить.

– Гарсиа не может её арестовать. У неё нет ничего, кроме номера машины на фирму-пустышку. – Я поднял глаза. – А мне она назначила встречу. Сама. Значит, хочет что-то сказать. Или что-то предложить.

– Или что-то сделать.

– Или что-то сделать, – согласился я.

Майя подошла ко мне. Встала между моими коленями.

– Я пойду с тобой.

– Нет.

– Адам.

– Нет, Майя. – Я взял её за запястье. За ремень от камеры, который она до сих пор не сняла. – Она написала «один». Если она увидит тебя, она просто уйдёт. И мы так и не узнаем, чего она хочет. А потом она пришлёт следующие фотографии. Те, что без куртки.

Майя смотрела на меня.

– Пообещай, что не пойдёшь, – сказал я.

Она молчала. Долго.

– Не буду, – сказала она наконец.

– Не будешь – что?

– Не буду обещать, – сказала Майя. – Правило первое. Никакой лжи. Если я пообещаю, я совру.

Я смотрел на неё. На упрямо сжатые губы.

– Ты невыносимая.

– Ты уже говорил.

Она взяла моё лицо в ладони. Посмотрела мне в глаза. Долго, будто запоминала. Потом поцеловала. Медленно. Глубоко. Её пальцы скользнули мне в волосы, на затылок, и сжались, словно она боялась, что я исчезну прямо сейчас, у неё в руках.

Я притянул её к себе здоровой рукой. Она прижалась ко мне всем телом, осторожно обходя рёбра, и целовала, пока у нас обоих не кончилось дыхание.

– Вернись ко мне, – прошептала она мне в губы. – Слышишь? Правило четвёртое. Ты всегда возвращаешься.

– Я вернусь.

– Обещай.

– Обещаю.

Она прижалась лбом к моему лбу. Закрыла глаза.

– Иди, – сказала она тихо. – И будь осторожен. А где буду я... – Она чуть улыбнулась. – Не спрашивай.

* * *

Чикагский институт искусств закрывался в пять. В десять вечера Мичиган-авеню была пустой, только такси шуршали по мокрому асфальту и ветер с озера гнал вдоль тротуара снежную крупу.

Бронзовые львы у входа стояли в снегу. На их спинах лежали белые попоны.

Главный вход был закрыт. Я обошёл здание и нашёл служебную дверь со стороны Монро. Над ней горела одна лампа. Рядом стоял охранник – пожилой, грузный, в форменной куртке. Он курил, прикрывая сигарету ладонью.

– Камерон? – спросил он.

– Да.

Он бросил сигарету в снег. Открыл дверь карточкой.

– Второй этаж. Крыло импрессионистов. Зал двести шестьдесят два. Там ремонт, смотрите под ноги. – Он помолчал. – И, парень. Она попечитель. Двадцать лет. Половина этого крыла на её деньги. Так что будь вежлив.

Я поднялся по служебной лестнице.

Музей ночью – это другой музей. Дежурное освещение, тусклое, жёлтое, только вдоль пола. Пустые залы. Скрип моих кед по паркету отдавался под потолком. Картины в полутьме смотрели со стен. Сотни лиц. Ни одно не двигалось.

Крыло импрессионистов было закрыто. Вход в двести шестьдесят второй зал перегораживала полупрозрачная плёнка, натянутая от пола до потолка. За ней горел свет. Тёплый, рабочий. Я отодвинул плёнку и вошёл.

Строительные леса вдоль одной стены. Вёдра с краской. Стремянка. Пол застелен серым картоном. Половину картин сняли и составили у стены лицом внутрь, завернув в белую ткань.

На дальней стене, в углу, висела одна картина. Маленькая. Освещённая одной лампой.

Женщина у окна. В синем платье. Свет падает слева, на скулу, на плечо, на руку, лежащую на подоконнике. За окном – серое озеро.

Синий.

Я остановился посреди зала.

Я знал этот синий. Я растирал его каждое воскресенье в два часа ночи. Я видел его на слайдах в маминой коробке под кроватью. Ультрамарин, растёртый вручную, неровно, с крупными зёрнами, которые ловят свет и вспыхивают.

– Красиво, правда? – сказал женский голос.

* * *

Она сидела на скамье посреди зала. Я не заметил её сразу: скамью закрывали леса.

Лет пятьдесят пять. Короткие седые волосы, очень гладкие. Длинное серое пальто, расстёгнутое. Под ним – чёрная водолазка. На шее, на потёртом кожаном ремне, висела камера. Старая плёночная «Лейка». На безымянном пальце левой руки – тонкое серебряное кольцо.

Тёмные длинные волосы с фотографии в кабинете исчезли. Лицо осталось. Только похудевшее и острое.

– Миссис Хейл, – сказал я.

Она улыбнулась. Улыбка была тонкая и усталая.

– Сабина, – сказала она. – Миссис Хейл звучит как надпись на благотворительном чеке. Садитесь, Адам. У вас трещина в ребре, стоять вам тяжело.

Я не сел.

– Откуда вы знаете про ребро?

– Я знаю про вас всё. – Она чуть склонила голову. – Я наблюдаю за вами с мая. С того дня, как вы впервые спустились в архив фонда. Помните? Вы пришли на собеседование в чужом пиджаке, на размер больше. Виктор вышел из лифта, увидел вас в коридоре и остановился. На три секунды. – Она подняла палец. – Три секунды, Адам. Виктор ни перед кем не останавливается. За двадцать восемь лет брака он ни разу не остановился передо мной.

Я молчал.

– Я стояла в конце коридора, – сказала Сабина. – И видела его лицо. Так он смотрит только на одну вещь в мире. – Она кивнула на стену. – На неё.

Я посмотрел на картину. Потом на табличку под ней. Маленькая латунная пластинка, буквы почти не видны в полутьме.

Я подошёл ближе.

Неизвестный художник. «Женщина у окна». Масло, холст. Чикаго, около 2004 г. Дар фонда Виктора Хейла, 2005.

Неизвестный художник.

– Это мамина, – сказал я. Голос прозвучал чужим. – Это её картина.

– Из её заявки, – сказала Сабина за моей спиной. – Две тысячи четвёртый год. Портреты, пять работ. Четыре он вернул ей вместе с отказом. Эту оставил себе. А через год, когда родились вы, подарил музею. Без имени. – Она помолчала. – Каждый вторник, двадцать лет, Виктор приезжает сюда после закрытия. Садится на эту скамью. И смотрит на неё. Полчаса. Ровно.

– Откуда вы знаете?

– Потому что двадцать лет каждый вторник я сижу в машине на Монро и жду, когда он выйдет.

Я обернулся.

Она смотрела не на меня. На картину. И в её лице было то, что я видел у Майи в первую ночь на платформе. Голод. Не по человеку. По взгляду.

– Я была фотографом, – сказала Сабина. – Хорошим. «Тайм». «Ньюсвик». Сараево в девяносто пятом. Руанда. Я снимала людей, на которых никто не хотел смотреть. Потом вышла за Виктора и убрала камеру в шкаф. Он сказал, что жена Хейла не бегает по войнам с «Лейкой». – Она погладила камеру на груди. – Двадцать восемь лет она лежала в шкафу. Я достала её в мае. Когда увидела, как он остановился перед вами.

– И начали снимать меня.

– И начала снимать вас. – Она кивнула. – Вас и вашу девочку. Переулок. Арку. Лабораторию. Платформу. Поезд. – Лёгкая улыбка. – Вы оба очень фотогеничны. Особенно когда думаете, что вас никто не видит.

* * *

Я сел.

Не потому что она велела. Потому что ноги перестали держать. Скамья была холодная, обитая кожей. Сабина сидела на другом конце. Между нами было два метра и картина на стене.

– Чего вы хотите? – спросил я.

– Чтобы вы исчезли, Адам.

Она сказала это спокойно. Как говорят «закройте окно».

– Виктор собирается в пятницу совершить глупость, – продолжила она. – Очень большую глупость. Он хочет выйти к журналистам в фонде и сказать, что вы его сын. Он хочет открыть архив. Признать всё. Двадцать лет. Все заявки. Все папки с пометкой «Передать Р. У.». – Она повернулась ко мне. – Вы понимаете, что это значит? Это значит – суды. Иски от сотни художников. Конец фонда. Конец Ричарда Уитмора. Конец моей фамилии. Двадцать восемь лет я была женой Хейла. Больше у меня ничего нет. Ни камеры, ни имени, ни работы. Только это.

Она достала из кармана пальто конверт. Кремовый. Положила на скамью между нами.

– Билет до Лос-Анджелеса. На четверг. В один конец. Чек на сто тысяч. Место в Калифорнийском институте искусств, со следующего семестра, всё оплачено. – Она пододвинула конверт ко мне. – Вы уезжаете. Звоните Виктору и говорите, что не хотите его фамилию, его признание, его пятницу. Что вы его ненавидите. Он вам поверит – вы уже порвали заявление у Питта на глазах. А я отдаю вам негативы. Все. Поезд, арку, лабораторию. И ваша девочка спокойно доучивается в Чикаго.

Я смотрел на конверт.

– А если нет?

– Если нет, – сказала Сабина, – в среду утром все фотографии из поезда окажутся в почте декана, в «Трибьюн» и у родителей мисс Беннет. Без куртки. Я снимала с двадцати метров на двухсотмиллиметровый объектив. Видно всё. – Пауза. – Каждую родинку.

Я встал.

Рёбра полоснуло болью, но я встал.

– Нет, – сказал я.

Сабина посмотрела на меня снизу вверх. Без удивления.

– Подумайте, Адам. Вы не о себе думаете. О ней.

– Я о ней и думаю. – Я взял конверт со скамьи. Посмотрел на него. И бросил ей на колени. – Она сама решает, что про неё рассказывать. Не я. И не вы.

– Красиво, – сказала Сабина. – Очень по-хейловски. Он тоже любил красивые жесты.

– Я не Хейл.

– Вы – больше Хейл, чем вам кажется. – Она поднялась. Поправила камеру на груди. – Вы его копия, Адам. Тот же подбородок. Та же гордость. Та же уверенность, что вам всё можно, потому что вы правы.

Она прошла мимо меня к картине. Остановилась перед ней. Близко.

– И, кстати, – сказала она, не оборачиваясь. – Мисс Беннет. Выходите. У вас очень громко скрипят кеды.

* * *

Плёнка у входа в зал шевельнулась.

Майя вышла из-за неё. В куртке, в шапке, с телефоном в руке. Экран светился. Красная точка записи.

Я закрыл глаза.

Конечно. Конечно, она пришла.

– Вы плохо прячетесь, – сказала Сабина. Без злости. С интересом. – Но вы хорошо снимаете. Я видела вашу «Паузу». Женщина в бордовом пальто. Отличный кадр. Виктор правильно сделал, что украл его.

– Он не украл, – сказала Майя. Голос у неё был ровный. – Он отдал его Селесте. А вы отдали Селесте фотографии со мной. Вы все в этой семье раздаёте чужое.

Сабина обернулась. Посмотрела на Майю внимательно, сверху вниз, как смотрят в видоискатель.

– Запись, – сказала она, кивнув на телефон. – Бесполезно, мисс Беннет. В этом крыле глушат связь, чтобы посетители не звонили у картин. А на выходе охрана проверит ваш телефон. Я попрошу.

– Пусть проверяет. – Майя опустила телефон. – Я её уже отправила. Детективу Гарсиа. С лестницы, пока шла. Там связь была.

Тишина.

Впервые за весь разговор лицо Сабины изменилось. Чуть-чуть. Уголок рта.

– Что вы отправили?

– Всё, что было до того, как я вошла за плёнку, – сказала Майя. – Билет. Чек. «Каждую родинку». – Она сделала шаг вперёд. – Вы снимали меня два месяца, миссис Хейл. Из темноты. Через стекло. Под аркой. В поезде. Вы фотографировали мою пустую комнату в Эвансторе. Вы сказали моей маме, что я жертва. – Голос у неё не дрогнул. – Я не жертва. И я вас не боюсь.

Сабина смотрела на неё долго.

Потом сказала, громче, куда-то за леса:

– Ланг.

* * *

Он вышел из-за строительных лесов. Тот самый. Высокий, в чёрной куртке, в вязаной шапке. На левой щеке, под глазом, – пластырь. Под пластырем угадывался рваный порез.

След ключа.

Майя увидела пластырь. Я видел, как она его узнала.

– Телефон, – сказал Ланг Майе. – В этот раз без ключей.

– Не подходи к ней, – сказал я.

Ланг посмотрел на меня. На бинт под рукавом. На то, как я держусь за бок.

– Ты еле стоишь, – сказал он.

– Стою.

Он пошёл к Майе. Обходя меня по дуге. Как обходят препятствие, которое не стоит внимания.

Я шагнул ему наперерез.

Он ударил первым. Коротко, в живот, туда, где синяк. Я знал, что он ударит туда. Я всё равно не успел увернуться. Боль взорвалась белым, я согнулся пополам, и воздух вышел из лёгких целиком. Колени ударились о серый картон.

– Адам! – закричала Майя.

Ланг перешагнул через меня.

Я не видел, что было дальше. Я видел пол. Серый картон. Вёдра с краской у стены. Пять ведёр, белых, пластиковых, с надписью по-английски. Грунт. Акриловый грунт для холста. Белый.

Я схватил ближайшее ведро за ручку. Оно было полное. Тяжёлое. Крышка держалась на защёлках.

Майя пятилась к стене. Ланг шёл на неё. Она держала телефон за спиной, а другой рукой шарила по карману, где у неё лежал ключ.

Я сорвал защёлки. И швырнул ведро ему под ноги.

Крышка отлетела. Грунт выплеснулся на картон, на паркет, ему на ботинки – густой, белый, скользкий, как мыло. Ланг поскользнулся. Взмахнул руками. Попытался устоять – и рухнул на спину, прямо в белую лужу, с размаху, плашмя.

Звук был мокрый. Тяжёлый.

Он попытался встать. Ладони разъехались. Он упал снова. Белый с головы до ног – куртка, шапка, лицо. Как гипсовый слепок.

Как маска.

– Майя! – крикнул я. – Беги!

Она не побежала. Она подскочила к лесам, схватилась за стойку обеими руками и дёрнула на себя.

Леса пошатнулись. Сверху, с верхнего яруса, посыпалось: рулоны картона, малярные валики, кисти, банка с растворителем. И стремянка – тяжёлая, алюминиевая. Она рухнула поперёк Ланга, придавив ему ноги.

Он заорал.

И тогда завыла сирена.

* * *

Не полицейская. Музейная. Пронзительная, металлическая, отовсюду сразу. Под потолком замигали красные лампы. Где-то в глубине здания с грохотом опустилась решётка.

Стремянка, падая, задела раму картины на соседней стене. Картина перекосилась на тросах. Датчик сработал.

– Сюда! – Майя схватила меня за здоровую руку. Потянула вверх.

Я поднялся. Не помню как.

Сабина стояла у маминой картины. Неподвижно. Красный свет мигал на её седых волосах, на камере, на лице. Она не бежала. Она смотрела на нас.

Потом медленно подняла «Лейку». Навела на нас. И нажала на спуск.

Щелчок. Я услышал его даже сквозь сирену.

– Последний кадр всегда самый честный, Адам, – сказала она. – Запомните.

Майя дёрнула меня к выходу.

Мы бежали через тёмные залы. Мимо Моне, мимо Ренуара, мимо стогов сена и кувшинок, которые в красном мигающем свете казались залитыми кровью. Сирена выла. Где-то позади хлопали двери, кричали охранники. Майя бежала впереди и тащила меня за руку, и я бежал за ней, держась за бок, и каждый вдох был как нож.

Парадная лестница. Широкая, каменная. Мы сбежали по ней вниз, через две ступеньки. Я держался за перила, Майя – за мою руку. Внизу, у главного входа, – решётка. Опущена.

– Туда! – Майя показала налево. Зелёная табличка над дверью. *Аварийный выход.*

Она ударила по ручке плечом. Дверь распахнулась. Ещё одна сирена, другая, выше. И холод. Ледяной, мокрый, в лицо.

Мы выскочили на улицу. В снег. В темноту. На Монро.

* * *

Бежать я больше не мог.

Майя дотащила меня до входа в подземный гараж под парком Миллениум, через дорогу. Мы нырнули вниз по пешеходной лестнице. Бетонные ступени. Жёлтые лампы. Запах бензина и мокрого бетона.

На площадке между этажами я сполз по стене.

Майя присела передо мной. Сняла шапку. Волосы налипли на лоб. Глаза были огромные, чёрные в жёлтом свете.

– Покажи, – сказала она. Задрала мне свитер. Посмотрела на синяк, на рёбра. Провела пальцами – осторожно, вдоль. – Сломал? Где больно? Здесь? Здесь?

– Везде, – сказал я.

– Адам.

– Не сломал. Трещина та же. Просто болит.

Она выдохнула. Опустила свитер. И ударила меня кулаком в здоровое плечо.

– Ты обещал, что пойдёшь один!

– Я и пошёл один.

– А я пообещала, что не буду обещать! – Она снова ударила. – И правильно сделала! Если бы меня не было, он бы тебя... он бы...

Она не договорила. Губы задрожали.

Я поймал её запястье. Притянул к себе.

– Ты отправила запись, – сказал я.

– Да.

– Гарсиа.

– Да.

– Ты сказала ей «я вас не боюсь».

– Да. – Она смотрела на меня в упор. – И я правда не боялась. Я боялась только за тебя.

Я смотрел на неё. На её губы, обветренные, приоткрытые. На капли растаявшего снега на ресницах. Сирена всё ещё выла где-то наверху, за бетоном, глухо, далеко. Сердце колотилось так, что я слышал его в ушах.

Я поцеловал её.

* * *

Не нежно. Совсем не нежно.

Я вцепился ей в волосы на затылке и поцеловал так, будто мне было нечем дышать, кроме неё. Она застонала мне в рот. Схватила меня за ворот куртки обеими руками. Укусила за нижнюю губу, до крови.

Я поднялся. Рёбра взвыли, но я поднялся. Развернул её. Прижал к бетонной стене. Её ладони упёрлись в серый бетон. Дыхание вырывалось облачками в холодном воздухе.

Я потянулся к её джинсам.

И вдруг не смог вдохнуть.

Вдох застрял на середине. Будто под рёбрами кто-то провернул нож. Перед глазами поплыли белые пятна. Я упёрся лбом в бетон рядом с её головой и замер.

Майя почувствовала это сразу. Развернулась ко мне.

– Адам.

– Сейчас. Подожди.

– Посмотри на меня.

Я посмотрел. Она взяла меня за подбородок. Её глаза бегали по моему лицу: по губам, по вискам, мокрым от пота, по тому, как я дышу. Коротко. Мелко. Через раз.

Потом она опустила глаза на мою руку. На бинт. Розовое пятно на нём расползалось. Медленно. На глазах.

– Всё, – сказала она. – Хватит.

– Майя...

– Нет. – Она оттолкнула мою руку от своих джинсов. Не грубо. Твёрдо. – Ты не можешь дышать. У тебя кровь из швов. Тебя только что ударили туда, где трещина. А ты только и думаешь, как бы стянуть с меня джинсы на лестнице в гараже. – Она ткнула пальцем мне в грудь, рядом с синяком, но не дотронулась. – Ты с ума сошёл, Камерон. Мы сейчас же едем в больницу.

– Я в порядке.

– Правило первое, – сказала она. – Ты в порядке?

Я открыл рот. Вдохнул. Рёбра ответили раньше меня. Я зажмурился.

– Нет, – сказал я.

– Вот и всё. – Она застегнула мне куртку. До самого горла. Натянула мне на голову свою шапку. – Пойдём. Медленно. Я рядом.

– А если там спросят, откуда...

– Скажем, что ты упал на лестнице. – Она подставила плечо мне под здоровую руку. – Это почти правда.

* * *

Больница Норвестерн была в пятнадцати минутах на такси. Приёмное отделение в одиннадцать вечера: яркий свет, запах антисептика, телевизор на стене без звука.

Майя говорила за меня. С медсестрой на входе, с дежурным врачом, с рентгенологом. Твёрдо, чётко, по пунктам. Трещина в ребре слева, четыре дня назад. Четырнадцать швов на предплечье. Через сутки два разошлись, их стянули полосками. Сегодня удар в живот, туда же. Одышка, боль при вдохе. Кровь из швов.

Я сидел на кушетке и смотрел на неё. На то, как она держит планшет с анкетой. Как не путается. Как ни разу не посмотрела на меня, пока говорила с врачом, чтобы не дрогнул голос.

Рентген показал, что трещина превратилась в перелом. Без смещения. Лёгкое не задето.

– Вам повезло, – сказал врач. Молодой, уставший, с кругами под глазами. – Ещё один такой удар, и ребро проткнуло бы плевру. Тогда это была бы уже не повязка, а операция.

Он заново зашил разошедшиеся швы на руке. Ещё четыре. Наложил на грудь тугую повязку. Выписал обезболивающее посильнее.

– Две недели покоя, – сказал он. – Никаких нагрузок. Никаких драк, никаких лестниц, никакого... – Он покосился на Майю. Потом снова на меня. – Никаких нагрузок. Вы меня поняли.

– Понял, – сказал я.

Врач повернулся к Майе.

– А вы, мисс? Вы поняли?

– Я поняла раньше него, – сказала Майя.

Врач хмыкнул. Майя покраснела до ушей, но взгляд не отвела.

Врач ушёл. Мы остались вдвоём за синей больничной шторкой.

Майя села рядом на кушетку. Взяла мою здоровую руку. Положила себе на колени и долго держала, не говоря ни слова.

– Ты меня остановила, – сказал я.

– Да.

– Я бы не остановился сам.

– Я знаю. – Она смотрела на наши руки. – Поэтому и остановила. Ты никогда не останавливаешься сам, Адам. Ни перед ножом, ни перед поездом, ни перед ведром. Кто-то должен.

Я молчал.

– Она сказала, что я его копия, – сказал я наконец. – Сабина. Тот же подбородок. Та же гордость.

– Ты не его копия.

– Откуда ты знаешь?

– Потому что он двадцать лет приходил смотреть на картину твоей мамы и молчал. – Майя подняла на меня глаза. – А ты кинул ведро грунта в человека, который шёл ко мне.

* * *

Из больницы такси везло нас в Пилсен. Было почти два часа ночи.

Водитель слушал радио. Arctic Monkeys, «505». Майя спала у меня на плече. Я держал её руку и смотрел в окно. На снег. На мокрые огни.

В кармане зажужжал телефон.

Незнакомый номер. Не тот, с которого писала Сабина. Другой.

Я ответил.

– Адам. – Голос был низкий, хрипловатый. Усталый. Я знал этот голос. Я слышал его в кабинете на двадцать шестом этаже. – Это Виктор Хейл.

Я молчал.

– Вы можете не отвечать, – сказал он. – Просто послушайте. Мне позвонили из музея. Сработала сигнализация в двести шестьдесят втором зале. Охрана говорит, там была моя жена. И молодой человек со шрамом на скуле. И девушка.

– Она хотела, чтобы я уехал, – сказал я. – Билет до Лос-Анджелеса. Сто тысяч.

Тишина в трубке. Долгая.

– Сто тысяч, – повторил Хейл. – Она всегда недооценивала людей.

– Я отказался.

– Я знаю. Вы всем отказываете. – Он помолчал. – Питт рассказал мне про кафе. Про то, как вы порвали заявление. Аккуратно, на четыре части. Он сказал, что за тридцать лет работы на меня никто ни разу не порвал при нём документ. – Пауза. – Знаете, что я сделал после этого?

– Нет.

– Я спустился в архив. Сам. Впервые за десять лет. Нашёл коробку две тысячи четвёртого года. Нашёл папку Клэр Камерон. Нашёл письмо. – Его голос стал тише. – Я его открыл, Адам. Через двадцать лет.

Я перестал дышать.

– «Посмотри на него», – сказал Хейл. – «Просто посмотри. Внимательно». – Он замолчал. Я слышал, как он дышит. Медленно, тяжело. – Я двадцать лет ходил по вторникам смотреть на её картину. А на сына ни разу не посмотрел. Даже когда он стоял у меня в кабинете.

Такси остановилось на светофоре. Красный свет лёг на лицо спящей Майи.

– Зачем вы мне звоните? – спросил я.

– Затем, что в пятницу в десять утра я выйду к журналистам, – сказал Хейл. – В фонде, в главном зале. Я скажу, что вы мой сын. Я скажу, что двадцать лет фонд присваивал чужие работы. Я назову имена. Ричарда в том числе. Я открою архив. – Пауза. – Я хочу, чтобы вы там были. Не ради фамилии. Ради того, чтобы я один раз посмотрел на вас при всех.

Светофор переключился. Такси тронулось.

– А ваша жена? – спросил я.

– Сабина знает. – Голос стал жёстче. – Я сказал ей в пятницу вечером, после разговора с Питтом. Поэтому она и позвала вас. – Он помолчал. – Адам. До пятницы не ходите никуда

одни. Ни вы, ни мисс Беннет. Я серьёзно. Я двадцать восемь лет живу с этой женщиной. Я знаю, на что она способна, когда у неё что-то отбирают.

– А вы? – спросил я. – Вы тоже не ходите один?

Он засмеялся. Коротко. Устало.

– Я старый человек, Адам. Мне уже некуда ходить.

Он отключился.

* * *

Майя проснулась, когда такси остановилось у прачечной.

– Кто звонил? – спросила она сонно.

– Отец.

Она открыла глаза. Посмотрела на меня. Впервые я назвал его так вслух.

– Что он сказал?

– Что в пятницу признает меня. При всех. – Я смотрел на тёмные окна её квартиры. – И что он открыл мамино письмо.

Майя долго молчала. Потом взяла моё лицо в ладони и повернула к себе.

– Ты пойдёшь?

– Не знаю.

– Правило первое.

Я закрыл глаза.

– Пойду, – сказал я.

Телефон в кармане зажужжал снова. Коротко. Сообщение.

С того самого номера.

Фотография. Чёрно-белая, зернистая, снятая на плёнку и отсканированная. Высокое окно, освещённое изнутри. Двадцать шестой этаж. Кабинет. За столом – седой мужчина. Он сидит, опустив голову. Перед ним раскрытая папка и пожелтевший листок бумаги.

Снято снаружи. Издалека. Через длинный объектив. Сегодня вечером.

Под фотографией – одна строчка.

С.: *Последний кадр всегда самый честный.*

Я смотрел на экран.

Майя смотрела на меня.

Потом она взяла мой телефон. Увеличила снимок. Долго разглядывала. Окно. Свет. Седую голову над столом.

– Адам, – сказала она тихо. – Это не угроза тебе.

– Знаю, – сказал я.

Это была угроза ему.

Глава 17. Майя

Ночь перед пятницей

В среду утром фотографии из поезда не появились.

Я проверила почту в шесть. Потом в семь. Потом в восемь. Я обновляла сайт «Трибьюн» каждые десять минут, и с каждым разом у меня сильнее холодели пальцы. Адам смотрел на меня с кровати. Потом молча протянул руку, забрал у меня телефон и положил его под подушку.

– Если она выложит, нам позвонят, – сказал он мягко. – Все сразу. Ты узнаешь первой. А сейчас дыши.

Я дышала. Плохо, но дышала.

Никто не позвонил.

В одиннадцать позвонила Гарсиа.

– Мисс Беннет. Ваша запись дошла. – Голос у неё был довольный, впервые за всё время. Я даже не сразу его узнала. – Двадцать три минуты. Билет, чек, угрозы. Отличное качество звука, кстати. В семь утра я позвонила адвокатам миссис Хейл и дала им послушать первые две минуты. – Пауза. – Фотографии не выйдут. Ни сегодня, ни завтра. Публикация после такой записи – это шантаж с доказательствами. Её адвокаты это понимают.

Я села на кровать. Ноги вдруг стали ватными. Внутри что-то, сжатое со вторника, медленно отпустило, и мне захотелось одновременно смеяться и плакать.

– А Ланг? – спросила я. Голос сел.

– Мистер Ланг задержан. – Кажется, она улыбнулась. – Охрана музея нашла его в двести шестьдесят втором зале под алюминиевой стремянкой. С ног до головы в акриловом грунте. Он пытался встать сорок минут. Охранники сказали, что не видели ничего смешнее за двадцать лет службы.

Адам за моей спиной издал звук, похожий на кашель. Потом схватился за рёбра и застонал, но сквозь стон всё равно смеялся.

– Он говорит? – спросила я.

– Молчит. Как Коваль. И к нему тоже приехал дорогой адвокат. Тот же самый, кстати. – Гарсиа помолчала, и в голосе у неё снова появилась усталость. – А миссис Хейл утверждает, что встретилась с пасынком в музее, чтобы обсудить семейные дела. Что мистер Ланг – её водитель, и что он защищал её от агрессивного молодого человека с ведром. Арестовать её я пока не могу. Доказательств мало.

– Но вы её арестуете? – спросила я. Слишком быстро. Слишком громко.

– Когда найду за что, – сказала Гарсиа. Твёрдо. – А я найду. Мисс Беннет. Не ходите никуда одна.

* * *

Адам лежал.

Врач сказал «две недели покоя», и я собиралась проследить, чтобы он лежал все две недели. Он лежал на моей узкой кровати, на спине, с тугой повязкой на груди и свежими швами на руке. Восемнадцать швов. Я посчитала, когда он спал. Потом пересчитала. Потом ушла в ванную и минуту стояла там, держась за раковину.

Лежать он не умел.

Через час он попросил кофе. Через два – скетчбук. Через три – встать в туалет, и я стояла под дверью, сжав кулаки, пока он не вышел, держась за стену. Через четыре он начал рисовать. Одной рукой, на коленях, лёжа. Рисовал меня. Как я сижу на подоконнике. Как я варю ему овсянку. Как я сплю.

– Ты меня рисуешь, когда я сплю? – спросила я, заглянув через его плечо. Возмущённо. И немного польщённо.

– Ты спишь с открытым ртом, – сказал он с самым серьёзным лицом. – И сопишь. Это надо зафиксировать для истории.

Я стукнула его скетчбуком по здоровому плечу. Он засмеялся, и я тоже, впервые за два дня.

Вечером пришла Ния. С кастрюлей куриного супа от своей бабушки и пакетом из аптеки.

– Обезболивающее, – сказала она деловито, вываливая пакет на стол. – Пластыри. Бинты. Мазь от синяков. – Она посмотрела на Адама. Невинно. – И презервативы. На всякий случай.

– Ния! – Я покраснела до ушей.

– Что? – Она пожала плечами, даже не моргнув. – У него сломано ребро, а не всё остальное.

Адам засмеялся и тут же застонал, схватившись за бок.

– Видишь? – сказала Ния с торжеством. – Смеяться ему тоже нельзя. Значит, будешь его смешить, когда я уйду. Чтобы помнил, кто тут главный.

У двери она обернулась. Посмотрела на меня. Уже без улыбки.

– Ты как? – спросила она тихо. – По-настоящему.

– Не знаю, – сказала я честно.

Она кивнула. Обняла меня. Крепко, быстро. И ушла.

* * *

В четверг, в три часа дня, в дверь постучали.

Не Ния. Ния стучала ногой. И не миссис Окафор, та стучала одним коротким ударом. Это был другой стук. Три раза. Аккуратно. Костяшками.

Адам приподнялся на локте. Лицо у него стало напряжённым, острым.

– Не открывай, – сказал он. Тихо, но так, что я замерла.

Я посмотрела в глазок.

На площадке стоял пожилой мужчина в тёмном пальто. Высокий, седой, без шапки. Снег таял у него на плечах. В руках он держал небольшую плоскую коробку, обёрнутую в коричневую бумагу. Рядом с ним стояла миссис Окафор, в халате, и смотрела на него снизу вверх так, как смотрят на ценник, который не нравится.

У меня перехватило дыхание.

– Адам, – сказала я шёпотом. – Это он.

Адам замер.

Я видела, как у него на скулах проступили желваки. Как побелели костяшки здоровой руки, сжатой на одеяле. Потом он медленно сел. Стиснул зубы от боли. Спустил ноги с кровати.

– Открой, – сказал он. Голос был ровный. Слишком ровный.

Я открыла.

Виктор Хейл посмотрел на меня. Я видела его один раз, на закрытии резиденции, издалека. В смокинге, с бокалом, с лицом человека, которому принадлежит всё вокруг. Сейчас он был другой. Старше. Тоньше. Под глазами – тёмные круги. Как будто за неделю из него выпустили воздух.

– Мисс Беннет, – сказал он. Негромко. Почти неуверенно. – Простите, что без звонка. Я подумал, что если позвоню, мне скажут не приходить.

– Вам бы сказали, – сказала я. Холодно. Мне самой стало не по себе от собственного голоса.

– Да, – согласился он. Без обиды. – Поэтому я не звонил.

Миссис Окафор сложила руки на груди.

– Он говорит, что он отец мальчика, – сказала она мне, не сводя с него глаз. – Я ему сказала, что у мальчика уже есть мать, а отцы, которые приходят через двадцать лет, обычно

приходят за чем-то. – Она прищурилась на Хейла. – Если он будет кричать, стучи в пол. Я поднимусь с битой.

– Я не буду кричать, мэм, – сказал Хейл. Очень серьёзно.

– Посмотрим, – сказала миссис Окафор. Фыркнула. И ушла вниз, шаркая тапочками, но я слышала, что она остановилась на середине лестницы и дальше не пошла.

* * *

Он сидел на моём единственном кухонном стуле. Пальто не снял. Сидел прямо, неловко, как сидят в чужом доме, где боятся что-нибудь задеть. Коробку положил на стол, рядом с куском стекла, на котором Адам растирал пигмент, и с банкой ультрамарина.

Адам сидел на краю кровати. Напротив. Между ними было два метра моей кухни. Батарея под окном завыла, как всегда. Хейл вздрогнул и посмотрел на неё.

– Она так всегда, – сказала я. Зачем-то. Чтобы хоть что-то сказать в этой тишине.

– Понимаю, – сказал Хейл. И мне показалось, что он едва заметно улыбнулся.

Он посмотрел на Адама. Долго. На повязку, проступающую под футболкой. На бинт на руке. На пластырь на скуле. На синие разводы пигмента под ногтями. Он смотрел так, будто пытался запомнить. Будто пересчитывал раны.

Я стояла у плиты и не знала, куда себя деть. Хотела уйти в ванную. Адам посмотрел на меня и чуть качнул головой: останься. В глазах у него была просьба. Почти испуг.

Я осталась.

– Сабина сделала это? – спросил Хейл. Тихо. Кивнул на повязку. Голос у него дрогнул на имени жены.

– Её водитель, – сказал Адам. Сухо. – Во вторник. А руку – люди Уитмора. В переулке. Неделю назад.

Хейл закрыл глаза. Открыл. Лицо у него посерело.

– Я не знал про переулок, – сказал он. Медленно, с трудом. – Когда я писал вам «не ходите одна», я думал о Сабине. Не о Ричарде. Я не знал, что они... – Он замолчал. Провёл ладонью по лицу. – Неважно. Я должен был знать. Двадцать лет я должен был знать всё, что происходит вокруг меня. И не хотел.

Он пододвинул коробку к Адаму. Руки у него слегка дрожали.

– Это вашей матери. – Голос стал глуше. – Я хотел отдать ей сам. Но она не захочет меня видеть. И будет права.

Адам не шевельнулся.

– Что там? – спросил он. Почти враждебно.

– Её письмо. – Хейл смотрел на коробку, не на него. – Оригинал. Из архива. Я его открыл, вы знаете. И ещё табличка. Латунная. Из музея. Я заказал новую. Её повесят в понедельник.

Адам медленно протянул здоровую руку. Развернул коричневую бумагу. Внутри, на сером картоне, лежал пожелтевший конверт с обратным адресом в Милуоки. И маленькая латунная пластинка.

Я подошла ближе. Прочитала через его плечо. И у меня перехватило горло.

Клэр Камерон. «Женщина у окна». Масло, холст. Чикаго, 2004.

Без «неизвестного художника». Без «дара фонда».

Адам смотрел на пластинку. Пальцы у него дрожали. Он провёл большим пальцем по выгравированному имени. Один раз. Медленно. Как гладят лицо.

– Почему сейчас? – спросил он. Голос сорвался на середине. – Двадцать лет. Почему сейчас?

Хейл долго молчал.

– Потому что вы порвали заявление, – сказал он наконец. Тихо. – Питт описал мне это до последней детали. Аккуратно, на четыре части. И вы сказали ему: «Мне не нужна его фамилия. Её мне дала мама». – Он посмотрел на Адама. И в его глазах было что-то, от чего мне захо-

телось отвернуться. Стыд. Гордость. Боль. Всё сразу. – Шестьдесят один год, Адам. За шестьдесят один год мне никто ни разу не сказал «нет» так, чтобы я поверил. А вам я поверил. Сразу.

Адам опустил голову. Я видела, как дёрнулся у него кадык.

Батарея замолчала. На кухне стало очень тихо.

– Мисс Беннет, – сказал Хейл, не оборачиваясь. – Ваша серия. «Паузы». Я распорядился. Фонд выплатит вам компенсацию и признает авторство официально. Питт свяжется с вами на следующей неделе. Это ничего не исправляет. Но это ваше. Не моё и не мисс Уитмор.

– Мне не нужны ваши деньги, – сказала я. Голос дрогнул, и я разозлилась на себя за это. – Вы думаете, можно прийти через полгода, положить конверт на стол и всё? Я плакала над этой серией в туалете галереи. Я смотрела, как Селеста получает за неё аплодисменты. Мне не нужны ваши деньги, мистер Хейл.

Он не отвёл глаз.

– Это не мои деньги, – сказал он тихо. – Это ваши. Я просто двадцать лет держал их у себя. Ваши и ещё сотни людей. – Он помолчал. – Вы можете их сжечь, мисс Беннет. Это будет ваше право. Но они ваши.

Я отвернулась к плите. Чтобы он не видел моего лица.

Он встал. Медленно, опираясь рукой о стол. Я видела краем глаза, как дрожат у него пальцы, когда он застёгивал пальто. Пуговицы не слушались.

– В пятницу, в десять, – сказал он Адаму. – Если не придёте, я пойму. Правда пойму.

Адам долго молчал. Смотрел на латунную пластинку в своей руке.

– Я приду, – сказал он наконец. Голос сел. Пришлось повторить. – Я приду.

Хейл закрыл глаза. На секунду. Как человек, который долго ждал удара, а его не ударили.

Он кивнул. Пошёл к двери. Остановился, взявшись за ручку.

– И ещё, – сказал он, не оборачиваясь. – Если со мной что-то случится до пятницы... Питт знает, что делать. Ему можно верить. Он единственный, кому я верю.

У меня внутри всё похолодело.

– С вами что-то случится? – Я шагнула к нему. – Мистер Хейл. Вы что-то знаете?

Он обернулся. Посмотрел на меня. На Адама. И улыбнулся – устало, почти виновато. Так улыбаются, когда не хотят отвечать.

– Мисс Беннет, – сказал он. – Вы фотограф. У вас есть камера?

Вопрос ударил куда-то под рёбра.

– Нет, – сказала я. – Разбилась. Неделю назад. О голову человека, которого прислали за ней.

Он вздрогнул. Едва заметно.

– А телефон?

– Есть.

– Тогда я прошу вас. – Голос у него вдруг стал другим. Тихим, неуверенным. Голос человека, который за шестьдесят один год ни разу ни о чём не просил. – Сделайте одну фотографию. Пожалуйста. Меня и его. – Он сглотнул. – Только одну. Я пойму, если он откажется.

Я посмотрела на Адама.

Адам смотрел на отца. Долго. Я видела, как в нём борется что-то: двадцать один год злости и последние пять минут. Потом он медленно встал с кровати. Держась за бок. Подошёл к окну. Встал рядом с ним.

Не близко. Между ними оставалось полметра. Они не касались друг друга. Они стояли у моего окна, оба высокие, оба с одинаково упрямыми подбородками, и смотрели в объектив моего телефона. Хейл держал руки в карманах пальто. Адам – вдоль тела. Оба не знали, куда их деть.

Свет падал слева. Серый, январский. На две одинаковые скулы.

У меня дрожали руки. Я заставила их не дрожать.

И нажала на спуск.

Это была первая фотография, которую я сделала с тех пор, как разбила камеру о чужую голову.

* * *

Хейл ушёл в половине четвёртого. На пороге он остановился, будто хотел что-то сказать Адаму. Не сказал. Только кивнул. Миссис Окафор проводила его взглядом из двери прачечной. Я видела из окна, как он сел в такси. Без водителя. Без охраны. Один. Сгорбленный, маленький на фоне снега.

Адам сидел на кровати и держал латунную пластинку в ладони.

– Покажи, – сказал он. Хрипло.

Я протянула ему телефон.

Он смотрел на фотографию долго. Отец и сын у окна. Полметра пустоты между ними.

– Мы похожи, – сказал он. С удивлением. С болью.

– Очень, – сказала я тихо.

– Я не хотел быть похожим.

– Ты похож лицом, – сказала я. – Не руками.

Он поднял на меня глаза. Потом посмотрел на свои руки. На синее под ногтями. На бинт.

И вдруг уткнулся лицом мне в живот. Обхватил меня здоровой рукой за бёдра. Сильно, почти больно. Плечи у него вздрагивали.

Я гладила его по волосам. Долго. Ничего не говорила. Слова здесь были не нужны. У меня самой по щекам текли слёзы, и я их не вытирала.

* * *

Вечером я наполнила ванну.

Душ ему был нельзя: повязку на груди мочить запретили, швы на руке тоже. Ванна у меня крошечная, сидячая, старая, с облупившейся эмалью. Я налила воды по пояс, горячей. Потом взяла его забинтованную руку и стала обматывать пищевой плёнкой. В три слоя. Заклеила скотчем. Руки у меня немного дрожали. Днём его отец сидел на моей кухне, а сейчас я обматываю плёнкой его сына, и от этого было и тепло, и страшно.

– Ты похожа на хирурга, – сказал он, глядя, как я работаю. Попытался улыбнуться. Улыбка вышла кривая, вымученная, и от неё у меня защемило сердце.

– А ты похож на человека, который сейчас заплачет, – сказала я тихо, не поднимая глаз. Скотч никак не отрывался, пальцы не слушались. – Так что сиди смирно. И не смотри на меня так.

– Как? – спросил он. Хрипло, почти шёпотом. Голос сорвался на этом коротком слове, и он отвернулся к стене, будто испугался, что я услышу.

– Как будто я сейчас тоже заплачу, – сказала я. И почувствовала, что это правда: в горле встал ком, а глаза защипало.

Он замолчал. Здоровой рукой коснулся моей щеки. Осторожно, кончиками пальцев, будто проверял, настоящая ли я. И убрал руку, не сказав ни слова.

Он разделся сам. Медленно. Стиснув зубы, когда стягивал футболку через голову. Я хотела помочь, но он мотнул головой, и я отступила. Ему нужно было сделать это самому. После сегодняшнего дня ему нужно было хоть что-то сделать самому.

Тугая повязка на груди была белая, широкая, от подмышек до нижних рёбер. Под ней угадывался синяк – чёрно-лиловый, расползшийся до бедра. Я смотрела на него и чувствовала, как у меня сжимается горло. Каждый раз, когда я его видела, мне хотелось найти Ланга и ударить его ещё раз. Ключом. Сильнее.

Он сел в ванну. Левую руку положил на бортик. Откинул голову на кафель. Выдохнул – долго, будто весь день задерживал дыхание.

Я села на край. Взяла губку.

– Я сам, – сказал он.

– Ты не дотянешься до спины.

– Дотянусь.

– Адам. – Я окунула губку в воду. – Ты сам сказал во вторник: кто-то должен тебя останавливать. Сегодня это я. Сиди.

Он посмотрел на меня из-под мокрых ресниц. Хотел что-то возразить. Потом в лице у него что-то сломалось, совсем чуть-чуть, и он отвёл глаза.

– Ладно, – сказал он тихо. – Сегодня ты.

Я мыла его медленно. Шею. Плечи. Здоровую руку, от плеча до кончиков пальцев, каждый палец отдельно, оттирая синее из-под ногтей. Спину, над повязкой и под ней, осторожно, по краю бинта. Он сидел с закрытыми глазами и почти не дышал.

– Он смотрел на мои руки, – сказал он вдруг, не открывая глаз. – Когда сидел на кухне. Ты заметила? Всё время смотрел на руки.

– Заметила.

– Как ты думаешь, о чём он думал?

Я помолчала. Провела губкой по его плечу.

– О ней, – сказала я. – У тебя её руки. Она сама так написала.

Он открыл глаза. Посмотрел на меня. Долго. И я увидела, что глаза у него мокрые не только от воды.

Я наклонилась и поцеловала его в висок. Он прижался щекой к моей ладони и замер.

Потом я опустила губку ниже. По его животу, под водой.

Он вздрогнул.

Под водой он был твёрдый. Я видела это сквозь прозрачную воду. Я посмотрела на него. Он смотрел на меня, и в его взгляде больше не было ни горя, ни усталости. Только тёмное, тяжёлое, голодное.

– Это не я, – сказал он хрипло. – Это ты. С губкой.

– Врач сказал никаких нагрузок.

– Я не двигаюсь. Видишь? – Он не пошевелился. Только уголок рта дёрнулся. – Совсем.

Я смотрела на него. На капли воды на ключицах. На тёмные волосы, прилипшие ко лбу. На глаза, которые темнели с каждой секундой. У меня вдруг пересохло во рту.

– Сними свитер, – сказал он.

– Адам.

– Ты меня мыла двадцать минут. – Его голос стал ниже. – Двадцать минут ты трогала меня везде. Я сидел и терпел. Теперь моя очередь. Сними свитер. Я хочу на тебя смотреть.

У меня горели щёки. Я стянула свитер. Под ним был только лифчик.

– И это.

Пальцы не сразу нашли застёжку. Он видел, как я с ней вожусь, и не сводил глаз. Лифчик упал на мокрый пол.

Адам смотрел на меня снизу вверх. Долго. Капля воды скатилась у него по виску.

– Господи, – сказал он тихо. Почти шёпотом. – Иди сюда. Ближе.

Я наклонилась. Он поднял здоровую руку из воды и положил мокрую ладонь мне на грудь. Горячую. Медленно провёл большим пальцем по соску. Я задохнулась.

– Тихо, – сказал он. – Не шевелись. Я хочу запомнить. Сегодня я весь день боялся, что всё забуду. Его лицо. Его голос. Тебя хочу запомнить точно.

У меня защипало в глазах. Я не шевелилась.

Он трогал меня. Только рукой. Медленно. Грудь. Рёбра. Живот. Мокрые следы от его пальцев оставались на коже, и мне было холодно и горячо одновременно. Потом его ладонь опустилась ниже. К поясу джинсов. Он расстегнул пуговицу одной рукой. Ловко. За эту неделю он научился всё делать одной рукой.

– Адам... тебе нельзя...

– Мне нельзя двигаться, – сказал он. – Тебе можно.

Его рука скользнула мне в джинсы. Под бельё. Пальцы нашли меня – мокрую, хотя я не была в воде.

Я вцепилась в край ванны.

– Блять, Беннет, – выдохнул он. И в голосе у него было что-то почти удивлённое. Почти нежное. – Ты мыла меня и текла. Всё это время.

– Может быть, – прошептала я. И не отвела глаз.

– Может быть? – Его пальцы замерли. Едва касаясь.

– Проверь, – сказала я. – Сам.

– Уже проверил. – Он чуть шевельнул пальцами, и я вздрогнула всем телом. – Скажи, чего ты хочешь.

– А ты угадай.

– Угадать? – Уголок его рта дёрнулся. Глаза потемнели. – Это? – Большой палец скользнул по клитору. Лениво. Мимоходом. Будто случайно.

– Холодно, – соврала я. Голос меня выдал. Сорвался на середине слова.

– Врёшь, – сказал он тихо. – Правило первое.

– Тогда не останавливайся, – прошептала я. – И узнаешь, где горячо.

Он вошёл в меня двумя пальцами. Медленно. Глубоко. Я сидела на краю ванны, наклонившись над ним, с расстёгнутыми джинсами, и его рука двигалась во мне, а большой палец нашёл клитор и закружил по нему – медленно, потом быстрее. Его глаза не отрывались от моего лица.

– Ты смотришь, – прошептала я.

– Да.

– Не смотри.

– Буду смотреть, – сказал он. – Ты такая красивая, когда тебе хорошо. Ты даже не представляешь, какая ты сейчас.

Я опустила руку в воду. Нашла его. Обхватила ладонью. Он вздрогнул и коротко застонал. Вода плеснула через край.

– Майя...

– Не двигайся, – сказала я. Голос дрожал. – Тебе нельзя.

Мы делали это медленно. Оба. Моя рука под водой, его рука во мне. В одном ритме. Я смотрела ему в глаза, он смотрел мне в глаза, и никто из нас не отводил взгляда. Вода остывала. Пар оседал на зеркале. Батарея за стеной молчала, будто прислушивалась.

Я кончила первой. Тихо. Почти беззвучно. Сжалась вокруг его пальцев, уткнулась лбом в его мокрое плечо и дрожала долго, пока он не перестал двигать рукой.

Он кончил через минуту. В мою ладонь, под водой. Запрокинул голову на кафель, стиснул зубы, и из горла у него вырвался низкий, сдавленный звук, и вода снова плеснула через край на пол.

Потом мы долго сидели так. Он в остывающей воде. Я на краю, без свитера, лбом у него на плече. Его мокрые пальцы гладили меня по спине. Медленно. Вверх и вниз.

– Спасибо, – сказал он тихо.

– За что?

– За то, что ты сегодня была. Когда он пришёл. Я бы не выдержал один.

Я подняла голову. Посмотрела на него. Хотела сказать что-то важное. Не нашла слов. Просто поцеловала его в губы. Медленно.

Потом посмотрела вниз.

– Мы залили пол, – сказала я.

Он засмеялся, тихо, держась за рёбра.

– Миссис Окафор будет недовольна.

– Миссис Окафор в это время смотрит свои мексиканские сериалы, – сказала я. – На полной громкости. Она не заметит.

* * *

В девять вечера я стояла у окна в его рубашке.

Он подошёл сзади. Медленно, придерживаясь за стену. Я слышала, как он тяжело дышит, и хотела сказать, чтобы лёг, но не сказала. Он обнял меня здоровой рукой. Положил подбородок мне на макушку. Тёплый. Пахнущий моим мылом.

Внизу, под окном, горела вывеска прачечной. Красные неоновые буквы: *ОТКРЫТО*. Миссис Окафор выключала её ровно в десять. Каждый вечер. Двадцать лет. По ней в нашем квартале можно было сверять часы.

Снег шёл мелкий, косой. В свете неона он казался розовым.

– Завтра, – сказал Адам. Тихо. Как будто сам себе. – В десять.

– Я пойду с тобой.

– Знаю. – Он поцеловал меня в волосы. В голосе была улыбка. – Я не буду говорить «нет». Ты всё равно придёшь.

– Приду.

– Встанешь в последнем ряду.

– Встану в первом, – сказала я упрямо.

Он засмеялся. Тихо, сквозь боль. И прижал меня крепче.

– Мне страшно, – сказал он вдруг. Так тихо, что я едва расслышала. – Завтра. Что он скажет. Что я почувствую.

Я накрыла его руку своей. Переплела пальцы.

– Я буду в первом ряду, – сказала я. – Будешь смотреть на меня.

Я смотрела на вывеску. На розовый снег. На тёмную улицу. Где-то далеко, на другой стороне, у закрытой мексиканской пекарни, стояла машина с выключенными фарами. Я не обратила на неё внимания. В Пилсене всегда стоят машины.

* * *

В пятницу, в шесть десять утра, в дверь заколотили.

Не постучали. Заколотили. Кулаком. Без остановки.

Я вскочила. Сердце колотилось в горле. Адам уже сидел на кровати. Он проснулся раньше меня, как всегда, когда что-то не так.

– Полиция Чикаго! Откройте!

Я открыла. Руки тряслись так, что я не сразу справилась с замком.

На площадке стояли трое. Двое в форме. И детектив Гарсиа – в пуховике поверх тёмного костюма, с мокрыми от снега волосами. Лицо у неё было серое. Неспавшее. Она не смотрела мне в глаза.

Она посмотрела мимо меня. На Адама.

– Мистер Камерон, – сказала она. – Где вы были вчера вечером, с девяти до часу ночи?

Адам медленно встал. Держась за бок.

– Здесь, – сказал он. Растерянно. – Что случилось?

Гарсиа помолчала. Потом сказала, очень ровно, как говорят то, что говорили уже много раз:

– Виктор Хейл найден мёртвым в своём кабинете в фонде. Уборщица обнаружила его в пять утра. По предварительным данным, смерть наступила между одиннадцатью и полуночью. – Пауза. – Удар по голове.

Я не услышала, что было дальше. В ушах зазвенело.

Я смотрела на Адама.

Он стоял посреди моей кухни, в футболке, с повязкой на груди, и не двигался. Лицо у него ничего не выражало. Совсем ничего. Как будто кто-то стёр его ластиком.

Потом он сказал:

– Он вчера был здесь.

Голос был чужой. Пустой. Детский.

– Мы знаем, – сказала Гарсиа. Мягче. – Таксист довёз его до вашего дома в три. Это была его последняя поездка, кроме обратной.

– Он стоял вот здесь. – Адам показал на окно. Рука у него дрожала. Голос был очень тихий. – Вот здесь. Мы стояли рядом. Она нас сфотографировала.

Гарсиа посмотрела на меня. Я кивнула. Говорить я не могла. Горло сдавило так, что было больно глотать.

– Мистер Камерон, – сказала Гарсиа. Ещё мягче. Почти с сочувствием. – Мне нужно, чтобы вы поехали со мной. Это не арест. Пока. Но мне нужно задать вам вопросы.

– Почему? – спросила я. Голос вернулся. Хриплый, чужой, злой. – Почему он? Вы же знаете, что это не он!

Гарсиа долго смотрела на меня. Потом достала телефон. Открыла фотографию. Развернула экраном к нам.

Кабинет. Тёмный паркет. Край ковра. Ножка массивного стола.

И на паркете – синее. Рассыпанное, яркое, зернистое. Тонкой неровной дорожкой, от двери к столу. Как будто кто-то шёл и сыпал его из пальцев.

Ультрамарин.

Меня затошнило. Я узнала его сразу. Я каждое утро смывала его с чашек на своей кухне.

– Эксперт говорит, это натуральный пигмент из лазурита, – сказала Гарсиа. – Растёртый вручную. Неравномерно. Такой не продаётся в магазинах. – Она убрала телефон. – Мистер Камерон, вы знаете кого-нибудь ещё в Чикаго, кто растирает ультрамарин вручную?

Адам смотрел на свою банку с пигментом. На кухонном столе. Рядом с куском стекла и пустой коричневой бумагой от вчерашней коробки.

– Нет, – сказал он. Еле слышно.

* * *

Его увезли в шесть тридцать.

Перед тем как сесть в машину, он обернулся. Посмотрел на меня через снег. Ничего не сказал. Только смотрел. И я поняла, что если сейчас заплачу, то не остановлюсь.

Я не заплакала. Я поехала следом. В такси. Одна. Гарсиа не разрешила мне ехать с ним в машине.

Участок на Харрисон-стрит. Пластиковые стулья. Автомат с кофе, который выдавал коричневую воду. Я сидела в коридоре четыре часа и смотрела на дверь, за которой он был. Мне не давали его видеть. Каждый раз, когда дверь открывалась, у меня останавливалось сердце.

В семь пятнадцать пришла миссис Окафор. В пальто поверх халата, в резиновых сапогах. С термосом.

– Чай, – сказала она, сунув мне термос. Ворчливо. – С имбирём. Пей. Ты зелёная.

– Как вы узнали? – Голос у меня дрожал.

– Я видела из окна, как его сажали в машину. Без шапки. Держался за бок, еле согнулся, когда садился. Бедный мальчик. – Она села рядом со мной на пластиковый стул. Тяжело, со вздохом. – Я сказала дежурному, что я свидетель.

– Свидетель чего?

Миссис Окафор посмотрела на меня. Поверх очков. Строго и как-то очень тепло одновременно.

– Девочка, – сказала она. – Я не сплю по ночам. А сушилки у меня стоят прямо под твоей ванной. – Она отпила из крышки термоса. – Я слышала, как вы вчера вечером заливали мне

потолок. И всё остальное тоже слышала. – Она хмыкнула, и я покраснела, несмотря ни на что. – В девять он стоял у окна, я видела его снизу. Потом вы легли. В одиннадцать сорок у тебя скрипела кровать – он, видимо, переворачивался, бедный, весь побитый. В половине первого ты вставала в туалет. Кран у тебя гудит, как пароход. – Она поставила крышку на колено. – Никто не выходил из твоей двери до шести утра. Лестница у меня под носом. Я бы видела.

Я смотрела на неё. Не могла сказать ни слова. Глаза наполнились слезами.

– Ты думаешь, старуха Окафор ничего не видит? – Она хмыкнула. Потом неловко похлопала меня по колену. – Старуха Окафор видит всё. Просто молчит, пока не надо.

Я уткнулась ей в плечо. В пальто, пахнущее стиральным порошком и имбирём. И впервые за это утро заплакала. Она не сказала ни слова. Только гладила меня по спине большой тёплой ладонью.

* * *

В десять Гарсиа вызвала меня.

Маленькая комната без окон. Стол. Два стула. Диктофон. Гарсиа сидела напротив, с папкой, с остывшим кофе в бумажном стакане. Она выглядела так, будто не спала двое суток.

– Мисс Беннет, – сказала она. – Мне нужно, чтобы вы рассказали, что вы делали вчера с трёх часов дня до шести утра. По минутам. Всё.

– Всё? – переспросила я. Голос дрогнул.

– Всё. – Она посмотрела мне в глаза. Не жёстко. Честно. – Я понимаю, что это личное. Вы можете отказаться. Это ваше право. Но вы его девушка. Ваше слово стоит меньше, чем слово постороннего. Чем точнее вы будете, тем больше у меня шансов вам поверить. Миссис Окафор рассказала мне свою часть. Мне нужна ваша.

Я молчала. Сжимала под столом пальцы, пока не стало больно.

Правило третье. Что про меня рассказывать – решаю я.

Адам сказал в кафе, что если я начну рассказывать, они заберут это у меня. Как забрали фотографии.

Но Адам сидел сейчас в соседней комнате, с переломанным ребром, без обезболивающего, и его спрашивали, зачем он убил отца, который только позавчера впервые назвал его сыном.

Я подняла голову.

– Хорошо, – сказала я. Голос не дрожал. Я сама удивилась. – Записывайте.

Я рассказала всё.

Про Хейла на моей кухне. Про коробку, письмо, латунную пластинку. Про фотографию у окна. Про то, как Адам плакал, уткнувшись мне в живот. Про ванну. Про плёнку на его руке в три слоя. Про то, что было потом. Не всё в подробностях. Но достаточно. Время. Звуки. Залитый пол.

На середине у меня горели щёки. К концу – уже нет. К концу мне было всё равно, что она обо мне подумает. Я просто говорила правду. Свою. Сама.

Гарсиа слушала, не перебивая. Ни разу не отвела глаз. Ни разу не усмехнулась.

Когда я закончила, она выключила диктофон.

– Спасибо, – сказала она. Тихо. – Я знаю, чего вам это стоило.

– Вы мне верите? – Я смотрела на неё в упор. Мне нужно было знать.

Гарсиа долго смотрела на меня.

– Я верю миссис Окафор, – сказала она. – И я верю, что человек с переломанным ребром, на сильных обезболивающих, не мог в половине двенадцатого доехать с Восемнадцатой улицы до Мичиган-авеню, подняться на двадцать шестой этаж через охрану, ударить взрослого мужчину и вернуться обратно, не попавшись ни одной камере. – Она помолчала. Потом добавила, жёстче: – Но кто-то хочет, чтобы я в это поверила. Кто-то очень постарался. Ультрамарин на полу – это не улика. Это подпись. Чужая.

* * *

В участке на стене висел телевизор. Без звука.

В десять ноль-ноль на экране появился главный зал фонда Хейла. Белые стены. Ряды стульев, полные журналистов. Камеры. Микрофоны. Трибуна с логотипом фонда. Пустая.

Я смотрела на эту пустую трибуну, и у меня сжималось сердце. Он должен был стоять там. Сейчас. Адам должен был сидеть в первом ряду. А я – рядом.

Внизу бежала строка: *СРОЧНО: ВИКТОР ХЕЙЛ НАЙДЕН МЁРТВЫМ. ПОЛИЦИЯ ДОПРАШИВАЕТ ВНЕБРАЧНОГО СЫНА.*

К трибуне вышел Гордон Питт. В чёрном костюме. С листком бумаги. Он долго стоял, не говоря ни слова. Камеры вспыхивали.

Потом он сложил листок пополам. Убрал в карман. И сказал что-то короткое – одну фразу. И ушёл.

Я не слышала, что он сказал. Звука не было.

Строка внизу сменилась.

ГОРДОН ПИТТ, АДВОКАТ ХЕЙЛА: «МИСТЕР ХЕЙЛ СОБИРАЛСЯ СКАЗАТЬ СЕГОДНЯ ПРАВДУ. ОН ЕЁ СКАЖЕТ».

* * *

Адама отпустили в два часа дня.

Без обвинения. «Пока». Гарсиа сказала ему не уезжать из Чикаго. Он кивнул, не глядя на неё.

Он вышел в коридор. Бледный, серый, в той же футболке, в которой его забрали. Куртка висела на здоровом плече. Он увидел меня. Увидел миссис Окафор с термосом.

Я вскочила. Он ничего не сказал. Подошёл. Опустился на пластиковый стул рядом со мной. Медленно, как старик.

И только тогда, в коридоре участка на Харрисон-стрит, под телевизором без звука, он заплакал.

Не так, как вчера, когда уткнулся мне в живот. По-другому. Беззвучно. С открытыми глазами. Слёзы текли по лицу, по пластырю на скуле, капали на футболку, а он сидел и смотрел перед собой.

– Два дня, – сказал он. Голос был надломленный, тихий. – У меня был отец два дня. С того звонка в такси.

Я взяла его за руку. Его пальцы были ледяные.

– Он открыл мамино письмо, – сказал Адам. С каждым словом голос ломался сильнее. – Он заказал ей новую табличку. Он стоял у твоего окна. Он хотел посмотреть на меня при всех. Один раз. Только один раз.

Миссис Окафор молча налила чай в крышку термоса. Вложила ему в руку. Он не стал пить. Просто держал, и чай дрожал у него в пальцах.

– Я его ненавидел, – сказал Адам. И тут голос сорвался совсем. – Двадцать один год. А он ушёл, и я даже не успел его возненавидеть как следует.

Я обняла его. Осторожно, обходя рёбра. Он уткнулся мне в шею, и его плечи затряслись. Миссис Окафор отвернулась к окну и сделала вид, что смотрит на снег.

* * *

Мы приехали домой в четыре.

Адам лёг. Отвернулся к стене, на здоровый бок. Не спал. Просто лежал. Я легла рядом, прижалась к его спине, обняла поверх повязки. Он нашёл мою руку и держал, не отпуская. Так крепко, будто я тоже могла исчезнуть.

– Не уходи, – сказал он в стену. Еле слышно.

– Я здесь, – сказала я. – Я никуда не уйду.

Телефон зажужжал в шесть вечера. Мой.

Незнакомый номер. Не тот, с которого писала Сабина. Новый.

Сообщение. Фотография.

У меня похолодели руки. Я открыла.

Окно. Моё окно. Снято снизу, с другой стороны улицы, через длинный объектив. Ночь. В окне – двое. Девушка в мужской рубашке. Парень за её спиной, обнимает её одной рукой, подбородок у неё на макушке. Снег за стеклом – мелкий, косой.

Мы. Вчера.

Меня передёрнуло. Она стояла там. Внизу. В темноте. Смотрела на нас, пока мы стояли у окна и он говорил мне, что ему страшно.

В углу снимка – дата и время, вшитые в кадр, как на старых камерах. Оранжевые цифры.

14.01 23:41

Под фотографией – одна строчка.

Неизвестный номер: *Когда он умирал, я стояла под вашими окнами. Теперь у нас троих одно алиби. Полиция уже получила копию. Не благодарите. С.*

Я смотрела на экран. Меня трясло.

Адам за моей спиной не спал. Он почувствовал, как я замерла.

– Что там? – спросил он. Глухо.

Я молча повернула к нему телефон.

Он долго смотрел. Потом медленно сел. Взял телефон. Увеличил. Лицо у него стало жёстким, чужим.

– Она была в Пилсене, – сказал он. – В двадцать три сорок одну. Когда его убили на Мичиган-авеню.

– Да.

– Значит, это не она. – В голосе было недоверие. И злость. И что-то похожее на отчаяние.

– Значит, она так говорит, – сказала я. Тихо, но твёрдо.

Я забрала у него телефон. Смотрела на снимок. На окно. На нас в окне. На розовый от неона снег.

Что-то в этом кадре было не так.

Я не знала что. Я смотрела и смотрела, и чувствовала это так, как чувствуешь на отпечатке пылинку, которую не видно глазом, но которая всё портит. Что-то, что я уже видела. Что-то, что должно было быть по-другому.

Я ещё не понимала, что.

Но я знала, что пойму.

Глава 18. Адам

Наследство

В субботу утром моё лицо было на первой полосе «Сан-Таймс».

Не то, из «Трибьюн», где Майя в синем платье, а я держу её лицо в ладонях. Другое. Снимок, сделанный в пятницу у участка на Харрисон-стрит: я выхожу из дверей, бледный, в мятой футболке, с пластырем на скуле. Взгляд в пустоту. Под фотографией – заголовок в три строки:

СЫН, КОТОРОГО ОН НЕ ПРИЗНАЛ. ВНЕБРАЧНЫЙ НАСЛЕДНИК ХЕЙЛА ДОПРОШЕН ПО ДЕЛУ ОБ УБИЙСТВЕ.

Майя принесла газету от киоска у станции. Положила на стол. Молча. Лицом вниз.

Я перевернул.

– Не читай, – сказала она тихо.

Я прочитал. Всё. До конца. «Источник в полиции». «Натуральный пигмент на месте преступления». «Молодой художник, известный своим вспыльчивым характером». «Публичный скандал на закрытии резиденции».

На последней строчке у меня задрожали руки. Я сложил газету пополам. Потом ещё раз. Потом ещё. Пока она не стала маленьким твёрдым квадратом.

– Вспыльчивым характером, – повторил я. – Они правы.

– Не правы. – Майя забрала у меня газету. Бросила в мусорное ведро. – Ты кинул ведро грунта, чтобы защитить меня. Ты не ударил Коваля второй раз, хотя мог. Ты не вспыльчивый, Адам. Ты просто не умеешь стоять в стороне.

Я смотрел на неё. Она стояла посреди своей маленькой кухни, со сжатыми кулаками, злая за меня. И мне стало чуть легче дышать.

* * *

Мама приехала в два.

Она не позвонила. Просто постучала, и когда Майя открыла, стояла на площадке в своём старом синем пуховике, с сумкой через плечо и с лицом, которое я видел у неё только раз в жизни. Когда мне было девять и я сломал руку, свалившись с пожарной лестницы.

– Ты видела газету, – сказал я.

– Я видела новости в пять утра, – сказала мама. – В комнате отдыха, после смены. По телевизору. – Она вошла. Сняла пуховик. Руки у неё были спокойные. Голос тоже. Только губы побелели. – Я села на первый поезд.

Она подошла ко мне. Осторожно положила ладони мне на лицо. Посмотрела в глаза. Долго. Так, как смотрела, когда я был маленьким и врал, что не болит.

– Ты как? – спросила она.

– Не знаю, мам.

– Правильный ответ, – сказала она. И обняла меня. Очень осторожно, с левой стороны.

Майя молча поставила чайник. Потом посмотрела на меня. Я кивнул. Она достала из-под кровати коричневую коробку и положила на стол.

Мама увидела коробку. И замерла.

– Он был здесь, – сказал я. – В четверг. За восемь часов до... – Я не договорил. – Он принёс это тебе. Сказал, что хотел отдать сам, но ты не захочешь его видеть.

Мама долго смотрела на коробку. Не трогала её.

– Что там? – спросила она наконец. Голос у неё стал совсем тихим.

– Открой.

Она развернула бумагу. Медленно. Как разворачивают бинт на свежей ране.

Конверт. Её почерк. Обратный адрес в Милуоки. Распечатанный.

Латунная пластинка.

Она взяла пластинку. Поднесла к свету из окна. Прочитала. Губы шевелились беззвучно.

Клэр Камерон. «Женщина у окна». Масло, холст. Чикаго, 2004.

– Она висит в Институте искусств, – сказал я. – Твоя картина. Двадцать лет. Под табличкой «неизвестный художник». Он подарил её музею, когда я родился. И каждый вторник ездил на неё смотреть.

Мама опустилась на стул. Медленно. Как будто у неё подломились колени. Пластинка лежала у неё в ладони.

– Двадцать лет, – сказала она. Не мне. Себе. – Я думала, он её выбросил.

– Эту табличку повесят в понедельник. С твоим именем.

Мама закрыла глаза. И я увидел то, чего не видел ни разу за двадцать один год. По её щеке скатилась слеза. Одна. Медленно. До подбородка.

Она не вытерла её.

– Он открыл письмо? – спросила она, не открывая глаз.

– Открыл. Сам. Спустился в архив и открыл. – Я сглотнул. – Мам. Он посмотрел на меня. Как ты просила. Внимательно. Он стоял у окна, и Майя нас сфотографировала. Вместе.

Мама открыла глаза.

– Покажите.

Майя протянула ей телефон.

Мама смотрела на фотографию долго. Двое у окна. Полметра между ними. Две одинаковые скулы.

– Он постарел, – сказала она тихо. – Я помню его другим. – Она провела пальцем по экрану. По его лицу. Потом по моему. – А ты на него похож. Я всегда знала, что будешь. Каждый раз, когда ты злился, у тебя становился его подбородок.

– Мама...

– Но руки у тебя мои. – Она посмотрела на меня. Глаза у неё были мокрые, а голос твёрдый. – Слышишь? Руки мои.

* * *

Оглашение завещания назначили на понедельник, на десять утра. В офисе Гордона Питта, на сорок втором этаже здания на Уэкер-драйв.

Мама осталась ночевать у Майи. Спала на её кровати. Мы с Майей – на полу, на одеяле, сложенном в четыре слоя. Майя всю ночь лежала, повернувшись ко мне, и держала руку у меня на груди, поверх повязки. Каждый раз, когда я вздрагивал во сне, её пальцы сжимались.

В понедельник утром мама надела то же самое серое платье, в котором ходила на мой выпускной. Майя одолжила мне свою единственную приличную рубашку. Белую. Она была мне мала в плечах, и я не мог её застегнуть на груди из-за повязки. Майя застегнула пиджак поверх и сказала, что никто не заметит.

– Я не пойду внутрь, – сказала мама в такси. – Меня не звали.

– Тебя звали, – сказал я. – Питт позвонил вчера. Ты упомянута в завещании.

Мама посмотрела на меня. Потом в окно.

– Я ничего от него не возьму, – сказала она.

– Я знаю.

* * *

Офис Питта был таким, каким я его себе представлял. Стекло, тёмное дерево, вид на реку. Длинный стол для переговоров. На столе – графин с водой и стопка папок.

Сабина уже была там.

Она сидела в торце стола, в чёрном. Чёрное платье, чёрный жакет, чёрные перчатки. Седые волосы гладко зачёсаны назад. «Лейки» на груди не было. Рядом с ней – её адвокат,

тот самый дорогой, что приезжал к Ковалю и Лангу. Лысый, в очках без оправы, с тонким кожаным портфелем.

Она увидела нас. Меня. Маму. Майю за моей спиной.

На маме её взгляд задержался. Надолго. Я увидел, как у неё в лице что-то дрогнуло. Едва-едва. Так дрожит стекло, когда мимо проезжает грузовик.

– Миссис Камерон, – сказала Сабина. Ровно.

– Мисс, – сказала мама. Так же ровно. – Мисс Камерон.

– Конечно. – Сабина чуть склонила голову. – Простите. Я столько лет слышала ваше имя, что забыла, как оно правильно звучит.

Мама не ответила. Села на дальний от неё стул. Прямо. Сложив руки на коленях.

Я сел рядом с мамой. Майя – рядом со мной. Под столом она нашла мою руку и сжала.

Питт вошёл последним. В тёмно-сером костюме. Осунувшийся, будто похудел за три дня на пять килограммов. Он сел во главе стола. Открыл папку. Посмотрел на всех нас поверх очков.

– Благодарю, что пришли, – сказал он. – Я буду краток. Мистер Хейл изменил завещание в понедельник, одиннадцатого января. За три дня до смерти. В моём присутствии и в присутствии двух свидетелей. Документ составлен по всем правилам и оспорить его будет... – он посмотрел на адвоката Сабины, – крайне затруднительно.

Адвокат Сабины не моргнул.

Питт начал читать.

* * *

Дом в Лейк-Форест – Сабине. Квартира в Нью-Йорке – Сабине. Счета, акции, коллекция вин, яхта на Мичигане – Сабине. Всё личное состояние. Около сорока миллионов.

Сабина слушала, не меняя выражения лица.

Мамина картина – возвращается автору. Клэр Камерон. Вместе с правами на неё. И сумма, равная двадцати годам «упущенной выгоды», в виде пожизненного фонда для её работы. С пометкой: *«Если она откажется – пусть деньги пойдут на стипендию её имени для студентов-живописцев из Милуоки»*.

Мама сидела неподвижно. Только пальцы, сложенные на коленях, побелели.

Компенсация мисс Майе Беннет за серию «Паузы» – в размере, оговорённом ранее, плюс официальное признание авторства. Выплата в течение тридцати дней на её личный счёт.

– Деньги поступят к середине февраля, мисс Беннет, – сказал Питт, не поднимая глаз от бумаг. – Они ваши. Распоряжайтесь ими как захотите.

Майя под столом стиснула мою руку так, что хрустнули суставы.

Потом Питт перевернул страницу. Снял очки. Посмотрел на меня.

– Контрольный пакет фонда Виктора Хейла, – сказал он медленно, – включая все активы, архив и место председателя совета, переходит к его сыну. Адаму Кристоферу Камерону.

Тишина.

Я услышал, как Сабина вдохнула. Один раз. Резко.

– С условием, – продолжил Питт. – Наследник принимает фамилию отца. Хейл. И в течение девяноста дней открывает архив фонда для независимой проверки. Полностью. Все документы с две тысячи четвёртого года.

Он поднял глаза.

– В случае отказа наследника фонд передаётся в управление совету попечителей. Председателем совета в этом случае становится старший попечитель. – Пауза. – Мистер Ричард Уитмор.

* * *

Я не помню, что было дальше. Помню, как Сабина медленно сняла перчатку. Палец за пальцем. Серебряное кольцо блеснуло на безымянном.

– Как трогательно, – сказала она. Тихо. Почти ласково. – Двадцать восемь лет я носила эту фамилию. А он отдал её мальчику, которого знал меньше двух месяцев.

– Миссис Хейл, – сказал Питт.

– Я не закончила, Гордон. – Она повернулась ко мне. – Знаете, что он сделал, Адам? Он загнал вас в угол. Как всегда. Как всех. Откажетесь – и всё отойдёт Ричарду, и архив сгорит в первую же неделю, и папка вашей матери вместе с ним. Согласитесь – и станете тем, кого ненавидели двадцать один год. – Она улыбнулась. – Он даже после смерти умеет выигрывать.

Мама повернулась к ней. Медленно.

– Нет, – сказала она.

Сабина приподняла бровь.

– Простите?

– Он не выиграл, – сказала мама. Голос у неё был тихий и очень спокойный. Таким голосом она разговаривает с пьяными в приёмном отделении в три часа ночи. – Он проиграл. Двадцать лет назад. Когда вернул моё письмо, не открыв. Всё, что он сделал на прошлой неделе, – это попытка доиграть партию, которую уже нельзя выиграть. – Она посмотрела на Сабину. – Я жалею его. И вас тоже, миссис Хейл. Вы прожили с ним двадцать восемь лет. А он каждый вторник уезжал смотреть на мою картину.

Сабина побелела. По-настоящему. До синевы на губах.

Она встала. Её адвокат вскочил следом.

– Мы будем оспаривать, – сказал адвокат.

– Оспаривайте, – сказал Питт. Устало.

Сабина пошла к двери. У порога остановилась. Обернулась. Посмотрела на меня. Потом – на Майю.

– Поздравляю, мистер Хейл, – сказала она. – Добро пожаловать в семью.

Дверь закрылась.

* * *

Питт подождал, пока мы останемся вдвоём. Мама и Майя вышли в коридор. Майя на пороге обернулась, посмотрела на меня. Я кивнул: всё нормально.

Питт достал из папки конверт. Белый. Запечатанный. На нём – одно слово, тем же почерком, что на пометке «Отклонить. Не регистрировать».

Адаму.

– Он оставил это у меня в понедельник, – сказал Питт. – Вместе с завещанием. Велел отдать, если... – Он замолчал. – Если.

Я взял конверт. Руки дрожали. Я распечатал его не сразу. Сидел и смотрел на своё имя, написанное его рукой.

Потом открыл.

Один лист. Несколько строк.

Адам.

Ты сказал Питту, что тебе не нужна моя фамилия. Я знаю. Поэтому я тебе её и оставляю. Только тот, кому она не нужна, сможет её отмыть.

Я не прошу прощения. Я его не заслужил. Я прошу только одно: открой архив. Верни людям то, что я у них взял. Начни с матери.

Ты похож на меня лицом. Но руки у тебя её. Пусть руки решают.

В. Х.

Я прочитал. Потом ещё раз.

Руки у тебя её.

Он сказал то же самое, что мама. Почти слово в слово. Они не разговаривали двадцать лет. И сказали одно и то же.

Я сложил листок. Положил во внутренний карман пиджака. Туда, где под рубашкой была повязка.

– Мне нужно поговорить с матерью, – сказал я.

– Конечно, – сказал Питт. – У вас девяносто дней. Но... – Он снял очки. Потёр переносицу. – Мистер Камерон. Ричард Уитмор узнает о завещании сегодня. Если вы будете думать девяносто дней, архив может не дожить до вашего решения.

* * *

Мама ждала у лифтов. Майя стояла рядом с ней. Они о чём-то говорили вполголоса и замолчали, когда я подошёл.

Я протянул маме письмо.

Она прочитала. Долго. Потом сложила и вернула мне.

– Руки у тебя мои, – сказала она. – Он тоже это заметил.

– Мам. – Голос у меня сорвался. – Если я соглашусь... Я стану Хейлом. Его фамилия. Не твоя.

Мама долго смотрела на меня.

– Адам, – сказала она. – Камерон – это я. Двадцать лет в ночную смену. Слайды под кроватью. Кисти в коробке на антресоли. Это я. – Она положила ладонь мне на грудь. На письмо в кармане. – А ты – это ты. Ты будешь собой с любой фамилией. Хоть Хейл, хоть Смит, хоть Иванов.

– Ты не обидишься?

– Обижусь, если ты отдашь его архив Ричарду Уитмору, – сказала мама. Жёстко. – Там лежит моя папка, Адам. И сотня чужих. Люди, которые двадцать лет думали, что они бездарности. Как я думала.

Она помолчала. Потом добавила, тише:

– Бери. И открой этот проклятый архив. А потом делай с этой фамилией что хочешь. Хоть повесь её на стену и кидай в неё дротики.

Майя засмеялась. Сдавленно, сквозь слёзы.

Я посмотрел на неё.

– А ты?

– Что я?

– Ты будешь встречаться с Хейлом?

Майя перестала смеяться. Посмотрела мне в глаза. Серьёзно.

– Я буду встречаться с тобой, – сказала она. – А фамилию можешь хоть каждую неделю менять.

* * *

Я подписал в тот же день. В четыре часа. В кабинете Питта.

Он положил передо мной бумаги. Показал, где подписать. Я взял ручку. Тяжёлую, серебряную, наверное, отцовскую.

И долго не мог написать.

Адам Кристофер Хейл.

Рука не слушалась. Буквы выходили кривые, чужие. Как будто я подделывал чью-то подпись.

Майя стояла за моей спиной. Положила ладонь мне на плечо. Не сказала ни слова.

Я дописал.

Питт забрал бумаги. Посмотрел на подпись. Кивнул.

– Мистер Хейл, – сказал он. Впервые. И впервые за всё время, что я его знал, улыбнулся по-настоящему. Устало и грустно. – Ключи от архива. И от его кабинета. Кабинет пока опечатан полицией. Архив – нет.

Он положил на стол тяжёлую связку ключей.

Я смотрел на неё. Потом взял.

Ключи были холодные. И очень тяжёлые.

* * *

В архив мы поехали той же ночью.

Майя сказала, что я сумасшедший. Что у меня сломано ребро и восемнадцать швов. Что можно подождать до утра.

– Питт сказал, архив может не дожить до моего решения, – сказал я. – Решение я принял. Значит, Уитмор знает. Я не хочу ждать до утра.

Она посмотрела на меня. Долго. Потом надела куртку.

– Я с тобой, – сказала она.

– Майя...

– Правило третье, – сказала она. – Я сама решаю.

* * *

Подвал фонда. Минус второй этаж. Я спускался сюда каждый день с мая по сентябрь. Знал здесь каждый поворот, каждую мигающую лампу. Знал, что третья ступенька на служебной лестнице выщерблена. Знал, где кулер с водой, который никто не чинил.

Охранник на входе – молодой, сонный – увидел меня и вскочил.

– Мистер... Хейл? – Он посмотрел на планшет. – Мне сказали, что вы теперь... Я... Простите, сэр.

Сэр.

Майя рядом со мной фыркнула. Я вспомнил, как в ноябре в галерее она назвала меня так. С ненавистью. Посмотрел на неё. Она смотрела на меня, и в глазах у неё было то же самое воспоминание.

– Никто не приходил? – спросил я охранника.

– Нет, сэр. Пусто с шести вечера.

Мы спустились.

Архив был длинный, низкий, с бетонными колоннами. Стеллажи до потолка. Коробки, коробки, коробки. На каждой – год. Тусклые лампы дневного света. Запах пыли и старой бумаги.

Я прошёл между рядами к дальней стене. Туда, где стояли коробки 2004 года. Где в мае я впервые нашёл мамину папку.

Коробка была на месте.

Я вытащил её. Поставил на пол. Открыл.

Папка Клэр Камерон. Пустая. Письмо отец забрал. Фотографии три на четыре – тоже. Осталась только анкета с размашистой пометкой красной ручкой. *Отклонить. Не регистрировать. В. Х.*

Майя присела рядом.

– Мы заберём её домой, – сказала она тихо. – Всю коробку.

– Да.

Я поднял коробку. Рёбра отозвались болью, и я стиснул зубы.

– Дай мне, – сказала Майя.

– Я сам.

– Адам.

Я отдал ей коробку.

И тогда я почувствовал запах.

Не пыль. Не старая бумага.

Бензин.

* * *

– Ты чувствуешь? – спросил я.

Майя втянула воздух. Глаза у неё расширились.

Мы оба посмотрели в сторону дальнего конца архива. Туда, где за поворотом стеллажей был служебный выход – железная дверь к погрузочной рампе.

Оттуда тянулся дым.

Тонкий. Серый. Он полз над полом, между стеллажами, к нам.

Потом вспыхнуло.

Не громко. С мягким, глухим хлопком, как будто кто-то распахнул окно. В конце прохода, за поворотом, заплясал оранжевый свет. Затрещала бумага.

– Пожар, – сказала Майя. Голос у неё был спокойный. Очень спокойный. Слишком.

Я схватил её за руку.

– Коробка 2004-го у тебя?

– Да.

– Беги к лестнице. Сейчас.

– А ты?

Я посмотрел на стеллажи. На коробки. Две тысячи пятый. Шестой. Седьмой. Двадцать лет. Сотни папок. Сотни людей, которым кто-то когда-то написал красной ручкой «Отклонить».

Огонь полз по дальнему стеллажу. Коробки две тысячи двадцатого, двадцать первого, двадцать второго вспыхивали одна за другой, как спички.

– Огнетушитель, – сказал я. – У кулера. Я знаю, где.

– Адам, у тебя сломано ребро!

– Беги!

Она не побежала. Конечно, не побежала.

Она сунула коробку под стеллаж у самой лестницы. Метнулась к стене. Сорвала со щита красный баллон. Я видел, как она дёргает чеку, как у неё не получается, как она дёргает ещё раз, зубами.

Чека вылетела.

Я рванулся к пожарной сигнализации на колонне. Ударил локтем по стеклу. Стекло лопнуло. Я вдавил кнопку.

Завыла сирена. Ещё одна сирена за неделю.

С потолка хлынула вода.

Не сразу. Сначала зашипело, потом закапало, потом обрушилось – ледяное, со ржавчиной, из десятков форсунок. Вода била по коробкам, по полу, по нам. Майя, мокрая насквозь, бежала с огнетушителем к горящему стеллажу. Я бежал за ней.

Она направила раструб на огонь. Белая пена ударила в пламя. Огонь зашипел, отпрянул, вспыхнул снова в соседней коробке.

– Левее! – крикнул я. – Там, где бензин! У основания!

Она повела раструбом ниже. К полу. Туда, где по бетону растекалась тёмная лужа с радужными разводами. Пена накрыла её. Огонь у основания стеллажа захлебнулся.

Сверху лила вода. Пена шипела. Дым ел глаза.

А потом я увидел его.

У служебной двери. В проёме, в клубах дыма. Человек в тёмной куртке и бейсболке. С пустой канистрой в руке.

Он увидел, что я его вижу.

И побежал.

* * *

Я не мог бежать. Я знал это. Сломанное ребро, восемнадцать швов, врач сказал «никаких лестниц».

Я побежал.

Через дым, через воду, по мокрому скользкому бетону. Служебная дверь, погрузочная рампа, ледяной ветер в лицо. Он был впереди, в десяти метрах, бежал к грузовику с выключенными фарами у выезда.

Каждый вдох резал бок, как нож. Перед глазами плыли белые пятна.

Он споткнулся на обледеневшем бордюре. На секунду.

Мне хватило.

Я не стал бить. Не мог. Я просто бросился ему в ноги, всем весом, и мы оба рухнули на асфальт. Он – лицом вниз. Я – сверху, на его спину. Рёбра взорвались болью такой силы, что на секунду я ослеп.

Канистра покатилась по асфальту. Он извивался подо мной, пытался сбросить. Сильный. Тяжёлый. Я держал. Не знаю, чем держал. Наверное, злостью.

– Кто тебя прислал? – прохрипел я.

– Отвали!

– Кто?!

Он дёрнулся. Почти вывернулся. Локтем ударил меня в бок. В тот самый.

Я закричал.

И услышал шаги. Быстрые. Лёгкие.

Майя пролетела мимо меня, с пустым огнетушителем в руках. Мокрая, без шапки, с прилипшими ко лбу волосами. Он почти поднялся на колени.

Она ударила его огнетушителем. По плечу. Плашмя. Со всей силы.

Он рухнул обратно на асфальт.

– Лежать, – сказала Майя. Голос у неё дрожал, но огнетушитель она держала над ним, занесённым. – Лежать, или следующий будет по голове. Я уже била людей по голове. Мне не впервой.

Он лежал.

* * *

Полиция приехала через восемь минут. Пожарные – через шесть. Гарсиа – через двадцать.

Она вышла из машины, посмотрела на меня – я сидел на бордюре у рампы, мокрый, синий от холода, держась за бок. На Майю – она сидела рядом, тоже мокрая, в одной кофте, и всё ещё держала пустой огнетушитель на коленях. На человека в наручниках, которого сажали в патрульную машину.

– Вы двое, – сказала Гарсиа, – меня в гроб загоните.

– Он поджёг архив, – сказала Майя. – С две тысячи двадцатого года. Мы потушили. Почти всё.

– Почти?

– Три стеллажа, – сказал я. Каждое слово давалось с трудом. – Двадцатый, двадцать первый, двадцать второй. Последние три года.

Гарсиа посмотрела на меня внимательно.

– Почему именно они?

– Потому что там папки с пометкой «Передать Р. У.», – сказал я. – Свежие. Те, за которые Ричарда Уитмора ещё можно посадить. Остальные – за сроком давности.

Гарсиа долго молчала.

– У вашего поджигателя, – сказала она наконец, – в кармане пропуск. Знаете чей?

Я закрыл глаза.

– Уитмор Холдингс.

– Уитмор Холдингс, – кивнула Гарсиа. – Служба безопасности. Как у Коваля. – Она помолчала. – Слишком просто, вам не кажется? Второй человек подряд с тем же пропуском в кармане. Как будто кто-то очень хочет, чтобы я пришла к Ричарду Уитмору.

– А вы придёте?

– Приду, – сказала Гарсиа. – Сегодня же. Только сначала проверю, где он был в четверг вечером. – Она достала телефон, что-то пролистала. Подняла на меня глаза. – Хотя я уже знаю. Благотворительный ужин в отеле «Драйк». С восьми до часу ночи. Триста гостей. Мэр. Губернатор. Он произносил тост в половине двенадцатого. Есть видео.

Я смотрел на неё.

– Значит, не он.

– Значит, не он убил вашего отца, – сказала Гарсиа. – Пожар – может быть, и он. Но не убийство. – Она убрала телефон. – А у миссис Хейл, как вы знаете, тоже алиби. Судмедэксперт уточнил время смерти: между двадцатью тремя тридцатью пятью и без десяти полночь. А в двадцать три сорок одну миссис Хейл, судя по снимку, стояла под вашими окнами. В восьми километрах. Эксперты проверили её камеру. Время в ней выставлено правильно.

Майя рядом со мной вздрогнула.

– Камеру, – повторила она тихо. – Они проверили камеру. А снимок?

Гарсиа посмотрела на неё.

– Что вы имеете в виду?

Майя не ответила. Она смотрела куда-то в темноту, на огни пожарных машин, и я видел, как у неё в голове что-то медленно поворачивается. Как у неё бывает, когда она смотрит на негатив и видит то, чего не видят другие.

– Ничего, – сказала она наконец. – Пока ничего.

* * *

Домой мы вернулись в три часа ночи.

Мама спала. Она оставила записку на столе: *Еда в холодильнике. Таблетки на тумбочке. Если не вернётесь к утру – звоню в полицию. К.*

Майя прочитала записку и улыбнулась. Устало.

Я стоял посреди кухни, мокрый, в рубашке, которая была мне мала, и дрожал. От холода. От боли. От того, что внутри всё ещё горел архив.

Майя посмотрела на меня. Молча взяла за руку. Повела в ванную. Закрыла дверь, чтобы не разбудить маму.

Она стянула с меня мокрый пиджак. Мокрую рубашку. Осторожно, через голову, придерживая рукав над бинтом. Проверила повязку на груди. Она промокла по краям, но держалась. Проверила швы на руке. Целы.

Потом взяла полотенце. Начала вытирать. Плечи. Шею. Волосы.

– Ты бросился на него, – сказала она тихо. Не глядя мне в глаза. – С переломанным ребром. Прямо на асфальт.

– Он убегал.

– Ты бросился на него, – повторила она. Голос дрогнул. – Я видела, как ты упал. Я думала, ты больше не встанешь.

Я поймал её запястье. Полотенце упало на пол.

– Ты ударила его огнетушителем, – сказал я.

– Да.

– «Я уже била людей по голове. Мне не впервой».

Она покраснела. До ушей.

– Я не знаю, откуда это взялось.

– Я знаю, – сказал я. – Это ты. Настоящая.

Я притянул её к себе. Здоровой рукой. Она была мокрая, холодная, вся в саже и пене. Я поцеловал её. В висок. В скулу. В губы. Медленно.

Она ответила. Сначала осторожно. Потом сильнее. Потом её пальцы вцепились мне в волосы, и она прижалась ко мне всем телом, забыв про рёбра. Я зашипел от боли.

Она отпрянула.

– Прости...

– Не извиняйся, – сказал я хрипло. – Сними это. Всё.

Она смотрела на меня.

– Адам. Врач...

– Врач сказал, что мне нельзя двигаться. – Я опустился на пол. Медленно, держась за раковину. Сел на сложенное полотенце, спиной к двери. – Я и не буду. Я буду сидеть. А ты будешь делать то, что я скажу.

У неё перехватило дыхание. Я видел, как дёрнулось её горло.

– Раздевайся, – сказал я. – Медленно. Я хочу смотреть.

* * *

Она раздевалась медленно.

Мокрая кофта. Мокрая майка под ней. Джинсы, тяжёлые от воды, она стягивала долго, прыгая на одной ноге, и чуть не упала, и засмеялась тихо, и я засмеялся тоже. Потом бельё.

Она стояла передо мной голая. Мокрая. С волосами, прилипшими к плечам. С синяком на бедре от падения на рампе, которого ещё утром не было. Дрожала.

– Повернись, – сказал я.

Она повернулась ко мне спиной.

– Теперь обопрись о ванну. И нагнись.

Она замерла. Обернулась через плечо. Щёки у неё вспыхнули.

– Адам...

– Нагнись, Беннет.

Она медленно наклонилась вперёд. Упёрлась ладонями в край ванны. Прогнула спину. Её бёдра оказались прямо передо мной, на уровне моего лица. Мокрая кожа блестела в жёлтом свете лампы. Я видел её всю. Каждый сантиметр.

– Шире, – сказал я тихо.

Она переступила, расставила ноги шире. Я услышал, как она судорожно вдохнула.

Я положил здоровую ладонь ей на бедро. Провёл вверх. По ягодице. Медленно. Она вздрогнула и вцепилась пальцами в край ванны.

И я провёл по ней языком. Сзади. Снизу вверх. Медленно, плоско, через всё.

Она ахнула и тут же зажала себе рот ладонью.

– Твоя мама за стеной... – выдохнула она сквозь пальцы.

– Тогда тихо, – сказал я ей в кожу. – Очень тихо, Беннет.

Я раздвинул её пальцами. Языком нашёл клитор. Обвёл. Медленно. Потом быстрее. Она прогнулась сильнее, прижимаясь ко мне. Её колени дрожали.

Я вошёл в неё двумя пальцами. Медленно. Глубоко. Согнул их внутри.

Она задохнулась. Её лоб упал на сгиб локтя, на край ванны.

Я не останавливался. Пальцы внутри, язык на клиторе. В одном ритме. Медленно, потом быстрее. Она начала раскачиваться мне навстречу. Сначала едва заметно. Потом сильнее. Насаживалась на мои пальцы, тёрлась о мой рот, и я чувствовал, какая она мокрая, горячая, вся.

– Блять, – выдохнул я ей в кожу. – Какая ты вкусная. Я бы так всю ночь.

Она застонала в собственный локоть. Глухо, отчаянно.

И кончила. Беззвучно, почти беззвучно. Её спина выгнулась, пальцы на краю ванны побелели, колени подогнулись. Она сжималась вокруг моих пальцев – раз, другой, третий, долго, – и я держал её за бедро, не давая упасть, и не останавливал язык, пока она не потянулась назад и не оттолкнула мою голову слабой рукой.

Потом она опустилась на колени. Прямо на мокрый кафель. Между моих ног. Уткнулась лбом мне в живот. Тяжело дышала.

– Ты обещал не двигаться, – прошептала она.

– Я не двигался. Ты сама нагнулась.

– Это считается.

– Не считается.

Она подняла голову. Посмотрела на меня. Потом – ниже. На мои мокрые джинсы, натянутые до боли.

И медленно расстегнула ремень.

– Майя...

– Ты сидишь, – сказала она тихо. – И не двигаешься. И тоже очень тихо.

* * *

Мы уснули в половине пятого. На полу, на одеяле, сложенном в четыре слоя. Мама спала на кровати и тихо посапывала.

Я лежал на спине. Майя лежала рядом, прижавшись щекой к моему плечу. Её дыхание было ровным.

Я не спал.

Я думал о письме в кармане мокрого пиджака. *Пусть руки решают.* О связке ключей на кухонном столе. О трёх сгоревших стеллажах. О Ричарде Уитморе, который в половине двенадцатого произносил тост перед мэром и губернатором.

И о Сабине. Которая в двадцать три сорок одну стояла под нашими окнами.

Если верить фотографии.

Телефон на полу рядом со мной коротко зажужжал. Половина пятого утра.

Сообщение. От Питта.

Мистер Хейл. Простите за время. Я только что прослушал автоответчик в офисе. Его не проверяли с четверга. Там сообщение от вашего отца. От четверга. Двадцать два тридцать шесть. Я переслал вам аудио. Послушайте. И позвоните мне. В любое время.

Под сообщением – аудиофайл. Сорок одна секунда.

Я долго смотрел на него.

Потом осторожно, чтобы не разбудить Майю, взял телефон. Поднёс к уху. Нажал.

Шорох. Щелчок. Тишина. Потом – голос. Низкий, хрипловатый, усталый. Голос, который я слышал в такси неделю назад. Голос, который я больше никогда не услышу вживую.

«Гордон. Это Виктор. Половина одиннадцатого. Только что звонила Сабина. Хочет поговорить. Говорит, последний раз, по-человечески. Я сказал ей приехать в фонд к одиннадцати. – Пауза. Тяжёлое дыхание. – Если завтра я не выйду к журналистам... ты знаешь, что делать. Конверт у тебя. И, Гордон... скажи мальчику...»

Пауза. Долгая. Я слышал, как он дышит. Как будто подбирает слова.

«...скажи ему, что я посмотрел».

Щелчок. Тишина.

Я лежал в темноте. Телефон у уха. Слёзы стекали по вискам, в волосы, на одеяло.

Сабина приехала в фонд к одиннадцати.

Отец умер между половиной двенадцатого и полуночью.

А в двадцать три сорок одну, если верить фотографии, она стояла под нашими окнами в Пилсене. В восьми километрах.

Кто-то врал.

Отец – больше не мог.

Глава 19. Майя

Автопортрет

Я проснулась в шесть утра от того, что Адам не спал.

Он лежал на спине, на одеяле, сложенном в четыре слоя, с телефоном на груди, и смотрел в потолок. Челюсть сжата. Взгляд тяжёлый, неподвижный. Таким я видела его только однажды – в переулке, когда он стоял над человеком в балаклаве, и остановил его только мой крик. Клэр спала на кровати, отвернувшись к стене.

Я ничего не спросила. Просто положила ладонь ему на грудь.

Он молча протянул мне телефон. Один наушник. Второй оставил себе.

Сорок одна секунда.

«...скажи ему, что я посмотрел».

Я сняла наушник. Посмотрела на Адама. Он смотрел на меня.

– Сабина приехала в фонд к одиннадцати, – сказал он шёпотом. – Отец сам её позвал. А на снимке она стоит под нашими окнами в двадцать три сорок одну. Кто-то врёт, Майя. Но эксперты говорят, что камера в порядке.

– Камера в порядке, – повторила я.

Я взяла свой телефон. Открыла ту фотографию. Наше окно. Мы в окне. Снег. Оранжевые цифры в углу.

14.01 23:41

Я смотрела на неё уже, наверное, в сотый раз. С пятницы. Каждую ночь. Что-то было не так, и я не могла понять что. Как когда смотришь на отпечаток и чувствуешь, что баланс белого сбит, но не видишь, в какую сторону.

Я увеличила кадр. Окно. Я в его рубашке. Он за моей спиной. Снег за стеклом. Розовый.

Розовый.

Я замерла.

– Адам, – сказала я очень тихо. – Почему снег розовый?

Он нахмурился. Взял телефон. Посмотрел.

– Свет, – сказал он. – Фонарь.

– Фонари на нашей улице жёлтые. Натриевые. Снег от них жёлтый, грязный. – Я уже не шептала. Сердце стучало в горле. – А розовым он бывает только от одного света в квартале. От красного неона.

Я увеличила нижний край кадра. Там, под нашим окном, у самой рамки, расплывалось пятно. Красное, смазанное. Буквы не читались, только свечение. Но я знала эти буквы. Я видела их каждый вечер последние полгода.

ОТКРЫТО.

– Вывеска прачечной, – сказала я. – Миссис Окафор выключает её в десять. Ровно в десять, Адам. Каждый вечер. Двадцать лет.

Адам смотрел на меня. Медленно сел.

– Значит...

– Значит, этот снимок сделан до десяти. – Я сглотнула. – Мы стояли у окна в девять. Помнишь? Ты сказал, что тебе страшно. А в одиннадцать сорок мы уже лежали. Миссис Окафор сама слышала, как скрипела кровать.

На кровати зашевелилась Клэр. Повернулась. Открыла глаза. Посмотрела на нас – двоих, сидящих на полу в шесть утра с телефоном.

– Что случилось? – спросила она хрипло.

– Мам, – сказал Адам. Голос у него дрожал. – Майя нашла.

* * *

Миссис Окафор открыла прачечную в семь, как всегда. Я спустилась к ней в пижаме и куртке.

Она стояла у стойки, считала мелочь в кассе. Подняла глаза.

– Девочка. Что опять?

– Миссис Окафор. В тот четверг. Вы выключили вывеску в десять?

Она посмотрела на меня поверх очков. Как на дурочку.

– Я выключаю её в десять двадцать лет, – сказала она. – В тот четверг я выключила её ещё раньше. Без пяти. Потому что в десять начиналась моя теленовелла, а там последняя серия сезона. Я не собиралась пропускать финал из-за какой-то вывески.

– Вы уверены?

– Девочка. – Она сняла очки. – Изабелла наконец сказала Рикардо, что ребёнок не его. Я ждала этого четыре месяца. Я уверена.

Я засмеялась. Нервно, почти истерично. И обняла её через стойку.

Миссис Окафор стояла неподвижно, с очками в одной руке и мелочью в другой.

– Ты странная сегодня, – сказала она мне в волосы.

– Я знаю.

* * *

Потом я сделала ещё одно. Сама. Без Адама, пока он звонил Гарсиа.

Открыла на ноутбуке архив погоды. Национальная метеослужба, станция в аэропорту Мидуэй, ближайшая к Пилсену. Четверг, четырнадцатое января. Почасовые данные.

21:00 – слабый снег. 22:00 – слабый снег. 22:53 – снег прекратился. 23:53 – без осадков.

После без семи одиннадцать над Пилсеном не упало ни одной снежинки.

А на снимке Сабины, в двадцать три сорок одну, за нашим окном шёл снег.

Я долго смотрела на экран. Потом закрыла ноутбук. Руки не дрожали.

Она снимала нас в девять. Потом поставила на камере другое время. Или отсканировала плёнку и впечатала цифры. Не знаю как. Знаю, что она это сделала. А к одиннадцати поехала в фонд. К человеку, который сам открыл ей дверь.

Я вспомнила её голос в музее. *Последний кадр всегда самый честный.*

Она ошиблась. Её последний кадр соврал. Но снег и неон не умеют врать.

* * *

Гарсиа приехала в одиннадцать. Без формы, в своём вечном пуховике. Села на мой единственный стул, тот самый, на котором неделю назад сидел Хейл.

Я показала ей всё. Снимок. Розовый снег. Пятно неона у нижнего края. Миссис Окафор, которая поднялась к нам наверх и повторила всё про Изабеллу и Рикардо, а Гарсиа записала это в блокнот с совершенно серьёзным лицом. Архив погоды. Голосовое сообщение Хейла.

Гарсиа слушала долго. Не перебивала. Когда я закончила, она откинулась на спинку стула и посмотрела на меня. Долго.

– Мисс Беннет, – сказала она. – У меня в отделе двадцать экспертов. Они три дня смотрели на эту фотографию. Проверяли метаданные. Проверяли камеру. Проверяли часы. – Пауза. – Никто из них не спросил, почему снег розовый.

– Они не фотографы, – сказала я.

– Нет, – согласилась Гарсиа. – Не фотографы.

Она встала. Застегнула пуховик.

– Этого хватит на ордер, – сказала она. – На её дом. На её машину. На её камеру. – Она посмотрела на Адама. – Но не на арест. Её адвокат скажет, что она ошиблась со временем. Что сняла вас в девять, а потом перепутала. Что у неё всё равно не было причины убивать мужа. Нужно что-то большее. Нужна плёнка.

– Плёнка, – повторила я.

– «Лейка», – сказал Адам. Медленно. – Она никогда с ней не расстаётся. Даже на оглашении завещания... – Он нахмурился. – Нет. На оглашении её не было. Впервые за всё время.

Мы посмотрели друг на друга.

– Она её где-то оставила, – сказала я. – Или спрятала.

– Или там плёнка, которую она не хочет никому показывать, – сказал Адам.

Гарсиа долго смотрела на нас обоих.

– Похороны в четверг, – сказала она наконец. – Кладбище Грейсленд. Она будет там. Вдова в первом ряду. – Пауза. – Ордер я получу к среде. В четверг утром мы войдём в её дом. А на кладбище за ней присмотрят мои люди. Вы двое... – Она подняла палец. – Вы двое ничего не делаете. Ничего. Вы идёте на похороны, стоите, скорбите и молчите. Это понятно?

– Понятно, – сказал Адам.

– Мисс Беннет?

– Понятно, – сказала я.

Гарсиа посмотрела на меня. Долго.

– Почему мне кажется, что вы врёте?

– Правило первое, – сказала я. – Я никогда не вру.

– Хорошо, – сказала Гарсиа. – Тогда пообещайте.

Я молчала.

Гарсиа вздохнула. Посмотрела на Адама.

– Она у вас всегда такая?

– Всегда, – сказал Адам.

В его голосе было что-то, от чего у меня потеплело в груди. Он притянул меня к себе и обнял. Прямо при Гарсиа. Крепко. И коснулся губами моего виска.

Гарсиа отвела глаза и сделала вид, что очень занята своим блокнотом.

* * *

Вечером мне написал папа.

Я сидела на подоконнике, смотрела, как миссис Окафор ровно в десять выключает свою вывеску. Красные буквы погасли. Снег за окном сразу стал жёлтым, грязным, обычным.

Телефон зажужжал.

Папа: *Майя. Видел новости. Ты в порядке?*

Я долго смотрела на сообщение. Он никогда мне не писал. За восемнадцать лет – ни разу. Только мама. Только «приезжай в воскресенье, нам нужно поговорить».

Майя: *Да. Почти.*

Три точки. Пропали. Снова появились. Он долго печатал.

Папа: *Если что-то нужно – пиши. Что угодно. Я теперь всегда отвечаю.*

Я прижала телефон к груди. Закрыла глаза. В горле встал ком, и я не сразу смогла вдохнуть.

– Кто? – спросил Адам с кровати. Тихо. Он уже приподнялся на локте и смотрел на меня.

– Папа, – сказала я. Голос сорвался. – Он написал. Сам. Первый раз в жизни.

Адам встал. Подошёл к окну. Сел рядом со мной на подоконник, хотя там едва хватало места для одной. Обнял меня и притянул к себе.

– Что он написал?

Я протянула ему телефон. Он прочитал. Долго молчал.

– «Я теперь всегда отвечаю», – повторил он вслух. И поцеловал меня в макушку. – Видишь? Кто-то всё-таки вышел из-за двери.

Я уткнулась ему в плечо. И впервые за весь этот страшный день заплакала. Не от боли. От того, что стало тепло.

* * *

В ночь перед похоронами Адам не спал.

Клэр уехала в Милуоки, у неё была смена. Мы остались одни. Он лежал на моей кровати, на спине, смотрел в потолок. Я лежала рядом. Слушала, как он дышит. Ровно, глубоко. В понедельник врач снял ему тугую повязку и сказал, что ребро почти срослось, а швы на руке можно снимать.

– Я не знаю, что говорить, – сказал он в темноту. – Питт сказал, что я должен сказать что-то. Как сын. Я не знаю, что говорят на похоронах отца, которого знал два дня.

– Правду, – сказала я.

– Какую?

– Ту, которую он хотел сказать сам. В пятницу. Но не успел.

Адам долго молчал. Потом повернул голову. Посмотрел на меня. В темноте его глаза были почти чёрными.

– Иди сюда, – сказал он тихо.

– Я здесь.

Он не ответил. Перевернулся. Одним движением, легко, будто не было никакого перелома, оказался надо мной и прижал мои запястья к подушке над головой.

– Адам... ребро...

– Срослось, – сказал он. – Врач сказал в понедельник. Ты сама слышала.

– Он сказал «почти».

– Мне хватит «почти».

Он поцеловал меня. Жёстко. Глубоко. Прижал всем телом к кровати, и я почувствовала, какой он твёрдый, горячий, у моего бедра.

– Мне нужно чувствовать тебя, – сказал он мне в губы. – Всю. Сегодня. Перед завтра.

Он оторвался от моих губ. Поцеловал в подбородок. Потом ниже. В шею. Под ухом, там, где у меня всегда сбивается дыхание. Медленно. Горячо. Прикусил кожу зубами, не больно, но так, что я выгнулась под ним.

– Адам...

– Тихо.

Он целовал мою шею. Медленно спускался вниз. К ключицам. Его губы оставляли влажные следы, и от каждого прикосновения у меня по коже бежали мурашки.

Он стянул с меня футболку. Одной рукой, не отпуская моих запястий другой. Отбросил на пол.

И посмотрел на меня. Долго. На мою грудь в тусклом свете из окна.

– Красивая, – сказал он тихо. Хрипло. – Господи, какая ты красивая.

Он наклонился к левой груди. Не стал дразнить. Сразу обхватил сосок губами и втянул в рот. Сильно. Жадно. Обвёл языком, прижал, втянул ещё глубже. Сосок затвердел у него во рту, и он прикусил его. Не кончиками зубов. По-настоящему. Так, что у меня перехватило дыхание и от груди вниз, к животу, прошёл горячий разряд.

Я вскрикнула. Дёрнулась в его руке, державшей мои запястья. Он не отпустил. Только сжал крепче.

– Не сдерживайся, – сказал он, не отрываясь от моей кожи. – Я хочу тебя слышать.

Он сосал левый сосок, пока тот не стал горячим и чувствительным до боли. Потом отпустил, медленно, с влажным звуком. И сразу перешёл к правому.

Тут он уже не сдерживался совсем. Втянул правый сосок в рот резко, глубоко. Прикусил. Потянул зубами. Отпустил и снова втянул. А левый, мокрый, ноющий после его рта, сжал пальцами. Сильно. Покатал между большим и указательным. Потянул на себя.

У меня внизу живота всё скрутило горячим узлом. Я выгибалась под ним, прижималась грудью к его рту, и сама не понимала, хочу я, чтобы он остановился или чтобы никогда не останавливался.

– Адам... – выдохнула я. – Пожалуйста...

– Что «пожалуйста»?

– Хватит мучить.

Он поднял голову. Посмотрел на меня. В темноте я видела, что он улыбается. Медленно, хищно.

– Я ещё не начинал, – сказал он.

Он стянул с меня бельё. Одним движением. Раздвинул мне колени своим.

И вошёл. Резко. Сразу. До конца.

Я закричала. Громко, в голос. Он не стал закрывать мне рот.

– Да, – выдохнул он хрипло. – Кричи. Стони. Хочу слышать, как тебе хорошо. Мне плевать, кто услышит.

Он двигался жёстко. Глубоко. Медленно выходил почти до конца и с силой входил обратно, так, что кровать ударялась о стену. Его пальцы держали мои запястья над головой, я не могла пошевелиться, могла только принимать его. Каждый толчок. Глубже. Сильнее. Я стонала, не сдерживаясь, всё громче, и от каждого моего стона он двигался ещё жёстче.

– Смотри на меня, – сказал он. – Не закрывай глаза.

Я смотрела. Его лицо было в сантиметре от моего. Тяжёлое дыхание. Капля пота на виске. Глаза – чёрные, голодные, неотрывно на мне.

– Ты моя, – сказал он. Тихо. Жёстко. – Слышишь? Что бы завтра ни было. Ты моя.

– Твоя, – выдохнула я.

Он отпустил мои запястья. Подхватил меня под колено, закинул мою ногу себе на плечо. И вошёл ещё глубже. Так глубоко, что у меня потемнело в глазах.

– Блять, Майя, – прорычал он. – Какая ты мокрая. Какая тугая. Ты меня с ума сводишь.

Его рука скользнула между нами. Большой палец нашёл клитор. Надавил. Закружил. Быстро, в ритме толчков.

Я вцепилась ему в спину ногтями. Оставляла следы. Он только сильнее вжался в меня.

– Давай, – сказал он мне в губы. – Кончай. Для меня.

И я кончила.

Сжимаясь вокруг него, волнами, раз за разом, с его именем на губах. Он не остановился. Двигался сквозь мой оргазм, жёстче, быстрее, пока сам не застонал глухо мне в шею и не кончил в меня, глубоко, вжимаясь до упора.

Потом мы долго лежали так. Он на мне, тяжёлый, горячий, уткнувшись лицом мне в волосы. Я гладила его по спине. По следам от своих ногтей.

– Ребро? – спросила я.

– Какое ребро? – сказал он.

Я засмеялась ему в плечо.

Он не засмеялся. Приподнялся на локтях и посмотрел на меня. Долго. Так, будто запоминал. В темноте я не видела его глаз, только чувствовала, как тяжело и неровно он дышит.

– Что? – прошептала я.

– Завтра я буду стоять у гроба человека, которого почти не знал, – сказал он тихо. – И говорить при всех, что он мой отец. – Челюсть у него напряглась. – А сегодня я думал только о том, что у меня есть ты. Что бы там завтра ни было, я вернусь сюда. К тебе.

Он прижался лбом к моему лбу.

– Спасибо, Беннет. Что ты есть.

У меня перехватило горло. Я не смогла ответить. Притянула его к себе и поцеловала в шею. Туда, где под губами быстро и сильно бился пульс.

* * *

Кладбище Грейсленд в четверг утром было белым.

Снег лежал на старых надгробиях, на мраморных ангелах, на голых ветках вязов. Небо было низким, серым. Вдоль дорожки к часовне стояли люди в чёрном. Много людей. Журнали-

сты за оградой, с камерами на длинных объективах. Попечители фонда. Художники, которых Хейл когда-то поддержал. И, наверное, те, кого он когда-то отклонил – пришли посмотреть, как его хоронят.

Я стояла рядом с Адамом. В своём единственном чёрном платье. Том самом, в котором была под аркой. Другого чёрного у меня не было.

Адам был в тёмном костюме. Пиджак Питт купил ему накануне, потому что моя рубашка не годилась. Пиджак сидел хорошо. Только Адам держался чуть прямее, чем обычно.

Клэр стояла по другую сторону от него. В сером пальто. Сказала, что не приедет. Приехала.

Сабина стояла впереди. В первом ряду, как и сказала Гарсиа. В чёрном пальто, с чёрной вуалью на маленькой шляпке. Седые волосы гладко убраны.

На груди у неё висела «Лейка».

Я увидела её сразу. Чёрный корпус. Потёртый кожаный ремень. Она пришла на похороны мужа с камерой.

Гарсиа стояла у ограды, у старого склепа с греческими колоннами. В чёрном пуховике. Рядом с ней – двое в штатском. Она увидела, куда я смотрю. Еле заметно кивнула: вижу.

А потом я увидела ещё кое-что.

Рядом с Сабиной, чуть позади, стоял высокий седой мужчина в дорогом пальто. Широкие плечи. Тяжёлый подбородок. Я видела его фотографии в газетах. Ричард Уитмор.

За ним – Селеста. Бледная, без макияжа, в чёрном. Она смотрела в землю.

Уитмор наклонился к Сабине. Сказал ей что-то на ухо. Его рука на секунду легла ей на локоть. Сабина не обернулась. Но я видела, как у неё напряглась спина.

Я запомнила это. Профессиональная привычка. Я всегда запоминаю, кто кого касается, когда думает, что никто не смотрит.

* * *

Питт говорил первым. Коротко. Сухо. О фонде. О тридцати годах работы. О том, что Виктор Хейл был сложным человеком.

Потом он посмотрел на Адама.

Адам вышел вперёд. Медленно. Встал у гроба. Гроб был тёмный, закрытый, с белыми лилиями на крышке.

Он долго молчал. Журналисты за оградой подняли камеры. Я слышала, как щёлкают затворы.

Потом Адам заговорил.

– Меня зовут Адам Хейл, – сказал он. Голос был ровный. Негромкий. Но в тишине кладбища его было слышно до самой ограды. – Неделю назад меня звали Адам Камерон. Я поменял фамилию, потому что так хотел мой отец. Но мама у меня та же.

Он посмотрел на Клэр. Клэр не отвела глаз.

– Я знал отца два дня, – сказал Адам. – Не двадцать один год, а два дня. С того звонка, когда он сказал мне, что открыл письмо, которое моя мать написала ему двадцать лет назад. Он двадцать лет его не открывал. Он двадцать лет приходил по вторникам смотреть на её картину в музее и молчал.

По толпе прошёл шёпот.

– В пятницу он хотел выйти к журналистам, – продолжил Адам. – Он хотел сказать три вещи. Я скажу их за него.

Он сделал вдох. Глубокий, как перед прыжком в холодную воду.

– Первое. Я его сын. Виктор Хейл был моим отцом. Не по выбору. По крови.

Пауза.

– Второе. Двадцать лет фонд моего отца брал чужие работы. Отклонял заявки. Отдавал идеи другим. Ломал людей, которые думали, что они бездарности. Моя мать была одной из них. Я открою архив. Весь. Каждую папку. Каждое имя. И верну людям то, что у них взяли.

Шёпот стал громче. Я увидела, как Уитмор за спиной Сабины медленно повернул голову.

– И третье, – сказал Адам. Голос впервые дрогнул. – Он оставил мне записку. На автоответчике. За час до смерти. Он сказал: «Скажи мальчику, что я посмотрел».

Адам повернулся к гробу. Положил ладонь на тёмное дерево.

– Я тоже посмотрел, пап, – сказал он тихо. – Поздно. Но посмотрел.

Тишина.

Даже журналисты перестали щёлкать затворами.

Клэр стояла неподвижно. По её лицу текли слёзы. Она их не вытирала.

Адам вернулся к нам. Не сказал ни слова. Встал между нами и обнял обеих сразу, одной рукой маму, другой меня. Прижал к себе крепко, так, что я уткнулась лицом в его пиджак, а Клэр – ему в плечо.

Под моей щекой тяжело и часто колотилось его сердце. С другой стороны беззвучно вздрагивала Клэр. А он стоял прямо. Челюсть сжата. Взгляд поверх наших голов, на тёмный гроб с белыми лилиями.

Он держал нас обеих так, будто опора сейчас нужна была нам, а не ему.

* * *

А потом я посмотрела на Сабину.

Она смотрела на Адама. И её рука лежала на «Лейке». Пальцы сжимали корпус так, что побелели костяшки.

Так держат не память о прошлом. Так держат улику.

И тут я поняла.

С той секунды, как я увидела «Лейку» у неё на груди, я думала, что это привычка. Сорок лет с камерой, вот и на похороны пришла с ней. Но дело было не в привычке. Она носила камеру при себе, потому что в ней было то, что нельзя оставить нигде. Ни в доме, куда придёт полиция. Ни в машине. Ни в сейфе.

Я помнила её голос. *Последний кадр всегда самый честный.*

Она говорила это не про нас. Она говорила это про себя. Двадцать лет в Сараеве и Руанде. Она всегда снимала последний кадр. Что бы ни случилось.

Значит, и в ту ночь тоже.

Сабина подняла глаза. Посмотрела на меня. Через весь ряд. Через гроб. Прямо мне в лицо.

И увидела, что я поняла.

Я не знаю, что было у меня на лице. Наверное, всё.

Она медленно отступила на шаг назад. Потом ещё на шаг. Развернулась. И пошла. Быстро. Через ряды людей в чёрном, через снег, к боковой дорожке, к старым склепам. Прижимая «Лейку» к груди обеими руками.

– Адам, – сказала я. – Камера.

Он обернулся. Увидел, как Сабина уходит. Понял.

Гарсиа у ограды тоже увидела. Рванулась вперёд. Люди в чёрном стояли плотно, она застряла в толпе.

Я не стала ждать.

* * *

Я бежала по снегу в чёрном платье и сапогах на каблуке.

Каблуки скользили. Под снегом был лёд, и на повороте у мраморного ангела я упала. Ободрала ладони об лёд, порвала колготки на колене. Вскочила и побежала дальше. Холод обжёг руки, а потом я перестала его чувствовать.

Сабина была впереди, в тридцати метрах. Она шла быстро, почти бежала, между надгробиями. Мимо мраморных ангелов. Мимо чёрного камня с бронзовой фигурой в капюшоне. Я видела, как она на ходу возится с камерой. Как её пальцы ищут что-то на корпусе.

Она хотела засветить плёнку.

Вытащить её на свет. Одна секунда на дневном свету, и всё, что на ней, превратится в серую пустоту. Навсегда.

– Сабина! – закричала я.

Она не обернулась.

Я видела, как она остановилась у старого склепа. Прижала камеру к груди. Повернула что-то на днище. Открыла крышку.

Внутри была кассета. Перемотанная. Плёнка спрятана внутри, в темноте. Ещё целая. Но если вытянуть её конец на свет...

Она подцепила кассету ногтями.

И тут из-за склепа вышла Селеста.

Я не знаю, откуда она взялась. Наверное, шла следом. Наверное, видела всё.

Она не сказала ни слова. Просто выставила ногу.

Сабина споткнулась. Взмахнула руками. Камера вылетела у неё из рук и упала в снег. Кассета выскочила из открытого корпуса и откатилась в сторону, к подножию склепа.

Сабина рухнула на колени. Потом на бок. В снег.

Селеста стояла над ней. В чёрном. Бледная. С горящими глазами.

– Это за то, что ты меня использовала, – сказала она. Голос дрожал. – Меня никто не использует. Я тебе говорила.

Сабина поползла к кассете. На коленях, по снегу, в своём дорогом пальто. Протянула руку.

Я была быстрее.

Я упала на колени прямо в снег. Схватила кассету. Маленький металлический цилиндр, холодный, мокрый. И сделала то, что сделал бы любой фотограф на моём месте, не думая.

Я сорвала с себя куртку и накрыла ею кассету. Прижала к груди. В темноту. Подальше от света.

Сабина замерла. Смотрела на меня. Снизу вверх. С колен.

– Вы её не проявите, – сказала она. Голос у неё был спокойный. Страшно спокойный. – Там ничего нет.

– Тогда почему вы бежали? – спросила я.

Она не ответила.

Сзади захрустел снег. Тяжёлые шаги. Гарсиа. Двое в штатском. И Адам, белый как снег.

Гарсиа остановилась. Посмотрела на Сабину в снегу. На Селесту. На меня – с разбитым коленом, без куртки, в мокром от снега платье, прижимающую к груди скомканный свёрток.

– Мисс Беннет, – сказала она. – Вы обещали ничего не делать.

– Я не обещала, – сказала я. – Я сказала «понятно».

Гарсиа закрыла глаза. Открыла. Повернулась к Сабине.

– Миссис Хейл. У меня ордер на изъятие вашей камеры и всех плёнок. Встаньте, пожалуйста.

Сабина медленно поднялась. Отряхнула пальто. Поправила вуаль. Посмотрела на Адама.

– Вы так на него похожи, – сказала она тихо. – Даже сейчас.

– Нет, – сказал Адам. – Я похож на маму.

* * *

Плёнку проявляли в фотолаборатории института. Той самой, на пятом этаже, где мы с Адамом впервые... где горел красный свет.

Гарсиа хотела отдать плёнку в полицейскую лабораторию. Я сказала, что это чёрно-белая «Илфорд», что её нельзя проявлять в автомате для цветных, что одна ошибка с температурой – и кадры уйдут в зерно. Что в полиции Чикаго нет человека, который проявлял бы плёнку руками последние десять лет.

Гарсиа посмотрела на меня долго.

– А вы проявляли?

– Каждый день, – сказала я. – Полтора года.

Она согласилась. При одном условии: она стоит рядом и смотрит. Каждую секунду. Под протокол.

Мистер Деламар пустил нас в лабораторию в девять вечера. Посмотрел на Гарсиа, на её значок. Потом на меня.

– Юная леди, – сказал он. – Вы опять.

– Я опять, мистер Деламар.

Он покачал головой. И впервые за полгода улыбнулся.

* * *

Красный фонарь. Запах проявителя и фиксажа. Тишина.

Я работала. Руки знали всё сами. Перемотать плёнку на спираль в полной темноте, на ощупь. Опустить в бачок. Проявитель, двадцать градусов, семь с половиной минут. Покачивать каждые тридцать секунд. Стоп-раствор. Фиксаж. Промывка.

Гарсиа стояла у стены. Адам – рядом с ней. Они молчали.

Я сняла крышку бачка. Достала плёнку. Мокрую, тяжёлую. Подняла на свет.

Тридцать шесть кадров.

Я смотрела на негатив. Белое было чёрным, чёрное – белым. Но я умела читать негативы, как другие читают текст.

Первые кадры – переулок за прачечной. Мы в переулке. Ночь.

Потом – наше окно. Девять вечера. Неон.

Потом – тёмная улица. Фары. Мичиган-авеню.

Потом – вход в здание фонда. Ночью.

Потом – коридор. Двадцать шестой этаж.

Потом...

Я остановилась.

– Что? – спросил Адам.

Я не ответила. Повесила плёнку сушиться. Включила увеличитель. Положила последний кадр в рамку. Навела резкость. Лист бумаги. Экспозиция. Проявитель.

Изображение медленно проступало на белом листе в красном свете.

Кабинет. Тёмный паркет. Край ковра. Ножка массивного стола. Круглые часы на стене.

Мужчина в кресле. Голова склонена набок. На полу у его ног – тонкая неровная дорожка. Тёмная на чёрно-белом снимке. Но я знала, какого она цвета.

Ультрамарин.

А за его спиной – высокое окно. Чёрное, ночное. И в этом чёрном стекле, как в зеркале, отражалась фигура. Женщина. В длинном пальто. С камерой у лица.

Она снимала мёртвого мужа. И в тёмном окне за его спиной сняла себя.

Автопортрет.

Гарсиа подошла. Посмотрела на мокрый отпечаток в кювете. Долго.

– Боже, – сказала она тихо.

Адам стоял за моей спиной. Я почувствовала, как он замер. Я обернулась.

Он смотрел на снимок. На отца в кресле. Лицо у него было белое в красном свете.

– Не смотри, – сказала я.

– Я должен, – сказал он.

Он смотрел. Долго. Я видела, как у него сжалась челюсть. Потом он закрыл глаза. И отвернулся.

Я обняла его. Прямо там, у кюветы, в красном свете, с мокрыми от фиксажа руками. Он уткнулся лицом мне в волосы.

– Последний кадр, – сказал он мне в волосы. – Она сама нам его отдала.

* * *

Сабину Хейл арестовали в одиннадцать сорок вечера. В её доме в Лейк-Форест. Гарсиа позвонила нам из машины.

– Она не сопротивлялась, – сказала Гарсиа. – Сидела в гостиной. В том же пальто. Как будто ждала.

– Она призналась? – спросила я.

– Нет. Молчит. Адвокат приехал через двадцать минут. – Пауза. – Но ей и не нужно признаваться, мисс Беннет. Её снимок говорит за неё. Отражение в окне. И часы на стене кабинета – они тоже попали в кадр. Без тринадцати полночь. Криминалисты уже нашли в её гараже банку с остатками ультрамарина. Ручного растирания. Знаете, откуда он?

– Из квартиры Адама над пекарней, – сказала я. – Её люди рассыпали его по полу. А она собрала.

Гарсиа помолчала.

– Вам нужно идти в полицию, мисс Беннет, – сказала она. – Работать. Я серьёзно.

– Нет, – сказала я. – Я фотограф.

Гарсиа засмеялась. Впервые за всё время. Коротко, устало.

– Да, – сказала она. – Фотограф.

* * *

Мы сидели на крыше института. Адам курил. Сигарету ему дал мистер Деламар, когда мы уходили из лаборатории. Молча протянул пачку и сказал: «Вам сегодня можно». Мне не предложил. Я бы и не взяла.

Под нами светился Чикаго. Мичиган-авеню. Мост через реку. Где-то там, на двадцать шестом этаже, было тёмное окно, в котором неделю назад отражалась женщина с камерой.

– Она сказала, что я похож на него, – сказал Адам. – Даже сейчас.

– А ты ответил, что похож на маму.

– Я соврал. – Он затянулся. Выпустил дым в темноту. – Я похож на него. Лицом. Подбородком. Тем, как злюсь. Я сегодня у гроба это понял. Стоял и чувствовал, что говорю его голосом.

Я взяла у него сигарету. Затушила о бетон.

– Знаешь, чем ты на него не похож? – спросила я.

– Чем?

– Он двадцать лет смотрел на картину. А ты смотришь на людей.

Адам повернулся ко мне. Смотрел долго. В темноте, в свете города, его лицо было серо-синим. Как ультрамарин, разбавленный водой.

– Ты сегодня бежала по кладбищу на каблуках, – сказал он. Тихо, но голос был жёсткий. – По льду. За убийцей.

– Она бы засветила плёнку.

– Я видел, как ты упала. У ангела. – На скулах у него заходили желваки. – Ты упала, а я застрял в толпе и не мог к тебе пробиться. Стоял и смотрел.

– Но я встала.

– Встала. И побежала дальше. Одна. – Он резко повернулся ко мне. – А если бы у неё был пистолет? Ты об этом подумала?

– Нет, – честно сказала я. – Я думала только о плёнке.

Он смотрел на меня. Злой. Испуганный. И такой мой, что у меня защемило в груди.

– Ты сорвала с себя куртку. В январе. На ветру. – Он усмехнулся, но вышло криво. – Беннет, ты ненормальная.

– Ты только сейчас это понял?

– Нет. – Он взял мои руки. Ладони были ободраны, пальцы ледяные. Он сжал их в своих и подул на них. – Господи, ты же совсем замёрзла.

– Очень, – прошептала я.

Он стянул с себя пиджак. Накинул мне на плечи. Пиджак был тёплый.

Потом снова взял мои руки. Держал их в своих, грел и смотрел на меня так, будто боялся, что я исчезну, стоит ему моргнуть.

– Я люблю тебя, Беннет, – сказал он. Тихо. Хрипло. – Слышишь? Я сегодня стоял у гроба отца и думал не о нём. Я думал о том, что если с тобой что-то случится, мне больше не на кого будет смотреть.

Я не смогла ответить сразу. Слова застряли внутри, тёплые, огромные, и я боялась, что если открою рот, то просто разревусь.

Я прижалась к нему. Уткнулась лицом ему в шею, туда, где пахло табаком, краской и им.

– Я знаю, – прошептала я наконец. – Я тоже тебя люблю. Так сильно, что мне страшно.

– Мне тоже страшно, – сказал он мне в волосы. И прижал крепче.

Мы сидели долго. Его пиджак на моих плечах, мои руки в его ладонях, а под нами горел весь Чикаго.

Я ещё не знала, что это одна из последних наших ночей.

В ту ночь мы были счастливы.

Глава 20. Майя

Фотография не лжёт

Прошло пять недель.

Деньги пришли в четверг. Я стояла у банкомата на Восемнадцатой улице, смотрела на цифру на экране и не могла понять, сколько в ней нулей. Пересчитала три раза. Потом сфотографировала экран на телефон, потому что не поверила, что увижу эту цифру ещё раз. Двести тысяч долларов. За полтора года в вагонах надземки. За чужие паузы, которые наконец стали моими.

Мужчина за мной в очереди кашлянул. Я забрала карту и вышла на улицу. Шёл снег. Обычный, белый, ничей.

Я позвонила Адаму. Он взял трубку после первого гудка.

– Адам... – выдохнула я. И засмеялась. Просто засмеялась в трубку, не в силах выговорить ни слова.

– Пришли, – сказал он. Не спросил. Сказал. – Питт ещё утром предупредил, что перевод ушёл. Я весь день ждал, когда ты позвонишь.

– И ничего мне не сказал?

– Хотел, чтобы ты увидела сама. – Я услышала, что он улыбается. – Ты смеёшься так, будто украла самолёт.

– Я ничего не крала, – сказала я. – Это мои деньги. Мои, Адам. Впервые в жизни что-то по-настоящему моё.

Он помолчал в трубке. А потом сказал тихо, так, что я едва расслышала сквозь ветер:

– Не впервые, Беннет. Я тоже твой.

Я стояла посреди тротуара с телефоном у уха и улыбалась, как дурочка. Прохожие обходили меня с двух сторон.

Швы ему сняли ещё в январе. Все восемнадцать. А в среду врач в Норвестерне долго рассматривал новый рентген, потом снял очки и сказал, что ребро срослось так, будто его и не ломали. Что теперь можно всё. Что у молодого организма свои законы. Адам кивнул с таким видом, будто сам их написал.

На предплечье остался шрам. Длинный, неровный, розовый. Адам смотрел на него в такси по дороге домой, поворачивал руку к свету.

– Некрасиво, – сказал он.

– Мне нравится, – сказала я.

– Почему?

– Потому что ты закрыл меня этой рукой.

Он перестал рассматривать шрам. Посмотрел на меня. И ничего не сказал. Только сжал мою ладонь своей. Той самой рукой.

* * *

В субботу я проснулась от щелчка замка.

Адам стоял у двери. Босой, в одних джинсах. Повернул ключ в замке до упора. Вытащил его. Подбросил на ладони. И положил в карман.

– Что ты делаешь? – спросила я хрипло, со сна.

– Врач сказал в среду: можно всё, – сказал он.

– Я помню.

– Ты кое-что обещала, Беннет. Два месяца назад. Когда я лежал с дыркой в руке и ты меня перевязывала. – Он подошёл к кровати. Медленно. – Ты сказала: «Когда снимут швы, я не дам тебе выйти из комнаты сутки». Швы сняли в январе. Я ждал, пока срастётся ребро. Честно ждал.

У меня загорелись щёки.

– Я так говорила, чтобы ты лёг спать.

– Правило первое, – сказал он. – Никакой лжи.

– Это была не ложь. Это было... обещание на будущее.

– Будущее наступило. – Он сел на край кровати. Посмотрел на часы на телефоне и положил телефон экраном вниз на подоконник. – Девять утра. Значит, до девяти утра воскресенья.

– Адам, у меня сегодня смена в лаборатории...

– Я позвонил Деламару вчера вечером. Сказал, что ты заболела.

– И он поверил?

– Нет. – Уголок его губ дрогнул. – Он сказал: «Передайте юной леди, чтобы выздоравливала как следует».

Я закрыла лицо подушкой. Он вытянул её у меня из рук и бросил на пол.

– Не прячься, – сказал он. – Только не от меня.

Он наклонился и поцеловал меня. Медленно. Лениво. Так, будто у нас было не двадцать четыре часа, а целая жизнь, и он собирался потратить её всю на один этот поцелуй.

* * *

Он раздевал меня так, будто разворачивал подарок, который долго ждал и боялся порвать упаковку.

Футболка. Медленно, через голову. Он провёл ладонями по моим рукам, от плеч до запястий. Переплёл наши пальцы. Прижал мои руки к простыне по бокам.

– Не двигайся, – сказал он. Низко. Хрипло. Так, что по коже у меня побежали мурашки.

– А если я хочу? – Я дёрнула руками. Просто чтобы проверить.

Он не дал. Сжал мои запястья сильнее, вдавил их в матрас. Навис надо мной, и я увидела его глаза. Тёмные. Голодные. Без капли той ленивой нежности, с которой он меня только что целовал.

– Два месяца, Беннет, – сказал он сквозь зубы. – Два месяца я брал тебя вполсилы. Оглядывался на ребро, на швы, на врачей. Сегодня – нет. Сегодня ты будешь лежать и делать то, что я скажу.

У меня пересохло во рту.

– А если нет?

Он усмехнулся. Медленно. Опасно.

– Тогда я привяжу тебя к кровати своим ремнём. И мы начнём сначала.

Он целовал меня везде. Ключицы. Ямку между ними. Плечо. Грудь – сначала просто губами, едва касаясь, так, что я выгибалась навстречу, а он отстранялся. Живот. Каждое ребро. Косточку на бедре. Я никогда не думала, что у меня столько кожи и что каждый её сантиметр может так гореть.

Потом он стянул с меня бельё. Раздвинул мне колени ладонями. Широко.

И посмотрел.

Просто смотрел. Долго. При дневном свете, из окна, на всё. Я хотела сжать колени, а он удержал их.

– Адам... не смотри так...

– Я художник, – сказал он хрипло. – Я тридцать раз писал свет на коже. И ни разу не видел ничего красивее.

А потом наклонился и коснулся меня языком.

Я вскрикнула. Вцепилась в простыню. Он не торопился. Ни капли. Провёл языком снизу вверх, медленно, всей плоскостью. Обвёл клитор по кругу. Ещё раз. И ещё. Потом обхватил губами и втянул.

– Блять... – вырвалось у меня. – Адам...

Он не ответил. Только крепче сжал мои бёдра, не давая свести ноги, и продолжил. То мягко, едва касаясь, так, что я сама подавалась ему навстречу. То жёстко, быстро, языком по самой чувствительной точке, так, что у меня темнело в глазах. Потом скользнул в меня пальцем. Двумя. Согнул их внутри, нашёл какое-то место, о котором я сама не знала, и надавил.

Я кончила почти сразу. Резко, неожиданно, выгнувшись дугой, с его именем, которое застряло где-то в горле и вышло наружу стоном.

Он не остановился. Держал меня, пока меня трясло, и продолжал, медленнее, нежнее, пока второй раз не накрыл меня следом за первым, длиннее и глубже.

Когда он наконец поднял голову, я лежала, не в силах пошевелиться. Он вытер губы тыльной стороной ладони. Посмотрел на меня снизу. Медленно, тяжело, как хищник, который ещё не наелся.

Потом поднялся надо мной одним движением. Схватил меня за подбородок. Жёстко, так, что я не могла отвернуться.

И поцеловал.

Не нежно. Властно. Глубоко. Раздвинул мне губы языком и взял мой рот так же, как только что брал всё остальное. Я чувствовала на его губах свой вкус, солоноватый, горячий, и от этого у меня снова свело низ живота. Он прикусил мою нижнюю губу. Потянул. Отпустил. И снова впился в мой рот, будто хотел забрать оттуда последний воздух.

Я застонала ему в губы. Вцепилась в его плечи. Он не дал мне перехватить инициативу. Прижал мою руку обратно к простыне.

– Я сказал: не двигайся, – выдохнул он мне в рот.

– Девять пятнадцать, – сказал он. – Осталось двадцать три часа сорок пять минут.

– Ты сумасшедший, – выдохнула я.

– Да, – согласился он. И расстегнул джинсы.

* * *

Он взял меня так, как я ещё не знала. Медленно. Невыносимо медленно. Вошёл на сантиметр и остановился. Смотрел мне в лицо. Ещё на сантиметр. Ещё.

– Адам... пожалуйста...

– Что?

– Глубже.

– Скажи ещё раз.

– Глубже, – сказала я. – Пожалуйста. Весь.

Он вошёл до конца. Одним длинным движением. Я почувствовала его всего, горячего, твёрдого, и мы оба замерли на секунду. Его лоб у моего лба. Тяжёлое дыхание.

– Наконец-то, – сказал он сквозь зубы. – Наконец-то без всяких рёбер.

И начал двигаться.

Сначала медленно. Выходил почти полностью и так же медленно возвращался, глядя, как у меня сбивается дыхание от каждого движения. Он дразнил. Я видела это по его улыбке, по тому, как он замирал внутри, стоило мне податься ему навстречу.

– Адам...

– Что, Беннет? – Он снова вышел, почти до конца. И остановился. – Попроси.

– Пожалуйста...

– Не так.

Я задохнулась. От стыда, от желания, от его взгляда.

– Возьми меня, – прошептала я. – По-настоящему. Как ты хочешь.

Что-то в его лице сорвалось.

Он вышел из меня. Одним движением перевернул на живот. Подхватил под бёдра и поставил на колени. Надавил ладонью мне между лопаток, прижимая грудью к простыне.

Потом намотал мои волосы на кулак. Потянул, запрокидывая мне голову. И вошёл сзади резко, до упора, так, что я вскрикнула, а кровать ударилась о стену.

Больше он не сдерживался.

Он брал меня жёстко, быстро, глубоко. Каждый толчок отзывался во мне до самого горла. Его член двигался во мне горячо и тяжело, и я чувствовала его весь, каждый раз. Свободной рукой он обхватил меня снизу и сжал грудь. Грубо, до сладкой боли. Пропустил сосок между пальцами и сдавил.

– Вот так, – прорычал он, наклонившись к моему уху. – Громче. Я хочу, чтобы этот дом запомнил, как ты кричишь моё имя.

Я кричала. Его имя, что-то бессвязное, «да», «ещё», «не останавливайся». Комкала простыню в кулаках, а он только сильнее тянул меня за волосы и вбивался глубже.

Оргазм накрыл меня так резко, что на секунду я ослепла. Я сжалась вокруг него вся, до дрожи в коленях, и почувствовала, как он сбился с ритма.

– Блять, Майя... – выдохнул он сквозь стиснутые зубы.

Ещё три толчка. Глубоких, рваных. И он кончил, вжавшись в меня до упора, с глухим стоном мне в затылок. Потом рухнул вместе со мной на простыню, тяжёлый, горячий, мокрый от пота.

Мы долго лежали, не двигаясь. Он на мне, я под ним, лицом в подушку. Он не выходил из меня. Целовал мою шею, плечо, лопатку. Медленно, лениво, совсем не так, как минуту назад.

– Это только начало, Беннет, – сказал он мне на ухо.

Потом были ещё разы. Я сбилась со счёта к полудню.

Он усадил меня сверху, держал за бёдра и сам насаживал на себя. Медленно, глубоко, не давая мне задать свой ритм, пока я не начала умолять. Потом в душе, где места едва хватало для одного, прижав меня спиной к холодному кафелю, закинув мою ногу себе на бедро, и горячая вода била нам в лица. Потом на кухне, на узкой столешнице у плиты, где я пыталась сварить кофе, а он не дал, потому что сказал, что я слишком красивая в одной его рубашке, чтобы стоять к нему спиной.

Кофе убежал. Мы не заметили.

* * *

Днём мы лежали и разговаривали. Ели холодную пиццу прямо из коробки на кровати. Он рисовал меня углём на обороте старого конверта. Я снимала его. Голого, с углём за ухом, с чёрными пальцами и серьёзным лицом.

– Не смотри в камеру, – сказала я.

– Почему?

– Потому что тогда ты позируешь. А мне нужен ты.

Он отвёл глаза. Посмотрел в окно. На снег. И задумался о чём-то своём, далёком.

Щёлк.

– Вот, – сказала я тихо. – Вот ты.

Вечером он лежал головой у меня на животе, а я перебирала его волосы.

– Знаешь, что самое странное? – сказал он в потолок.

– Что?

– Я всю жизнь думал, что счастье – это что-то большое. Выставка. Деньги. Чтобы мой отец однажды посмотрел. – Он замолчал. – А оно вот. Холодная пицца. Твои пальцы у меня в волосах. Снег за окном. И никуда не надо.

Я перестала гладить его по голове. Наклонилась и поцеловала его в лоб.

– Знаешь, что я делала в детстве, когда было слишком хорошо? – спросила я тихо.

– Что?

– Закрывала глаза и считала до десяти. Чтобы запомнить. Потому что знала: утром мама опять будет злиться, папа опять будет молчать, и ничего этого уже не будет.

Он поднял голову. Посмотрел на меня.

– А сейчас?

– А сейчас я боюсь закрыть глаза. – Я улыбнулась, но улыбка вышла дрожащей. – Вдруг открою, а тебя нет.

Он сел. Взял моё лицо в ладони. Серьёзно, без тени улыбки.

– Я никуда не денусь, Беннет. Правило четвёртое. Помнишь?

– Помню, – прошептала я.

Ночью он разбудил меня поцелуями. Мы занимались любовью в темноте, молча, медленно, почти не двигаясь. Только дыхание. Только его руки у меня на лице. Только «Майя» – тихо, мне в губы, один раз, когда он кончил.

Утром я проснулась от тихого шороха.

Не сразу поняла, что это. Лежала на животе, уткнувшись щекой в подушку, и слушала. Шорох. Пауза. Снова шорох. Короткий, сухой, будто кто-то гладил бумагу.

Я приоткрыла глаза.

Адам сидел на подоконнике, в одних джинсах, поджав одну ногу. На колене раскрытый скетчбук. В пальцах карандаш. За его спиной вставало серое зимнее утро, и свет из окна падал прямо на кровать. На меня.

Простыня сползла мне до поясницы. Спина, плечи, растрёпанные волосы на подушке – всё было открыто. Он рисовал меня.

Я не пошевелилась. Смотрела на него из-под ресниц. Он не замечал. Он был там, где бывают художники, когда работают: далеко и очень близко одновременно. Брови сведены. Губы чуть приоткрыты. Взгляд скользил по мне – по линии позвоночника, по изгибу талии, по лопатке – и возвращался к бумаге. Медленно. Внимательно. Будто я была не девушкой на смятой простыне, а чем-то, что нужно успеть запомнить, пока не ушёл свет.

Так на меня ещё никто не смотрел. Ни один человек за всю жизнь.

Я всегда была по ту сторону объектива. Это я смотрела. Я ловила чужие паузы. А теперь кто-то поймал мою.

– Ты не спишь, – сказал он, не поднимая глаз.

– Откуда ты знаешь?

– У тебя изменилось дыхание. – Карандаш продолжал двигаться. – Не шевелись. Ещё минуту.

– Я голая, Адам.

– Я заметил. – Уголок его губ дрогнул. – Это лучшее, что я рисовал в жизни. Не порть мне свет.

Я спрятала улыбку в подушку. И не пошевелилась. Лежала и слушала, как шуршит карандаш, как он иногда растирает линию пальцем, как тихо выдыхает, когда она получается.

Потом он закрыл скетчбук. Подошёл. Сел на край кровати и провёл ладонью по моей спине, от затылка до поясницы. Медленно, повторяя ту самую линию, которую только что рисовал.

– Покажи, – попросила я.

– Нет.

– Почему?

– Потом. – Он наклонился и поцеловал меня между лопаток. – Когда-нибудь. Когда ты будешь готова увидеть себя так, как вижу я.

В девять утра воскресенья он достал ключ из кармана джинсов, валявшихся на полу. Положил его мне на ладонь. Сжал мои пальцы вокруг него.

– Обещание выполнено, – сказал он. – Ты меня не выпустила.

– Это ты меня не выпустил.

– Какая разница.

Он посмотрел на ключ у меня в ладони. Потом на меня. Долго. И вдруг забрал ключ обратно и сунул в карман джинсов.

– Передумал, – сказал он. – Ещё сутки.

– Адам! У меня в понедельник пары.

– Значит, Деламар снова получит звонок. – Он навис надо мной и усмехнулся мне в губы. – Скажу, что ты ещё не выздоровела.

* * *

Следующие три недели были самыми счастливыми в моей жизни.

Я записываю это сейчас и сама себе не верю. Но это правда. Правило первое.

Мы ходили в Институт искусств, в зал 262. Под маленьким портретом женщины у окна висела новая табличка. Латунная, с гравировкой.

Клэр Камерон. «Женщина у окна». 2004.

Клэр стояла перед ней долго. Потом протянула руку и коснулась букв кончиками пальцев. Как слепая. Как будто проверяла, что они настоящие.

– Двадцать лет, – сказала она тихо. – Двадцать лет я была «неизвестной».

Адам обнял её за плечи. Она не отстранилась. Положила голову ему на плечо. Такая маленькая рядом с ним.

– Больше нет, мам, – сказал он.

Я стояла чуть позади и снимала их со спины. Мать и сын. Перед её картиной. В синем свете зала.

Этот кадр я потом напечатала два раза. Один отдала Клэр. Второй оставила себе.

Адам открывал архив. Каждый вечер, после занятий, он ехал на двадцать шестой этаж и сидел там до ночи. Я ездила с ним. Мы разбирали папки на полу кабинета, где ещё месяц назад стояло кресло его отца. Кресло Адам велел вынести в первый же день.

Сто сорок три папки. Сто сорок три имени. Адам писал каждому сам. От руки. На бумаге с логотипом фонда.

Ваша работа была отклонена несправедливо. Фонд признаёт это и приносит извинения. Мы хотим вернуть то, что у вас взяли.

Некоторые не ответили. Некоторые ответили так, что Адам долго сидел над письмом молча. А одна женщина из Миннеаполиса приехала сама. Пятьдесят лет, седая, в старом пуховике. Привезла папку с эскизами двадцатилетней давности. Положила их на стол перед Адамом и сказала только одно:

– Я думала, что я бездарность. Я двадцать лет не брала в руки кисть.

Адам встал. Обошёл стол. И обнял её. Незнакомую женщину, которая плакала у него на груди, а он гладил её по спине и смотрел поверх её головы на меня.

Я видела его глаза. Сухие. Твёрдые. И такие живые, какими я их ещё никогда не видела.

В тот вечер я поняла, что он справится. С фондом. С фамилией. С тенью отца. Со всем.

Я не знала, что через неделю мне придётся проверить, справится ли он без меня.

* * *

В понедельник мне позвонили с незнакомого номера.

– Мисс Беннет? – Женский голос. Вежливый, гладкий, как полированный стол. – Офис Ричарда Уитмора. Мистер Уитмор хотел бы встретиться с вами по поводу выставки «Паузы». Это касается вашего авторства. Сегодня в четыре вам удобно?

Я посмотрела на Адама. Он сидел на полу кабинета, по колено в папках, и что-то писал.

– Удобно, – сказала я.

Я не сказала ему. Это была первая вещь за всё время, которую я ему не сказала.

Я подумала: он и так на пределе. Не спит. Завтра у него совет попечителей. И Уитмор будет там. Зачем ему сегодня ещё и это. Я схожу, послушаю, что нужно этому человеку от моих «Пауз». А вечером расскажу. Обязательно.

Я так думала.

* * *

«Уитмор Холдингс» занимал три верхних этажа стеклянной башни на Ист-Рэндольф-стрит. Лифт поднимал меня на шестьдесят второй этаж так быстро, что заложило уши.

Секретарь на ресепшене улыбнулась мне безупречной улыбкой.

– Ваш телефон, пожалуйста, мисс Беннет. У нас правило для посетителей мистера Уитмора.

Я отдала телефон. Она положила его в маленький металлический ящик. Закрыла на ключ.

Про сумку она не спросила. А в сумке, как всегда, лежал мой «Пентакс». Старый, с треснувшим корпусом, перемотанным изолентой. Кто в двадцать первом веке боится плёночной камеры?

Кабинет Уитмора был огромным. Стеклянная стена от пола до потолка. За ней – озеро Мичиган. Серое, бескрайнее, в белых пятнах льда до самого горизонта.

Ричард Уитмор стоял у окна спиной ко мне. Высокий. Седой. Широкие плечи в тёмно-сером костюме, который стоил, наверное, как вся моя квартира вместе с прачечной.

– Мисс Беннет. – Он обернулся. Улыбнулся. – Садитесь, прошу. Кофе? Чай?

– Ничего, спасибо.

Я села на край кожаного кресла. Сумку поставила на колени. Он сел напротив. Не за стол. В кресло рядом, так близко, что я чувствовала запах его одеколона. Дорогой. Холодный. Как запах денег.

– Я восхищаюсь вами, – сказал он. – Правда. Вы разгадали то, чего не смогли двадцать полицейских экспертов. Розовый снег. Это было... красиво.

– Вы позвали меня, чтобы сказать комплимент?

Он засмеялся. Тихо, мягко.

– Мне говорили, что вы прямолинейны. Хорошо. – Он наклонился к низкому столику между нами. Взял тонкую синюю папку. Положил её себе на колени. Ладонь сверху. На мизинце – тяжёлый перстень с тёмным камнем. – Я буду прямолинеен в ответ. Вам нравится Адам Хейл?

Я молчала.

– Глупый вопрос, – сказал он. – Конечно, нравится. Вы бежали за убийцей по кладбищу ради него. – Пауза. – А как вы думаете, мисс Беннет, сколько лет дают в штате Иллинойс за соучастие в убийстве первой степени?

У меня похолодели пальцы.

– Адам ни в чём не участвовал.

– Конечно, нет. – Он открыл папку. Повернул её ко мне. – Но вот это говорит обратное.

* * *

В папке были распечатки. Электронные письма.

От: adam.cameron.art@... Кому: s.hale.photo@... 9 января, 01:14

Он переписал завещание. Фонд мой, если возьму фамилию. В пятницу будет поздно – он объявит при всех, и тогда уже никто не поверит, что это не я. Значит, до пятницы.

Я перевернула лист. Руки не слушались.

От: adam.cameron.art@... 12 января, 23:02

Синий возьмёшь у меня. Ключ под ковриком. Пусть думают на меня – у меня будет алиби. Она подтвердит.

Она подтвердит.

Я смотрела на эти два слова. На себя в них.

– Это подделка, – сказала я. Голос был чужой. – Он не писал этого. Он не знал о завещании до оглашения.

– Это вы знаете, – мягко сказал Уитмор. – И я знаю. А прокурор узнает другое. Письма отправлены с его почты. Адреса и время проверены. Мои специалисты очень аккуратны. – Он перевернул ещё одну страницу. – Банка с ультрамарином в гараже миссис Хейл. Ручного растирания. Из его квартиры. Полиция считает, что её украли. А если окажется, что он отдал её сам?

– Сабина никогда...

– Миссис Хейл пока молчит, – перебил он. – Но её адвокаты говорят, что ей грозит пожизненное. А пожизненное, мисс Беннет, удивительно освежает память. Ей достаточно сказать одну фразу. «Это он меня попросил». И всё, что вы так красиво разгадали, сложится в другую картинку. Где молодой бастард, которого отец не признавал двадцать лет, за неделю до оглашения нанимает обиженную жену. И получает фонд на сорок миллионов. А его девушка обеспечивает ему алиби. Её ведь тоже можно привлечь, знаете ли. За ложные показания.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.